

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

АННА ГОТЛИБ

***Качественное
социологическое
исследование:
познавательные
и экзистенциальные
горизонты***

Издательство «Универс-групп»
2004

УДК 316
ББК 60.5
Г 73

Готлиб А.

Г 73 Качественное социологическое исследование: познавательные и экзистенциальные горизонты. Самара: Универс-групп, 2004. 448 с.
ISBN 5-467-00034-9

В монографии анализируются методологические основания качественного социологического исследования: предметная область, образ социальной реальности, специфика способа познания, логика получения знания, критерии качества, позиция исследователя. Наряду с этим впервые в отечественной социологии выделены направления внутри качественной социологии, проанализирована автоэтнография как специфическая стратегия качественного исследования.

В книге впервые в российской социологии проанализировано экзистенциальное измерение качественного исследования, представлен экзистенциальный опыт социологов в поле качественного исследования.

В монографии представлен опыт качественных исследований социально-экономической адаптации населения постсоветской России в автономном формате, а также в сочетании с классическим исследованием в одном исследовательском цикле.

Книга рекомендуется всем, кто интересуется современными проблемами эмпирической социологии.

УДК 316
ББК 60.5

Рецензенты: доктор социологических наук, профессор
Е.Р. Ярская-Смирнова,
доктор социологических наук, профессор
Г.Г. Татарова

Научный редактор: доктор философских наук, профессор В.А. Ядов

ISBN 5-467-00034-9

© А.С. Готлиб, 2004

Светлой памяти Наталии Никитичны Козловой, прекрасного «социологического писателя» и человека, открывшего мне иные перспективы социологии, посвящается.

ВВЕДЕНИЕ

Прошло чуть более 10 лет (если отсчет вести от статьи В.А. Ядова «Стратегии качественного анализа», появившейся в первом номере Социологии: 4М), как качественная социология буквально ворвалась в российское социологическое пространство, расколов профессиональное сообщество на «качественников» и «количественников», яростно противостоящих друг другу. Тогда ситуация в российской социологии повторяла западную с опозданием почти в 20 лет.

Сегодня, когда и в России, кажется, утихают страсти по качественной социологии, наступает пора взвешенного подхода к оценке ее *познавательных и экзистенциальных горизонтов*, а также проблем, которые она порождает. *Строго говоря*, союз «и», соединяющий разнородное, здесь не совсем уместен: познание, следуя М. Хайдеггеру, всегда экзистенциально, потому что человек живет, познавая: других, социальную реальность в целом, самого себя. И все же, я думаю, такое несколько искусственное разделение имеет смысл: оно помогает обратить внимание на *практически неисследованную сторону* качественного социологического исследования – область *экзистенциального опыта социолога и изучаемых людей*.

Конечно, разговор об экзистенциальных гранях социологии кажется странным, непривычным для уха социолога, настроенного на волну классической методологии, классической рациональности вообще, выводящей *конкретного человека* (и познающего, и познаваемого) *за скобки процесса познания*. Тем не менее, качественное социологическое

исследование, к счастью, дает нам возможность такого разговора.

Нуждаются в серьезном осмыслении и *методологические основания* качественного исследования, задающие перспективу, особый *познавательный горизонт*, что вполне понятно: по сравнению с классической, качественная социология – еще «ребенок в коротких штанишках», который только «учится ходить». Может быть, поэтому ей особенно свойственно «поднимать на щит» «детские», самые «простые» (читай: глубокие) вопросы, неизменно встающие перед рефлектирующим социологом: что такое истина в социологическом исследовании? Какую реальность мы изучаем, работая с письмами, дневниками, транскриптами интервью? Кто мы, социологи, сами, какую позицию мы занимаем по отношению к тем, кого изучаем? И, наконец, зачем вообще нужна социология, что она дает обществу, конкретным людям, живущим в нем? Надеюсь, читатель этой книги получит возможность поразмышлять над этими непростыми вопросами в полной мере.

Сам термин «качественный» применительно к практике социологического исследования употребляется в литературе в связке с рядом понятий: качественные методы [1,2], качественная социология [3]; [4], качественная парадигма [5] качественная методология [5]; [6], качественный подход [5]; [7]; [8], качественный метод [9]. При этом по степени распространенности пальма первенства принадлежит самому, на мой взгляд, неприемлемому словосочетанию: качественные методы. Следует сказать, что абсолютное большинство приведенных выше терминологических пар (исключение составляют лишь «качественные методы») демонстрируют стремление их авторов *не сводить* специфику качественного социологического исследования *только к «особости» процедур*, конкретных методов (техник) сбора и анализа данных, что, по-моему, совершенно правильно. Даже термин «метод», который чаще всего употребляется узко – как конкретная процедура, английскими исследователями Дж. Габриумом и Дж. Холстейном в сло-

восочетании «качественный метод» использован в расширительном смысле: «Метод означает способ видения и выговаривания действительности в такой же мере, в какой он конкретизирует техники и процедуры» [9, с.10]. Одним словом, налицо интенция рассматривать качественное исследование как *принципиально иной тип социологического исследования*, кардинально отличающийся от классического своими *методологическими основаниями*, и потому, как *следствие*, методами (техниками). При этом, хотя эти термины-метафоры практически синонимичны в языке современной социологии, каждый из них достаточно точно маркирует ту или иную грань качественного социологического исследования. Так, словосочетание «качественный подход» (от «подходить», «приближаться»), на мой взгляд, верно схватывает *незавершенность* процесса осмысления качественного исследования, его еще «не отлитый в бронзу» облик. Выражение «качественная парадигма» после интерпретации термина «парадигма», данной Т. Куном [10, с.142], воспринимается не только как фиксирующее *общие принципы, правила и образцы* качественного исследования, но и как делающее акцент на его *социальной составляющей*. По Куну – это признание в профессиональном сообществе (или его части) того «кодекса научной чести», который характерен для конкретной парадигмы, что также верно отражает современное состояние социологического сообщества, с его, увы, разделенностью на «качественников» и «количественников».

Вместе с тем, как мне представляется, этот термин не особенно удачен прежде всего потому, что обозначает *самодостаточность, обособленность* социологического исследования, *преимущественно эмпирического предприятия*, от теоретических элементов структуры социологического знания, что, конечно, неверно. В самом деле, в «теле» социологической науки после Дж. Ритцера *уже существует* типология парадигм, относящаяся к корпусу *социологической науки в целом*. В этой концепции парадигма рассматривается как *некая целостность* теорий, предметной

области, образца и методов, которая представляет собой угол зрения, особое, специфическое видение общества, предопределяющее и способ его изучения [11, с.571]¹. В этих условиях, на мой взгляд, лучше говорить не о качественной парадигме, но о *качественной методологии*, выступающей *конкретным приведением, редукцией парадигмы социальных дефиниций*, в терминологии Дж. Ритцера, (или интерпретативной, субъективистской парадигмы) к реальности социологического исследования. Сказанное относится в той же мере и к *количественной* (классической) методологии, которая является *приведением, редукцией парадигмы социальных фактов* на языке Дж. Ритцера (или объективистской парадигмы) к реальности социологического исследования *принципиально другого типа*. Это означает, что качественное (а соответственно и количественное) исследование «вписывается» в *определенную теоретическую перспективу*, которая определяет и его методологические основания, и конкретные исследовательские практики.

Следует подчеркнуть, что качественное социологическое исследование рассматривается в книге в двух аспектах: как *обобщенный тип*, «покрывающий» собой *значительное разнообразие* качественных исследовательских практик, имеющих тем не менее общие методологические принципы и правила, и как *веберовский идеальный тип* – мысленная конструкция, как правило не совпадающая с «живым» социологическим исследованием во всей полноте его конкретности и уникальности. На мой взгляд, именно такое теоретическое (методологическое) рассмотрение дает возможность выявить общие черты качественных исследований во всей пестроте их реальных логик, задач и образов результата.

Вместе с тем разговор о качественном социологическом исследовании как веберовском идеальном типе нуж-

¹ В социологии есть и другие типологии парадигм (моделей объяснения). См. Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996; Монсон П. Лодка на аллеях парка М.:Весь мир, 1995 и др.

дается, как мне кажется, в дополнении – *анализе конкретных «живых» исследований*: в противном случае он окажется оторванным от каждодневного опыта огромной армии социологов-эмпириков, (к которой принадлежу и я) и потому не очень значимым, важным для них. Это и понятно: любое реальное исследование всегда богаче своей идеальной модели, всегда не вписывается, «выпирает» из нее... Именно поэтому в книге представлен наш опыт *качественных исследований процесса социальной адаптации* россиян к медленно, но все же меняющемуся экономическому пространству постсоветской России.

Выбор социально-экономической адаптации в качестве объекта наших исследований не случаен: в трансформирующейся России это – магистральный наиважнейший процесс, от успешности и скорости которого зависит как витальность и социальное самочувствие каждого человека, так и социальное бытие-небытие российского общества в целом. Кроме того, нельзя не заметить, что история предоставила социологам *редкую возможность* быть свидетелями кардинальных преобразований «сверху», когда огромные массы людей, да и сам социолог как один из них, должны так или иначе отвечать на «вызовы» среды. Возможность, от которой непростительно отказываться... Исследования, которые приводятся в книге, проводились исследовательской группой Самарского государственного университета под моим руководством и при моем непосредственном участии в 1999–2003 гг.

И, наконец, последнее. Разговор о качественном социологическом исследовании в книге ведется в режиме постоянной переключки с классическим (количественным), которое здесь выступает фоном, «задней закулисной зоной» в терминологии Ирвинга Гофмана. Мне кажется, что такой способ организации материала не только делает описание специфики качественного исследования более понятным российскому читателю, воспитанному преимущественно на классической традиции, но и является *единственно возможным* по сути: так сложилось исторически, что

методология качественного исследования «выросла» из противостояния с классической, и потому выступает пространством ее отрицания и преодоления. *«Мы не количественники, количественники не мы»*. В то же время акцент *только* на идее противостояния кажется мне неразумным, и поэтому в книге *возможность сочетания качественной и количественной методологии* в одном отдельно взятом исследовании и теоретически осмысливается, и демонстрируется нашим опытом изучения социально-экономической адаптации населения постсоветской России.

**КЛАССИЧЕСКОЕ (КОЛИЧЕСТВЕННОЕ)
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАК
НОВОВРЕМЕННАЯ ФОРМА НАУЧНОГО
ЗНАНИЯ**

Действительность, входя в науку, сбрасывает с себя все ценностные одежды, чтобы стать голой и чистой действительностью познания, где суверенно только единство истины.

М.Бахтин

К философии поступка

Наше правило ... требует только одного: чтобы социолог погрузился в состояние духа, в котором находятся физики, химики, физиологи, когда они вступают в новую, еще не исследованную область своей науки. Нужно, чтобы, проникая в социальный мир, он осознавал, что находится в присутствии фактов, законы которых неизвестны так же, как неизвестны были законы жизни до создания биологии.

Э. Дюркгейм

Правило социологического метода

1. К вопросу о методологии социологического исследования

Термин «методология» (от греческого *μεθοδος* – способ познания и *λογος* – учение, знание) имеет ряд значений. В самом общем виде – это система знаний о *способах дос-*

тижения знаний. В узком значении, впрочем наиболее распространенном, методология представляет собой описание конкретных методов исследования: методов получения информации, ее анализа и интерпретации результатов, т.е. чисто «техническую» область знания. Применительно к социологическому исследованию как *научной познавательной деятельности* такое понимание методологии предполагает сосредоточенность на *процедурных, собственно инструментальных аспектах* социологического исследования, выделении их образцов и нормативов: методах сбора и анализа социологической информации, подходах к выделению типов исследования, логике их организации и т.д. [12, с.13].

Методология научного исследования в *широком значении* предполагает рассмотрение идеалов и норм исследовательских процедур конкретной науки в *более развернутой перспективе*: с позиции их *философского обоснования*, т.е. вписывания их в определенные *онтологические* и *эпистемологические* координаты [13]; [14]. Фактически содержание термина «методология» в таком *широком смысле* приближается к значению термина «парадигма», данному Т. Куном [10]. Исключение составляет лишь отсутствие в его смысловом поле *социального аспекта*, характерного для термина «парадигма»; «нормальная наука» объединяет ученых, признающих без сомнения «правила игры» внутри парадигмы [10, с.46]. На мой взгляд, сами эти философские основания науки могут быть включены в методологию научного поиска в качестве *философской составляющей* методологии науки. Применительно к социологическому исследованию *так понимаемая* методология, которую можно назвать *философской*, представляет собой, таким образом, довольно сложное образование, включающее в себя по меньшей мере три элемента:

- *онтологическую* составляющую – представление о *природе социальной реальности*, выраженное в определенной сетке категорий, связанных в одну (или несколько) социально-философских теорий, и выте-

каюшем из этого *образе предметной области* исследования;

- *эпистемологическую* составляющую, включающую в себя нормы и идеалы социологического исследования как *научного предприятия*: представления о целях (функциях) исследования, о научной истине (критериях оценки качества социологической информации), о логике научного вывода, стандартах его доказательности. Это так называемая «сетка метода» [13, с.218], которую наука «забрасывает в мир», чтобы «выудить» из него соответствующие явления в качестве объектов своего исследования. Следует сказать, что познавательные нормы и идеалы в социологии, как и в науке вообще, не являются неизменными, инвариантными. В самом общем виде – они всегда производны от *типа культуры*, в которой существуют, от ее доминирующих ценностей, хотя в рамках одной исторической эпохи могут сосуществовать разные, противоречащие друг другу совокупности познавательных стандартов. Собственно говоря, знаменитый тезис Т. Куна о несоизмеримости парадигм в науке [10, с.193] – как раз об этом. Разные познавательные стандарты, нетождественные ценности приводят к тому, что поборники *разных* парадигм, живя в одно историческое время, тем не менее живут практически в *разных мирах*. Не случайно Т. Куна обвиняют в том, что он не показал, как возникает период «нормальной науки», когда противостояние ученых во время научных революций сменяется консенсусом, что его понимание науки сводится к тому, что *диссенсус вместо консенсуса* является *обычной характеристикой* научной жизни [14, с.305]. Можно, видимо, согласиться с Л. Лауданом, что особенно сильно это явление называется в гуманитарных и общественных науках, где «дебаты между конкурирующими фракциями носят характер пандемии». Не случайно, по его мне-

нию, существуют «вопиющие различия в учебниках, написанных, скажем, марксистами, герменевтиками, феноменологами, функционалистами, социометриками» [14, с.298];

- *собственно социологическую* (или процедурную) составляющую. Она включает в себя в самом общем виде представления о *способах (методах) достижения цели* социологического исследования: описание познавательных возможностей методов сбора и анализа социологической информации, ситуаций их использования, конкретных методических правил реализации; описание типов социологического исследования и конкретных логик их организации; описание этических требований, предъявляемых к социологу, и т. д.

Методологические основания социологического исследования представляют собой, таким образом, *целостный сплав* концепций социальной реальности, «вылепливающих» предметный образ социологии, познавательных стандартов и норм, а также практических правил исследования, в которых ответы на «высокие», предельно общие (философские) вопросы во многом определяют и характер исследовательского процесса, его прикладную логику. Действительно, вне определенного ответа на *философские вопросы* невозможно обосновать и *технику использования* того или иного метода, ибо то, что считается достоинством, преимуществом в рамках качественной методологии, выступает серьезным недостатком, объектом критики с позиции методологии классического социологического исследования.

В самом деле, результаты наблюдения ситуации изнутри (т.е. включенного наблюдения) невозможно считать социологическим знанием, не зная, в рамках какой методологии используется данный метод, каковы задачи социологического исследования в ней, что считается здесь истинным. Точно так же, нельзя понять, что, собственно, делать с той информацией, которая содержится в рассказе человека о

своих способах «выживания» в современной российской ситуации, вне осознания методологических рамок, в которых используется нарративное интервью.

Нельзя и однозначно ответить на вопрос, как следует организовать общение с респондентом (информантом) в рамках интервью *вне четкого понимания*, к какой методологии относится конкретный, используемый в исследовании *вид* этого метода. Ответ на «технический» вопрос: следует ли стараться избегать «эффекта интервьюера», максимально дистанцируясь от опрашиваемого, или наоборот, стремиться к сближению с ним, стараясь эмпатически понять его, – кроется в философских основаниях методологии социологического исследования, в специфике качественной и количественной ее разновидности.

И, наконец, нельзя ответить на вопрос, следует ли сначала в исследовании выдвигать теоретическую гипотезу, а потом верифицировать (подтверждать) ее эмпирическими фактами, т.е. идти «сверху – вниз», дедуктивным путем, или наоборот, избрать принципиально другой путь: «снизу – вверх», от эмпирических данных «восходить» к теории, не осознавая, в координатах какой методологии исследователь собирается работать.

2. Из истории становления классического социологического исследования

Термин «количественное» социологическое исследование («количественная» методология, «количественный» подход, «количественная парадигма») появился в 70-е годы именно потому, что в это время социологическим сообществом начала осознаваться и анализироваться «особость», специфика *иного, отличного от традиционного*, так называемого «качественного» социологического исследования. Появился как своеобразная антитеза, противопоставление качественному социологическому исследованию. По сути же, так называемая «количественная» методология означает не что иное, как *традиционная, классическая* (в зна-

чении «устоявшаяся», проверенная временем). Впрочем, в этом термине улавливается специфика формы, прежде всего *математической формы* представления знания в классической социологии.

В самом общем виде *количественное социологическое исследование* представляет собой такой его тип (и, соответственно, такую методологию исследования), в котором изучаемые *социальные явления и процессы рассматриваются как внешние, противостоящие людям*, и одновременно законченные, свершившиеся, а отправной точкой исследовательского поиска выступают *теоретические гипотезы, которые в процессе эмпирического изучения верифицируются (подтверждаются)*. При этом процедура верификации построена на *использовании математики* в качестве доказательства: на измерении социальных признаков, интересующих исследователя, и математическом анализе полученной социологической информации.

Философской колыбелью методологии классического социологического исследования был, как известно, *позитивизм в его контовском классическом варианте*, в рамках которого «позитивная» наука, выстроенная в традициях Нового времени, в традициях «классической рациональности» рассматривалась как самая совершенная форма человеческого познания – в противоположность теологическому (схоластическому) и философскому, понимаемому как умозрительное, оторванное от жизни знание.

В самом термине «позитивный», как его понимали впервые использовавший это слово в своих трудах Сен-Симон и Огюст Конт, уже слышится это противопоставление. Огюст Конт подчеркивал несколько значений этого слова: реальное в противоположность химерическому; полезное в противоположность бесполезному; достоверное в противоположность сомнительному; точное в противоположность смутному; положительное в противоположность отрицательному [15, с.110]. При этом под положительным он понимал способность позитивной фило-

софии (новой философии) не разрушать, но быть консолидирующей силой.

Именно с наукой блестящие мыслители XIX века связывали свои надежды на прогрессивное развитие всех сфер общественной жизни. Позже, к концу XIX – началу XX вв. из позитивизма «вырастет» целая социально-культурная концепция, абсолютизирующая роль науки в жизни общества, возводящая ее в ранг всеобщего мировоззрения. Критики назовут эту концепцию *сциентизмом* (от латинского *scientia* – наука).

XX век внес свои коррективы в это радужное восприятие научного знания: стало ясно, что наука принесла человечеству не только повышение комфортности его существования (разнообразный мир потребительских товаров и услуг, новые возможности коммуникации и т.д.), но и во многом поставила под угрозу саму жизнь комфортно устроившегося человека. Экологические катастрофы, войны с применением атомного оружия – этого венца научно-технического знания XX века – способны убить все живое. Ощущение современного человека, на мой взгляд, точно передано З. Бауманом: «Можно ли после Аушвица, ГУЛага и Хиросимы и дальше сочинять хвалебные гимны в честь цивилизации и ее верных оруженосцев – науки и техники?» [16, с.75].

Но тогда, во 2-ой половине XIX века, еще не было трагического опыта Хиросимы и Чернобыля, и потому наука, идеал которой был сформирован еще в ХУП – ХУІІІ веках, окружается особым ореолом в общественном сознании. Понятно, что в такой духовной атмосфере и новое знание об обществе, которое Огюст Конт назвал социологией, создается по *образу и подобию* сложившихся к тому времени *естественных наук*: химии, физики, биологии. По образу и подобию означает здесь реализацию по крайней мере двух фундаментальных предпосылок:

- социальные явления с точки зрения любой аналитической задачи – *качественно те же*, что и природные явления;

- цели и методы исследования, *разрабатываемые в естественных науках*, применимы и для изучения *социальных явлений*.

Такой подход означал, что все богатство концепций, оригинальных суждений и точек зрения, накопленное за 25 веков существования общественнознания, тем не менее *в целом не соответствовало критериям научной рациональности*, идеалам *научного знания* в его *классической, нововременной* форме.

Справедливости ради надо сказать, что образцы для подражания молодой науке об обществе задавали не только более зрелые естественные науки, но и гуманитарные дисциплины, скроенные тогда по принципиально другим «лекалам»: история, антропология, право, лингвистика. Повсеместно создаваемые в западноевропейских университетах в этот период кафедры антропологии, а также традиционные университетские кафедры права, классической филологии, истории не могли не оказывать «нормативного» давления на становящуюся социологическую науку. Да и в общественном сознании второй половины XIX века, несмотря на преобладание позитивистских настроений, практически параллельно идет процесс осмысления *специфики гуманитарного знания*, радикального противопоставления «*наук о духе*» и «*наук о природе*», в терминологии Вильгельма Дильтея. Чем же объяснить все-таки тот факт, что молодая социальная наука не пошла по традиционному пути гуманитарных дисциплин, выступив против не только методов, но и *самого стиля мышления гуманитарного знания* того периода?

Прежде всего, это связано с тем, что вторая половина XIX века была временем оформления науки в важную самостоятельную сферу общественной жизни, временем «дисциплинарно организованной науки» [13, с.277]. Интеллектуальный авторитет науки, полученный ею благодаря Просвещению, был в этот период подкреплен ее *практическим авторитетом*, развитием прикладных исследований и разработок. Наука, существовавшая в ХУП веке в

виде научных обществ, университетов и академий, стала проявлять себя в виде лабораторий и исследовательских институтов.

Выбор социологии в пользу *научного типа знания* не в последнюю очередь был обусловлен и социально-историческим контекстом. Известно, что понятия и другие более сложные познавательные конструкции – теоретические концепции и целые научные направления, довольно часто выступают результатом осмысления их авторами конкретной социальной ситуации, специфического жизненного контекста. Связь эта: социально-историческая ситуация – познавательные конструкции, конечно, не слишком жесткая, но все-таки существует.

Именно неудовлетворенность западноевропейских мыслителей спекулятивной (умозрительной) социальной философией, с которой связывались ужас и крах Великой французской революции в первой половине XIX века, подтолкнул их к идеалу *научного знания*. Под сомнение ставилась сама возможность оторванного от жизни философского знания способствовать изменению общественных отношений, потребность в котором была очень велика во французском обществе, родине позитивизма. Научное же знание в его нововременной форме, «заряженное» идеей преобразования, было как раз тем *желанным типом знания*, в котором, по мнению социальных мыслителей, более всего нуждалось современное общество.

Каковы же основные черты *научного знания*, послужившего идеальной моделью для отцов-основателей классической социологии?

3. Критерии научного знания

Следует сказать, что несмотря на то, что философия науки, призванная отвечать на главный вопрос «Что значит знать?» была институционализирована только в XIX веке, *контуры научного знания* были обозначены философами Нового времени. Именно они и прежде всего

Ф. Бэкон были уверены, что «наука рождается в результате революции, которая состоит в *победе над суеверием и предрассудками*, и что в самом здании науки каждая его часть так надежно обоснована, что не может быть поколеблена» [17, с.136]¹. Споры о том, что считать критериями научного знания, каковы отличительные черты *этого типа знания*, и сегодня не умолкают в философии науки. Целый ряд ее влиятельных направлений, определивших интеллектуальный облик этой области знания в XX веке (релятивизм, фаллибизм, пробабилизм и др.), во многом противостоят Нововременной форме научного знания, выдвигая *иные* его критерии [18, 19].

Вместе с тем *Проект научного знания*, впервые осмысленный философами XVII- XVIII веков, с энтузиазмом воспринятый позитивизмом в XIX, дошел практически до наших дней. Конечно, каждый из философов, его создававших: Ф. Бэкон, Д. Локк, Р. Декарт, Г. Галилей, П. Гассенди, И. Ньютон и др., были оригинальными мыслителями, создавшими свои собственные философские системы, во многом *противостоящие* друг другу. Тем не менее каждый из них только ему присущим способом участвовал в «строительстве» здания Науки. Следует сказать, что спектр познавательных проблем, так или иначе рассматриваемых этими философами, достаточно широк. Меня же интересует, в первую очередь, вклад этих мыслителей в создание *специфического облика научного знания*, принципиально отличного от других типов знания (религиозного, мифологического, обыденного и др.).

Эмпирическая составляющая науки. Прежде всего *научное знание включает в себя опытное изучение фактов*, с которым оно соотносит свои теоретические конструкции, т. е наука с необходимостью включает в себя *эмпирическую составляющую*, четко разделяя эти два компонента. Опыт-

¹ Позднее, уже в XX веке, идея одномоментной революции в науке будет оспариваться континуалистской концепцией Пьера Дюгема, отрицающей революции, и концепцией перманентной революции Карла Поппера.

ное изучение природы означало прежде всего *использование эксперимента*, понимаемого как планомерно проводимое, специально сконструированное действие по проведению испытания. Посредством эксперимента исследователь как бы задает природе интересующие его вопросы. В целом такой *эмпирический характер* научного знания стал культурным изобретением ХУП–ХУШ вв.: в то время, как средневековые схоласты позволяли заблуждаться относительно характера фактов в природе и социальном мире из-за того, что помещали между собой и реальностью ее интерпретацию, мыслители Нового времени *отбросили интерпретацию, оставившись один на один с фактами как таковыми*. Наблюдение как специально организованная процедура и эксперимент призваны были «увеличить дистанцию между кажется и есть, между видимостью и действительностью», как точно скажет современный английский социолог А. Макинтайр [20, с.120]. При этом схоластическому знанию доставалась «видимость», *научное же претендовало на познание «действительного»*.

Эта связь «теория – опытное изучение природы», различным образом объясняемая, всегда присутствовала в работах мыслителей Нового времени. Так, Френсис Бэкон с его акцентом на *эмпирическом* изучении природы в своей знаменитой работе «Новый органон», тем не менее, уподоблял исследователя пчеле, которая не только собирает дань на полях и в садах, но и перерабатывает ее в мед собственными усилиями. Рене Декарт с противоположной *рационалистической позиции* с ее усиленным вниманием к деятельности «правильно рассуждающего ума» полагал, что рационалистический способ познания, основателем которого он был, предполагает контроль своих теоретических положений опытом (опытами), дабы не «скатиться» к схоластически-умозрительным рассуждениям. Аналитический метод И. Ньютона, не им изобретенный, но им осознанный и реализованный как методологический принцип, также предполагал, что силы и простейшие законы природы усатанавливаются на основе ее тщательнейшего наблюдения и

изучения, с помощью «беспощадного контроля» опытом, экспериментом.

Достоверность научного знания. Достоверность здесь понимается как *соответствие* полученного знания *истинному положению дел*, т.е. тем реальным отношениям, которые существуют в природе и выступают объектом исследования. Фундаментальная метафора такого типа познания: «познающий человек – это зеркало», от которого ждут зеркально точных отражений действительности. При этом часть ученых, так называемые «наивные эмпирики», и прежде всего И. Ньютон, полагали, что достоверное теоретическое знание получается через *обобщение экспериментальных фактов*, т.е. *индуктивным* путем. Такая методологическая установка базировалась на представлении о том, что наука должна заниматься *исключительно наблюдаемыми объектами*, т.е. теми, которые в принципе могут быть изучены экспериментальным путем. Это означало, что в науке недопустимы теории, относящиеся к объектам слишком малым, чтобы быть наблюдаемыми (например, атомам) или к процессам, слишком постепенным, чтобы быть заметными (например, процесс естественного отбора).

В конце XVIII века эта позиция будет отброшена за счет обоснования так называемого *метода гипотез*. Этот метод допускал «законность» в рамках науки гипотез, относящихся к *ненаблюдаемым (теоретическим) сущностям*, поскольку из этих гипотез может быть выведен *широкий набор наблюдаемых, т.е. могущих быть проверенными экспериментально, утверждений*.

Вместе с тем само появление теоретических гипотез как «законных детей» научного знания стало возможным благодаря *иному (в противоположность эмпиризму) – декартовскому представлению* о достоверности знания. Здесь основанием достоверности (наряду с опытом, прежде опыта) является *рациональная деятельность* абстрактного познающего субъекта: *интеллект, рассудок, познающий ум*, с помощью которых только и можно преодолеть несовершенства, заблуждения и предрассудки конкретного по-

знающего человека. Под рассудком Р. Декарт, *понимал специальную деятельность, направленную на построение суждений, умозаключений, доказательств, на выстраивание «бесчисленного множества систем», нахождение доводов, аргументов или их опровержение.* Знаменитый декартовский лозунг «сомневайся во всем» [21, с.269] предполагал недоверие прежде всего к *чувственному познанию, чувственно воспринимаемым качествам* вещей, т.е. к тем, знание о которых можно получить эмпирическим путем – с помощью наблюдения, эксперимента. Эти качества, по его мнению, нельзя рассматривать как подлинные, достоверные. Таковыми можно считать только те *неизменные признаки* тел, в которых нас убеждает *разум*, ориентированный на математику.

Поскольку действительность, по мнению великого математика, представляет собой цепь бесчисленных отношений, в которых находятся между собой явления и вещи, подчиненные правилам «всеобщей математики» (термин Декарта – А.Г.), *достоверное познание* этих отношений возможно лишь на пути использования логики, приближенной к математике. Прежде всего достоверное знание может быть получено за счет использования *дедуктивной логики* как способа непрерывного и последовательного выведения знания из некоторых самоочевидных суждений, истин. При этом «рассуждающий ум» должен владеть этим умением в полной мере, если он рассчитывает получить точное, истинное знание. Вот это понимание достоверности как, прежде всего, *логической*, в том числе и *математической доказательности*, рассмотрение математики как важнейшего средства доказательства истинности, правильности теоретических положений¹, станет общим местом в рассуждениях о науке философов Нового времени – Г. Галилея, Д. Локка, В. Спинозы, Г. Лейбница. С тех пор (и это дошло до наших дней) знание настолько будет считаться

¹ Известно, что математика организована как дедуктивная система, т.е. как множество таких высказываний, которые могут быть дедуцированы из специального множества посылок.

научным, насколько в нем много математики. Дошел до наших дней и *гипотетико-дедуктивный метод* как основная логическая схема получения достоверного знания в классической науке.

Объективность научного знания. Под объективностью здесь понимается полная независимость знания от личностных особенностей познающего субъекта, *личностная нейтральность знания*. Фрэнсис Бэкон, например, борясь за объективное, истинное знание, предлагал очистить человеческое сознание от «идолов». «Идолы» – это призраки, предрассудки, отчасти присущие человеческому уму вообще («призраки рода»), отчасти характеризующие индивидуальные особенности исследователя («идолы пещеры»). По мнению английского мыслителя у каждого человека существует «своя особая пещера» (черты характера, особенности психики), которая дополнительно искажает «свет природы». Идолы постоянно преследуют человека, создают у него ложные идеи и представления, препятствуют человеку в его проникновении «в глубь и даль природы». Ф. Бэкон рассуждает: «Человеческий ум – не сухой свет, его окропляют воля и страсти, а это порождает в науке желательное каждому... Бесконечным числом способов, иногда незаметных, страсти пятнают и портят разум» [22, с.170].

Проблема предрассудков и предубеждений как источников заблуждений занимала и Р. Декарта. Он специально вычленяет их, признает обязательными в обыденном сознании¹, но оценивает только отрицательно, требуя освобождения от них: они мешают интеллекту производить чистое истинное знание [21, с.308]. Возникновение предрассудков Декарт связывает с детством: «тысячью предубеж-

¹ Само выделение пред-рассудков в качестве обязательных компонентов обыденного «живого» знания будет позже через несколько веков воспринято феноменологией, чтобы уже в XX веке эти «повседневные теории» или «конструкты первого порядка» (терминология А. Шюца) в феноменологической социологии стали рассматриваться как важнейший источник научных теорий.

дений омрачена наша душа с раннего детства», в пору, когда она столь «погружена в тело», что никогда ничего не воспринимает *отчетливо*. Став взрослыми, мы, по Декарту, не можем забыть эти предубеждения, даже когда мы стали правильнее пользоваться нашим разумом. Именно поэтому, « для ... разыскания истины всех познаваемых вещей прежде всего следует отбросить все предрассудки, или, иначе говоря, надо всячески избегать доверяться каким бы то ни было ранее принятым мнениям как истинным без предварительного нового их исследования» [21, с.347].

В научном знании человек жестко отделен от своей продукции (научных трудов или технических свершений), очищая вещи «как они есть» от всех субъективных искажений. Как личность он должен отсутствовать в них, его человеческая неповторимость (ценности, взгляд на мир, страсти) вытесняется из процесса исследования: законы Ньютона не позволяют судить о том, что любил и что ненавидел Ньютон. Тогда как, например, парящие над городом влюбленные Марка Шагала говорят о его ностальгии по молодости, Родине, которую он вынужден был оставить, о его светлом, радужном восприятии мира в целом. Фактически вслед за Декартовским сомнением это означало *«недоверие* познающему субъекту, полагание его эгоистическим «Я», творящим произвол, имеющим ум, отягощенный различного рода идолами, предрассудками, интересами и предпочтениями» [23, с.13]. Мышление реального человека здесь не соответствовало идеалу «чистого разума», которое только и способно производить истинное знание.

Такая отстраненная позиция исследователя будет в XX веке подвергнута резкой критике. Возникнет и специальное направление в философии науки – релятивизм (от латинского *relativus* –соотносительный), где будет утверждаться условность, ситуативность, контекстуальность научного знания. В рамках этого направления структурные характеристики и тем более содержание научного знания определяются *ситуацией, в которой это знание осуществляется*. Это означает, что оно (это знание) может быть объяснено, в

том числе, и *индивидуальными особенностями исследователя* (в крайних формах релятивизма), так же, как и культурно-исторической ситуацией, состоянием дел в научном коллективе, особенностями национальной научной школы и т.д. Так, полемизируя с оппонентами, американский физик и философ П. Бриджмен, представляя крайнюю форму релятивизма, писал: «Моя наука операционально отличается от вашей науки, как и моя боль отличается от вашей боли. Это ведет к признанию того, что существует столько наук, сколько индивидов» [24, с.19].

Любой реально существующий феномен для науки – *особый предмет*, функционирующий по объективным законам и подлежащий изучению. Как царь Мидас из известной древней легенды – к чему бы он ни прикасался, все превращалось в золото, так и наука: к чему бы ни прикоснулась, все для нее *лишь предмет познания и преобразования*. Применительно к миру людей, живущих собственной «естественной» жизнью, наука вычленяет *особый ракурс их рассмотрения как объекта познания, «вписанного» в систему объективных законов*. Под этим углом зрения наука может исследовать *любые феномены жизни человека* – любую человеческую деятельность, его психику и т.д. Вместе с тем, в XX веке все больше осознается, что *этот особый угол зрения науки на жизнь людей* не отвечает на главные смысложизненные вопросы человеческого существования и поэтому оказывается бессмысленным для человека или в худшем случае выступает способом усиления социального контроля за ним.

Практическая полезность научного знания. Научное знание всегда практически ориентировано, нацелено на практическую полезность. Так, Декарт полагал, что знание сил природы можно использовать во всех свойственных им применениях, чтобы стать, таким образом, как бы господами и властителями природы. Знаменитый лозунг «Знание – сила», давший название популярному в СССР журналу – оттуда, из XVII века. Более того, мера истинности знания по Бэкону неразрывно слита с возможностью его практиче-

ского использования: «Что в действии наиболее полезно, то и в знании наиболее истинно» [22, с.159].

Эту «заряженность» научного знания действием очень точно выразил в XX веке русский философ, культуролог В.Библер: «В науке Нового времени с особой силой реализуется принцип: объяснить вещь, как она есть, чтобы знать, как действовать, чтобы изменить то, что есть» [25, с.296]. Вот эта нацеленность науки на преобразование мира, на овладение им, на превращение его в объект будет подвергнута резкой критике в XX веке. Неприятие «овладевающего миром знания» будет своеобразным кирпичиком в фундаменте такой духовной общественной атмосферы, при которой станет возможным институционализация во второй половине XX века альтернативной – качественной социологии.

Направленность на обнаружение законов. Научное знание всегда направлено на *отыскание, обнаружение* законов окружающего мира, т.е. на описание устойчивых, необходимых, повторяющихся связей универсума. Основатели механистического детерминизма как *определенного мировоззрения* Галилей, Декарт, Спиноза, Лейбниц и др., полагали, что все существующее и происходящее имеет место *по какой-то причине, на каком-то основании*: идеология механицизма предполагала трактовку всего и вся как аналога перемещения массы в пространстве и времени под *воздействием какой-то силы*. Лейбниц в своей Теодицее писал: «Ничего не случается без того, чтобы было основание, *почему это случается* именно так, а не иначе. Каждое событие имеет свои, притом уникальные условия, свои необходимые предпосылки, что относится и к природе, и к человеку» [26, с.199]. *Научное исследование фактов (природы) означает* установление их *причинной зависимости от других фактов*. При этом сама причинность понималась механистически – как необходимые или достаточные условия, *предшествующие* возникновению явления, которое надо объяснить: ведь в механике физическое тело получает

ускорение благодаря *предшествующему воздействию* силы на него.

Изучить причинную обусловленность фактов, явлений – значит установить законы их функционирования, объяснить их. При этом законы – есть отношения *сущностей* изучаемых явлений, где сущность понимается как внутренне присущая вещи природа, как существенные свойства, с необходимостью вызывающие то, что она собой представляет. Наука всегда отвечает на «*что*» *вопросы, изучая сущности вещей и их взаимосвязи*. В механистической картине мира мир представлялся гигантской машиной, все части которой, существуя отдельно, связаны между собой универсальной взаимосвязью, всеобщей законосообразностью и необходимостью. Человек в такой картине мира – *объект среди объектов, вещь среди вещей*, подчиненный единым универсальным закономерностям. Научное познание претендует на обнаружение, открытие этих естественных *универсальных* законов. При этом сама универсальность понимается, на мой взгляд, в нескольких значениях.

Прежде всего, универсальные законы – это *исчерпывающие, окончательные* объяснения в терминах сущностей вещей, не нуждающиеся в дальнейшем обосновании¹.

Универсальные законы – это *законы, верные «на все времена»*, имеющие значение для всех, в любом месте, в любое время. Они объясняют вещь или события *вне культурного исторического контекста*. Об этом очень точно сказал Мираб Мамардашвили: «Наука появляется как универсальное измерение человечества – помимо и поверх культурных различий» [27, с.72].

Универсальность законов проявляется и в том, что *гарантируется их применимость за пределами того, что действительно наблюдалось в прошлом и настоящем*. Они

¹ Доктрина, полагающая, что цель науки – поиск «окончательных» объяснений в терминах сущностей вещей, называется в философии науки *эссенциализмом* (essentia с лат. – сущность). Термин этот принадлежит известному современному американскому социологу, философу Карлу Попперу, отвергающему эссенциализм.

верны и для тех случаев, которые имели место и в отсутствие наблюдателей, и для тех, которым еще предстоит стать предметом наблюдения. Так, например, в рамках этой логики, если второй закон Кеплера верен для всех известных планет, то он будет верен и для тех, которые еще предстоит открыть. Применительно к человеческому поведению или шире – к социальному миру это означает предсказуемость, определенность, порядок. Мир, в котором действуют универсальные законы, *это упорядоченный, раз и навсегда данный мир, в котором нет места неопределенности.*

Вот эта претензия науки на поиск *универсальных, всеобщих истин, единственных и верных для всех*, в XX веке также будет подвергнута резкой критике. Науку обвинят в нормативном давлении и в том, что она производит власть, является формой власти.

Акцент на методах. Для научного познания характерна определенная «заикленность» на методах как способах достижения исследовательских задач. Действительно, в повседневной жизни мы, как правило, не выделяем, не анализируем те способы, приемы, с помощью которых получаем «практическое» знание, дающее нам возможность ориентироваться, достигать повседневных практических целей. Эти способы и приемы не квалифицируются и не осознаются нами как *методы познания*, т.к. «вплетены» в наш повседневный опыт, формируются в нем. Иное дело в *научном познании*: здесь зачастую даже обнаружение объекта исследования требует использования особых приемов, в частных случаях – особой аппаратуры, *особой организации поиска*. Именно поэтому мыслители Нового времени столь большое значение уделяли технике эксперимента, методам обнаружения изучаемых физических явлений. Именно поэтому в современной физике для обнаружения коротко живущих частиц исследователь должен сначала определить метод, с помощью которого он в эксперименте может обнаружить эту частицу. Вне метода исследователь вообще не выделит изучаемый объект из многочисленных связей и отношений природы. Поэтому в

науке изучение объектов, выделение их свойств *всегда сопровождается осознанием метода*, с помощью которого этот объект исследуется. Чем «глубже» наука пытается заглянуть в мир природы и социальный мир, тем отчетливее становится необходимость в осмыслении и разработке специальных процедур – методов, путей познания тех или иных явлений.

Особый язык науки. С первых моментов своего существования наука *создавала свой особый язык, язык теоретических понятий* – терминов, по большей части принципиально отличающийся от естественного языка повседневного общения людей. Однако часто ряд научных понятий все же заимствуется из обыденного языка, метафорически «пересаживается» в научную почву: «метафора в науке умирает, скрывается в понятии, уходит с головой в *стоячее болото термина* и как бы залегает на его глубине, в самой толще, до которой при желании можно добраться» [28, с.165]. Многозначность слова, имеющая место в повседневном общении, теряется ради одного единственного смысла, который и «застывает» в термине. В самом деле, например, известные всем со школы физические понятия, «волна» и «ядро атома» – примеры таких «умерших» метафор. В целом же научная терминология всегда стремилась выйти *за пределы наличного опыта* и выразить *ненаблюдаемые* сущности, и поэтому естественный язык, приспособленный для описания только тех объектов, с которыми сталкивается человек в повседневной жизни, здесь плохой помощник.

Вместе с тем в некоторых направлениях *современной философии познания*, подвергающих критике познавательные идеалы *нововременной формы науки, классическую форму рациональности в целом*, существует позиция, которая предполагает введение в контекст научной познавательной деятельности *наряду с понятиями* как предельными, логически выверенными абстракциями, еще и *концептов*. Концепты здесь понимаются как формы мысли, которые «скорее интуитивно, нежели логически схватывают

смыслы» и потому включают в себя элементы и *дологической, довербальной природы* [23, с.23].

4. Основные черты методологии классического социологического исследования (онтологическая и эпистемологическая составляющие)

Ранее я говорила о структуре методологии социологического исследования, основных ее составляющих. Теперь же пойдет более обстоятельный разговор о важнейших из них: *социальной онтологии и эпистемологии применительно к классическому социологическому исследованию*, хотя размеры этой книги ограничивают его только *основными характеристиками*, дающими представление о *специфике этой методологии*.

Социальная онтология. Как уже говорилось, «назначение» *социальной онтологии*, «задающей тон», определяющей другие методологические элементы – описание *природы социальной реальности и образа предметной области* социологической науки, вытекающего из понимания природы социума.

Существует известная оппозиция: *индивид – общество*, имеющая разные ипостаси в социологии: личность – роль, субъект – объект, микро-подход – макро-подход. Во всяком случае, в этих «частных» противопоставлениях, часто используемых в различных социологических теориях, чувствуется отголосок главного: *индивид – общество*. Мимо этой оппозиции не может пройти ни одна из методологических парадигм в социологии. Может быть, это происходит потому, что цель отношений: *поступки индивидов → образцы поведения (нормы) → социальная структура общества (его организация, установленный порядок) → индивидуальные поступки* – это и есть та основная социальная форма, в которой мы проживаем свою жизнь.

Вместе с тем, каждая из них по-разному отвечает на вопрос о характере взаимодействия индивида и общества,

направленности этого взаимодействия. В сущности, это разные ответы на один важнейший вопрос о *природе социального* (т.е. общества), о том, как *возможно социальное*.

В методологии *классического* социологического исследования основной акцент делается на том, что человек – ансамбль общественных отношений. *Фокус исследовательского интереса здесь* – общественные структуры как *надиндивидуальное объективное образование*, детерминирующее жизнь людей. Общество здесь самовоспроизводит стабильный социальный порядок, определенные правила (нормы), поддерживаемые социальным контролем. При этом большая часть людей с удовольствием подчиняется установленным правилам, хочет подчиняться им, в этом подчинении видит смысл своего существования.

В этом плане очень интересен образ Робинзона Крузо в интерпретации современного французского писателя А. Турнье. Его Робинзон, живя на необитаемом острове, охотно сам себя наказывает, продолжая жить по правилам того общества, в котором жил раньше, хотя здесь – в отсутствие людей – никто никаких требований к нему не предъявляет. Критики классической методологии социологического исследования охотно ссылаются на американского социолога П. Бергера, называвшего такое видение общества «жуткой тюрьмой мрачного детерминизма».

Мне кажется более удачной для описания такого фокуса исследовательского интереса метафора парка, придуманная шведским социологом П. Монсоном [29, с.17]. Здесь парк с его широкими асфальтовыми аллеями – это образ общества с его социальными институтами. Люди, пришедшие в парк, воспринимают его как нечто *раз и навсегда данное*, объективное, как определенный порядок. Так и общество с его социальными институтами воспроизводит порядок, норму, но и содержит в самом себе возможность отклонения от нормы: всегда найдутся люди, которые пойдут не «по асфальтовым дорожкам», но «будут вытаптывать клумбы».

В рамках классической методологии исследователя не интересует, *как конструируются правила*, по которым живут люди (кто и каким образом «разбивал парк»), *почему люди выбирают* те или иные образцы поведения (ту или иную «тропинку парка»), как осуществляются «живые» социальные коммуникации, разнообразные жизненные формы (кто и каким образом «ходит по парку»). Интерес представляют сами *устойчивые, жесткие социальные структуры, «отвердевшие» формы социальных связей*: социальные институты, правила и нормы, образцы поведения, верования, обряды, язык, конституирующие стабильный социальный порядок и представляющие для человека *внешнюю объективную социальную реальность*. Эта реальность задает общие условия его жизни и детерминирует выбор конкретных «тропинок».

Знаменитое выражение Эмиля Дюркгейма, одного из отцов-основателей классического подхода в социологии, «социальные факты надо изучать как вещи» и означает этот самостоятельный *объективный статус социальной реальности*. Рассмотреть социальные явления – значит, изучать их *«сами по себе, отделяя от сознающих и представляющих их субъектов... как внешние вещи»* [30, с.432]. Вещи здесь – «что-то вроде скалы, на которую можно налететь, но которую нельзя ни убрать, просто пожелав свалить ее, ни преобразовать по прихоти воображения» [31, с.88]. Эта внешняя по отношению к человеку реальность социальных фактов имеет свое *собственное существование*, ее нельзя описать или объяснить в терминах какой-то другой реальности. Реальность социальных фактов *противостоит человеку*, задает образцы его действий и даже формирует его ожидания.

Такое представление о социальных фактах является ключевым для объективистской парадигмы, в которую «вписывается» количественное социологическое исследование: не случайно в Ритцеровской парадигме социальных фактов творчество Э. Дюркгейма, особенно его работы «Правило социологического метода» и «Самоубийство»

выступают в качестве образца, важнейшего элемента этой парадигмы [11, с.571].

Идеал нововременного знания с его верой во всевластие человеческого разума и универсальный миропорядок «диктует» классической социологии *образ ее предметной области, основную исследовательскую ориентацию*. Она состоит в том, чтобы выявить устойчивые, повторяющиеся, необходимые *сущностные* связи социального универсума, т.е. *универсальные социальные законы*.

С позиции классической методологии социальная реальность такова, что в ней содержатся закономерности, которые существуют *до познания* и в принципе могут быть раскрыты и объяснены. Открытие законов здесь, по образному выражению английского социолога Малкея М. «сходно с открытием Америки в том смысле, что и то, и другое как бы уже ожидало, чтобы его открыли» [32, с.21]. О. Конт в «Позитивной философии» писал, что основной характер позитивной философии выражается в признании всех явлений (в том числе и социальных – А.Г.) подчиненными *неизменным, естественным законам*, открытие и сведение числа которых до минимума и составляет цель всех наших усилий. В этом высказывании наряду с описанием основной задачи социологии подчеркнут еще один важный момент: необходимость сведения этих законов к минимуму, чтобы теории фиксировали только *инвариантные (неизменные), базисные, опорные свойства* социального универсума. В идеале классическая социология ориентирована на *универсальную социальную концепцию*, охватывающую все стороны общественной жизни в единой теоретической схеме.

Следует подчеркнуть, что понимание *характера* этих неизменных универсальных законов (связей), да и понимание их *сущности* в классической методологии не является единодушным. Так, О. Конт отрицал *причинно-следственную и функциональную* связь между явлениями, делая акцент вполне в современном духе на *условиях*, в которых существуют явления: «Наша подлинная задача состоит в

том, чтобы тщательно анализировать условия, в которых происходят явления, и связать их друг с другом естественными отношениями последовательности и подобия» [15, с.111]. Э. Дюркгейм, напротив, в своих «Правилах социологического метода» [30, с.409] (и вслед за ним практически вся социология) делал акцент на *причинно-следственном и функциональном анализе* социальных явлений. Логический позитивизм с его акцентом на эмпиризме одновременно с натурализмом, стремясь ввести *строгие критерии* для доказательства связей, полагал, что абстрактные законы выражают *прежде всего существование неких регулярностей в социуме: так понимаемые* законы «объясняют» события, когда *предсказывают*, что будет в конкретном эмпирическом случае. Движущая сила такого объяснения – логические дедукции от закона к некоторой группе эмпирических явлений, которые призваны подтвердить теорию, от посылок к заключениям (от explanans к explicandum) [12, с.29–30]. Представители аналитического теоретизирования как подхода, продолжающего в современной социологии традиции контовского позитивизма, полагают, что законами можно называть лишь *абстрактные системы* из категорий, которые предположительно обозначают *ключевые свойства универсума и важнейшие отношения* между этими свойствами [33, с.112]. В рамках такой позиции теории среднего уровня (в терминологии Р. Мертона) не являются законами, но только лишь «эмпирическими обобщениями», не «дотягивающими» до статуса закона.

В целом в классической методологии понимание природы социальной реальности и предметного образа социологической науки можно выразить словами Дж. Тернера: «мир вне нас существует независимо от его концептуализаций; этот мир обнаруживает определенные вневременные универсальные и инвариантные свойства; цель социологической теории состоит в том, чтобы выделить эти всеобщие свойства и понять их действие» [33, с.103].

Критики классической методологии, прежде всего из антипозитивистского лагеря [34], считают, что в социаль-

ной реальности *не может быть неизменных универсальных* законов, ибо сама природа социальной реальности очень непрочна, пластична вследствие способности человеческих существ к мышлению, саморефлексии (самосознанию) и действию. По их мнению, законы, относящиеся к неизменному миру (миру природы), в социологии не пригодны, или, по меньшей мере, действуют временно, т.к. социальный универсум постоянно переструктурируется благодаря рефлексивным актам людей. Более того, люди могут воспользоваться теориями социальной науки для переструктурирования социума таким образом, чтобы устранить условия, при которых действуют подобные законы. Поэтому законы, по их мнению, в лучшем случае преходящи и годятся для определенного исторического периода, а в худшем – не приносят пользы, поскольку сущность, базовые черты социального универсума постоянно меняются.

Сторонники классической методологии полагают, что, несмотря на то, что реальные социальные системы действительно изменяются, как изменяются солнечная, биологическая, химическая системы в мире, *универсальные социальные законы все же существуют*: «Люди всегда действовали, взаимодействовали, дифференцировали и координировали свои социальные отношения, и это уже дает некоторые из инвариантных свойств человеческой организации» [33, с.109]. Более того, существует позиция, наиболее четко выраженная американским социологом Р. Коллинзом [35, с.46], согласно которой претензии социологии на познание универсальных законов *нисколько не мешает* фундаментальная неопределенность, которая, по мнению критиков, присуща социальному миру. С этой позиции индетерминистское толкование фрагмента социальной реальности – толкование с *точки зрения единственного действующего лица*, знающего только свои намерения и потому порождающего неопределенность и эмерджентность – всего лишь часть правды. Знание всех участников события и структуры отношений между ними делает эмерджентные

события, по мнению Р. Коллинза, очень хорошо моделируемые, предсказуемые¹.

Следует сказать, что глобальностью макроподхода, поиском «немногих» *окончательных законов* социального универсума, конечно же, не ограничивается целевая направленность классической методологии. Многочисленная «армия» социологов, ежедневно в лабораториях, социологических центрах, академических институтах разрабатывающая анкеты для массовых опросов, рассчитывающая выборку, считающая коэффициенты корреляции, как правило, не претендует на предельно высокий уровень обобщения – обнаружение универсальных законов. Их усилия чаще всего направлены на поиск *закономерных связей в отдельных сферах социума* (экономической, политической, сфере образования, художественной культуры, права и т.д.), на верификацию «теорий среднего уровня», описывающих процессы в этих сферах, а также на классификацию и обобщение ряда эмпирически изучаемых фактов. Интеллектуалы-теоретики, как уже говорилось, часто отказывают этим теориям и обобщенным построениям в статусе теории, называя их «эмпирическими обобщениями», не дотягивающими до уровня «настоящей» теории. Очевидно, дело здесь в понимании термина «теоретическое».

В целом классическая методология ориентирована на поиск *общего, закономерного*, фиксируя это в теоретических обобщениях, хотя сами эти обобщения могут быть результатом *разного уровня* абстрагирования от изучаемой социальной реальности. При этом классическая социология в полном соответствии с идеалами Нововременной формы научного знания стремится к *максимальной строгости и*

¹ Р. Коллинз, таким образом, «вписывает» качественную социологию с ее индетерминизмом в классическую науку с ее ориентацией на познание универсальных закономерностей. Вообще позиция рассмотрения качественной социологии как способа улучшения классической, наиболее емко выраженная в лозунге «надо работать непозитивистски, чтобы преуспеть в позитивизме», сегодня достаточно популярна См.: Колинз Р. Социология: наука или антинаука // Теория общества. М., 1999.

однозначности понятий, этих «кирпичиков» любой теории. Отклонение от этого, расплывчатость и многозначность понятий здесь рассматривается как недостаток, как расширение неподконтрольной Разуму сферы, что противоречит идущим еще от Декарта установкам на «правильное» человеческое мышление. Эту идею неприятия «сомнительных» понятий, называющих явления, о которых нет еще достоверного знания в науке, очень резко выразил Э. Дюркгейм: «С точки зрения *правильного метода* нужно было бы запретить себе употребление этих понятий¹, пока они научно не установлены» и сетовал, что слова эти порождают в нас «неясную смесь смутных впечатлений, предрассудков и страстей» [30, с.428].

Акцент на изучении *обобщающих закономерностей* изучаемого явления или процесса, понятого как объективная внешняя реальность (как «вещь»), с необходимостью предполагает «схватывание» в *эмпирическом исследовании средних тенденций*, когда каждый отдельный индивид интересен *не сам по себе, как уникальная, неповторимая личность, но как часть общей картины*, безымянный носитель информации об изучаемом явлении. Конкретный человек в контексте такого подхода – лишь единица изучаемой общности, представитель определенного типа. Не случайно, формируя выборочную совокупность для участия в массовом опросе, социолог использует статистический термин «единица наблюдения». Язык очень точно фиксирует это единообразие, одинаковость, единый ранжир.

Объектом исследования в классическом социологическом исследовании выступают *массовые явления, события, процессы*, которые изучаются через социальные группы людей – носителей изучаемого феномена. Это означает, что *в конечном счете в качестве объекта в конкретном социологическом исследовании* всегда выступают *определенные социальные общности (группы)*, реальные или условные,

¹ Речь у Дюркгейма идет о понятиях: «государство», «суверенитет», «политическая свобода», «демократия», «социализм», «коммунизм».

выбранные социологом в соответствии с целями и задачами исследования.

Эпистемологическая составляющая методологии классического социологического исследования. Она включает в себя прежде всего *реконструированную логику* исследования, выступающую «законным» способом получения научного знания в ее координатах. Термин «реконструированная логика» здесь означает отрефлексированную идеальную модель получения знания, полученную за счет *обобщения* тех реальных логических процедур, которые используются в «живых» классических (количественных) исследованиях.

Классическая методология вобрала в себя *гипотетико-дедуктивную логику* получения знания, разработанную, как уже говорилось ранее, мыслителями Нового времени¹. Эта «нисходящая» стратегия получения знания (в отличие от «восходящей» в качественной методологии)² предполагает выдвижение теоретических гипотез, которые затем проверяются «внизу» – в эмпирическом изучении сознания и поведения людей. Это движение «сверху – вниз», от теории, предполагающей высокую степень «отлета» от изучаемой социальной реальности, к эмпирическому изучению происходит плавно, логически, последовательно, с использованием логики выводного знания – дедукции [36, с.17]. Вначале исследователь формулирует теоретические гипотезы, каждая из которых связывает *ненаблюдаемые сущности* – абстрактные понятия. Они называются *гипотезами - основаниями*. Именно они, подтвержденные или неподтвержденные, «работают» на цели и задачи исследо-

¹ Точнее, следовало бы говорить о гипотетико-дедуктивно-индуктивной логике с акцентом на первые два компонента этой цепи, когда индукция присутствует в стратегии получения знания, но выполняет несущественную роль.

² Авторство в изобретении удачных, на мой взгляд, терминов «восходящая» и «нисходящая» стратегии получения знания принадлежит современному российскому исследователю этой проблемы Г. Татаровой.

вания, являясь базой для формулирования выводов. Именно в этих гипотезах воплощается теоретическое видение исследователем изучаемого явления или процесса.

Четкое формулирование теоретических гипотез здесь предполагает, что, с одной стороны, исследователь хорошо знает изучаемую проблему, а с другой стороны – что в науке уже накоплено достаточное знание для их формулирования¹. Яркая метафора Бернара Шатрского – «карлик, стоящий на плечах гигантов» – очень точно выражает эту ситуацию: только освоив теоретическое богатство, созданное предшественниками, изучавшими конкретное явление, исследователь формулирует гипотезу-основание.

Поскольку гипотезы-основания *принципиально непроверяемы* в эмпирическом исследовании, второй шаг – «сверху – вниз» состоит в формулировании логически *выводных гипотез*, называемых *гипотезами – следствиями*. Эти гипотезы-следствия связывают уже эмпирически проверяемые переменные, т.е. *индикаторы* тех понятий, которые присутствуют в гипотезах-основаниях. Считается, что чем больше гипотез-следствий подтверждается (а их рекомендуется «выводить» как можно больше из каждой гипотезы-основания), тем в большей степени справедлива, обоснована теоретическая гипотеза [37, с. 98].

Эпистемология социологического исследования включает в себя и представления о *способах доказательности полученных выводов*. Ранее уже говорилось, что прежде всего использование математики, этой «царицы доказательств», начиная с XVII века, считается важнейшим признаком научности знания. Классическое социологическое исследование как «законное дитя» сциентизма вобрало в себя эту традицию. Математика для классического социологического исследования – не просто способ иллюстрирования тех или иных теоретических выводов, но его *душа*,

¹ Отсюда вытекает и принципиальная невозможность изучения в этой методологии нового явления, не успевшего быть теоретически осмысленным, не имеющего «своей теории».

стержень. Математика здесь используется по меньшей мере в 4-х важнейших процедурах:

- измерение социальных признаков;
- обработка первичной социологической информации;
- расчет и обоснование выборки социологического исследования;
- моделирование социальных процессов и явлений.

Не имея возможности сколько-нибудь серьезно остановиться на всех «включениях» математики в процедуру классического социологического исследования, поговорим об *измерении*, как о важнейшем *основании эмпирического анализа* в классической методологии.

Измерение в социологическом исследовании. Разговор об основаниях какого-либо явления – это всегда ответ на вопрос: как возможно само это явление. В этом смысле вне квантификации¹, вне измерения невозможно само производство эмпирического знания в классической социологии. В самом деле, только измеренные социальные признаки могут быть представлены в числовой системе, а значит и обработаны методами математической статистики, чтобы служить доказательством выдвинутой гипотезы. На этой логике построено производство любого научного знания. Классическая социология на своем эмпирическом уровне – всегда «измеряющая» социология, в отличие от качественной – «неизмеряющей».

Измерение социальных признаков – программная установка *количественного подхода* в социологии. Считается, что *абсолютно все* социальные признаки, даже самые «тонкие»: любовь, дружба, преданность, патриотизм – принципиально измеряемы. Дело лишь в технике измерения, в квалификации социолога в конечном итоге. Более того, умение «мыслить» измерительными конструкциями примерно так же, как художник мыслит образами, способность мысленно «схватить» любое социологическое понятие в измеритель-

¹ «Квантификация» (от лат. *quantitas* – количество) – означает процедуру представления свойств социальных объектов в количественной форме.

ных координатах, «выдают» хорошего социолога–эмпирика¹. Современное понимание измерения исходит из развитой английским физиком Н. Кэмпбеллом в 20-е годы XX века концепции измерения как *приписывания* измеряемым объектам (их называют *эмпирическими объектами*) чисел [38]. При этом такое приписывание возможно, потому что измеряемые объекты (точнее, их свойства) находятся в *определённом отношении* друг другу (это утверждал еще Р. Декарт – А.Г.). Это отношение может быть отражено на числовую ось, *воспроизводящую его*. Этот подход предполагает, что измеряемые объекты не обладают никакими числовыми свойствами: эти свойства им *приписываются, придают* в *процедуре измерения*. В процессе числового измерения свойства сравниваются, упорядочиваются, сопоставляются. Следует сказать, что этой *конструктивистской позиции* практически в этот же период противостоял *так называемый дескриптивный* (описательный) подход, корни которого можно обнаружить еще в античной философии. Здесь измерение понималось как измерение *величин*, их описание. Считалось, что все свойства, не являющиеся величинами, не подлежат измерению.

Сегодня такой подход – уже история. Претерпел изменение и конструктивистский подход. Идея приписывания чисел трансформировалась в концепцию соответствия эмпирических объектов математическим объектам, которые представлены *не только числами*, но и *нечисловыми конструктами*: графами, оригинальным математическим аппаратом С.В. Чеснокова и др. [39, с.115]. *Измерением сегодня* называется «процедура, с помощью которой объекты измерения, рассматриваемые как носители определенных отношений, отображаются в некую *математическую систему* с соответствующими отношениями между элементами этой системы» [40, с.142]. Следует сказать, что сциентистский посыл классической методологии – измерять социальные признаки *так же, как измеряются признаки в*

¹ Правда, критики количественного подхода эту «навязчивую идею» измерять «все и вся» называют «квантофренией».

естественных науках, все же дает сбой. В современной социологии существует понимание того, что измерение *социальных признаков* достаточно специфично, имеет свои особенности.

Прежде всего *измерение социальных признаков в значительной степени опосредовано*, в то время как в естественных науках (исключая измерение явлений микромира) используется только *непосредственное* измерение. Конечно, в классическом социологическом исследовании также используется непосредственное измерение социальных признаков, но преобладающим является все же другое – *косвенное (опосредованное)* измерение, предполагающее использование промежуточных звеньев (индикаторов). При этом *главная проблема* косвенного (опосредованного) измерения состоит в *обеспечении его обоснованности*, т.е. в его способности измерить *именно то социальное свойство*, которое необходимо.

Измерение социальных признаков в отличие от измерения в естественных науках содержит в самом себе возможность влияния интервьюера на получаемый результат. Дело в том, что измерение социальных признаков происходит в процедуре опроса, представляющего собой навязанное произвольное (имеется в виду произвол исследователя) общение. Любая же ситуация общения, пусть даже и неполноценного, межличностного, но скорее ролевого, как в нашем случае, по сути своей «обременена» взаимовлиянием субъектов общения¹. Главная проблема здесь – возникновение «эффекта интервьюера», смещение информации, а значит, и возможность получения недостоверного знания, не соответствующего истинному положению дел.

Качество социологического исследования. Еще один элемент эпистемологической составляющей – представление о критериях качества социологического исследования,

¹ Я здесь не имею возможности рассмотреть проблему влияния респондента на интервьюера, которое тоже имеет место и сказывается на качестве получаемой информации.

тесно связанное с пониманием истинности результата в научном предприятии. Качество исследования, его «хорошесть» в методологии классического исследования понимается как мера соответствия полученного знания истинному положению дел, т.е. тем реальным закономерным связям изучаемого явления или процесса, которые социолог должен обнаружить, «открыть» в социальной действительности. В идеале получаемое в процессе исследования знание должно быть слепком изучаемого явления, лишенным каких бы то ни было искажений, его зеркалом. Так понимаемое качество результатов социологического исследования в этой методологии описывается с помощью термина «достоверность» [41, с.17].

Установка на получение *достоверного знания* – принципиальна для количественного социологического исследования. В то же время, оценить меру достоверности результата социологического исследования *по самому результату* практически невозможно. В самом деле, оценить качество большинства продуктов человеческой деятельности можно, только имея *базу для сравнения, норму*, отклонение от которой и будет свидетельствовать об их качестве. Эта норма может существовать в виде определенных параметров продукта, четко зафиксированных в соответствующих документах, либо в форме представлений, существующих в сознании тех или иных социальных групп, выступающих экспертами. Вместе с тем для оценки достоверности *результата социологического исследования* не существует нормативной базы: никто не знает истинного распределения тех или иных социальных признаков или их связей в изучаемой социальной общности *до самого исследования*.

Вместе с тем, *опосредованно оценить достоверность результатов можно*. Дело в том, что социологическое исследование представляет собой *специфический вид познавательной деятельности*, которая, как любая деятельность, *процессуально может быть представлена* тремя составляющими: *целью, средством и результатом*. При таком

рассмотрении качество результата (его достоверность) прежде всего определяется качеством цели и главное – *качеством средств*, используемых социологом при производстве знания, их надежностью, а также степенью соответствия целей и средств (что немаловажно). При этом термин «средства» используется здесь в самом широком смысле, как *все познавательные конструкции и организационные процедуры*, необходимые для производства социологического знания. Проблема состоит в том, что *оценить саму эту надежность средств исследования*, а в конечном итоге и достоверность результатов *могут только социологи-профессионалы* в рамках экспертизы. Вместе с тем в достоверном социологическом знании нуждаются как конкретные заказчики (это характерно для прикладных исследований), так и общество в целом (при осуществлении фундаментальных исследований). Механизм же *обязательной профессиональной экспертизы инструмента* сегодня отсутствует, да и вряд ли может существовать вообще.

Особое значение имеет и *качество интерпретации результатов* исследования, понимаемой здесь как процесс восхождения от полученных эмпирических данных к теоретическим понятиям (*индуктивная ветвь* гипотетико-дедуктивно-индуктивной логики классического социологического исследования). Здесь, на этом этапе – немало проблем, наиболее важная из которых – *асимметрия приписывания*, явление, обнаруженное английским социологом Фарром в конце 80-х годов и подробно исследованное В. Моиным [42, с.45]. Асимметрия приписывания, представляя собой свойство человеческой природы представлять себя в более выгодном свете, *приписывать своим поступкам более благородные мотивы*, происходит бессознательно, что делает невозможным ее предотвращение в социологических исследованиях. Не существует никаких «поправочных» коэффициентов, способных повысить достоверность информации в случае асимметрии приписывания. Речь может идти только о *корректности интерпретации*

результатов социологического исследования, о *повышении их достоверности за счет использования других методов.*

Позиция исследователя в исследовательском процессе. В методологии классического социологического исследования исследователь-наблюдатель находится только *вне изучаемого процесса или явления:* социальная реальность как объективная вещь, отделена от исследователя, *противопоставлена ему,* выступает не сценой его действия, но объектом изучения, размышления. Здесь социолог – отстраненный наблюдатель социальных явлений, выдающий «на гора» объективное знание – точный слепок изучаемого фрагмента социальной реальности. Такое представление о позиции социолога заключено в известном утверждении М. Вебера о социологии как знании, «свободном от ценностей». Конечно, это не означает, что социолог как гражданин, как человек свободен от ценностных ориентиров. Это означает только, что, находясь в профессиональной роли, согласно «правилам игры» количественного исследования, он должен *максимально контролировать* свои эмоции, убеждения, стереотипы, чтобы их влияние на результат социологического исследования *максимально исключить.*

Свобода от ценностей здесь фактически означает и свободу от ответственности за использование результатов такого исследования. Социолог должен дать достоверный результат, объективное знание. При этом как, в каких целях, во имя чего полученное знание будет использоваться – его как профессионала мало заботит. Эта сциентистская позиция сегодня выступает объектом мощной критики: потрясения, которые пришлось пережить людям в XX веке, не в последнюю очередь были вызваны отстраненностью ученых от проблемы использования их знания.

Кроме того, результат познания здесь, как уже говорилось, – *некая теория или система идеализированных объектов (понятий),* выстроенная по абстрактным законам «правильно рассуждающего ума». Такая теория не может быть создана на уровне массового сознания *участников со-*

циального процесса. Она принципиально не ориентирована на здравый смысл, обыденное, повседневное знание людей, ее язык кардинально отличается от языка повседневного общения. В этой методологии исследователь – абстрактный субъект познания, выступающий от лица безличного Разума, Разума вообще: не случайно научные статьи до сих пор пишутся в безличной грамматической форме. Здесь исследователь, «очищенный» от всего индивидуального, смутного, неподконтрольного, от дурного настроения и головной боли, от вдохновения и корня квадратного из -1 – одинокий субъект, говорящий только монологами и не знающий диалога» [43, с.26].

Такое сочетание позиции абсолютно отстраненного наблюдателя, изучающего социальный мир примерно так, как биолог изучает под микроскопом мир бактерий, с обязательной ориентацией на теорию, выстроенную по законам математической логики, и на познание универсальных истин делает знание, получаемое в этой методологии, не только объективным, но и нормативным, непреложным, фактически истиной для всех.

Критики классической методологии полагают, что в такой ситуации исследователь автоматически возносится над массовым сознанием, превращается «во всезнающего рассказчика, наблюдающего за происходящим на сцене из царской ложи» [44, с.86], становится вещателем единственно верной истины. Он здесь оказывается, по мнению Питера Бергера, «самозванным сверхчеловеком, отгородившимся от теплой витальности обыденного существования, ищущим удовлетворение в том, чтобы судить о жизни других людей, тщательно раскладывая их по полочкам, из-за чего он выпускает из виду реальную значимость того, что наблюдает» [31, с.22].

Такое знание монологично по определению, потому что производится просвещенными людьми (учеными) с позиции абсолютного превосходства над непросвещенными. Оно устанавливает закон, норму, и потому его можно назвать Законодательным Разумом. Критики полагают, что

такое знание автоматически *производит власть*, если под властью понимать не «вездесущие щупальца государства», но, как М. Фуко, – «всю совокупность тактик, стратегий, технологий, детерминирующих, регламентирующих и дисциплинирующих жизнь человека» [45 с.41].

Литература

1. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998.
2. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999.
3. Маслова О.М. Качественная и количественная социология: методология и методы // Социология: 4М. Т5–6.
4. Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Материалы Летней школы. Самара, 2000.
5. Neuman L. W. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. Allyn and Bacon, 1994.
6. Возможности использования качественной методологии в гендерных исследованиях. Материалы семинаров. М.: МЦГИ, 1997.
7. Punch K.F. Introduction to Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, New Delhi, London: Sage Publications, 1998.
8. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики. Самара: Самарский университет, 2002.
9. Gubrium J., Holstein J. The new language of Qualitative Method. N. Y. – Oxford: Oxford University Press, 1997.
10. Кун Т. Структура научных революций. М.: Изд-во АСТ, 2002.
11. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е издание. М.: Питер, 2002.
12. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

13. Степин В.С. Горохов В.Г. Розов М.А. Философия науки и техники. М.: Контакт-Альфа, 1995.

14. Лаудан Л. Наука и ценности // Современная философия науки: Знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. М.: Логос, 1996.

15. Конт О. Дух позитивной философии. СПб., 1910. Т. 1.

16. Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. №4.

17. Агасси Дж. Революция в науке – отдельные события или перманентные процессы? // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. М.: Логос, 1996.

18. Поппер. К. Реализм и цель науки // Там же.

19. Куайн В. Онтологическая относительность // Там же.

20. Макинтайр А. «Факт», объяснение и компетенция // Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

21. Декарт Р. Соч.: В 2 томах. М., 1989. Т. 1.

22. Бэкон Ф. Сочинения. М., 1971. Т. 1.

23. Микешина Л.А. Философия познания. М.: Прогресс Традиция, 2002.

24. Печенкин А.А. Релятивизм // Современная философия науки. М.: Логос, 1996.

25. Библер В. От наукоучения к логике культуры. М.: Наука, 1991.

26. Соколов В. Европейская философия XV-XVIII веков. М.: Высшая школа, 1996.

27. Мамардашвили М. Необходимость себя. М.: Лабиринт, 1996.

28. Лехциер В.Л. Введение в феноменологию художественного опыта. Самара: Самарский университет, 2000.

29. Монсон П. Лодка на аллеях парка. М.: Весь мир, 1995.

30. Дюркгейм Э.О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.

31. Бергер П. Приглашение в социологию. М.: Аква-Пресс, 1996.

32. Mulkey M. Science and the sociology of Knowledge. L.: G. Allen and Union, 1989.

33. Тернер Дж. Аналитическое теоретизирование // Теория общества. М.: Канон-Пресс-Ц, 1999.

34. Giddens A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.

35. Коллинз Р. Социология: наука или антинаука // Теория общества. М.: Канон-Пресс-Ц, 1999.

36. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М.: Стратегия, 1998.

37. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998.

38. Осипов Г.В. Андреев Э.П. Методы измерения в социологии. М.: Наука, 1977.

39. Толстова Ю.Н. Существует ли проблема социологического измерения? // Социология: 4М. Т. 5–6.

40. Рабочая книга социолога. М.: Наука, 1987.

41. Паниотто В. И. Качество социологической информации. Киев: Наукова Думка, 1986.

42. Мойн В.Б. Ассиметрия приписывания в социологических исследованиях // СоцИс. 1991. №5.

43. Лехциер В.Л. Путь к опыту // Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Материалы летней школы. Самара, 2000.

44. Козлова Н. Н. Как работать с советским архивом // Там же.

45. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.

КАЧЕСТВЕННОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ, ПРЕДПОСЫЛКИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ

Tempora mutantur, et nos mutantur in illis (Времена меняются, и мы меняемся с ними).

Латинская поговорка

...обращение к субъективной точке зрения всегда может и должно осуществляться. Так как социальный мир ... остается очень сложным космосом человеческих действий, мы всегда можем вернуться к «забытому человеку» социальных наук, к актору в социальном мире, чьи деяния и чувства лежат в основе всей системы.

Альфред Шюц

Социальный мир и теория
социального действия

1. Из истории становления

Я полагаю, что в самом общем виде качественное социологическое исследование представляет собой такой тип и соответственно такую методологию исследования, в рамках которой социальные явления и процессы изучаются прежде всего с точки зрения действующего индивида как начала любой социальности, интерпретирующего мир вместе с другими людьми, действующего в нем в соответствии со своими интерпретациями. Социолог-исследователь здесь должен непременно «погрузиться» в

мир личностных смыслов изучаемых людей, понять мотивы и цели их поступков, их объяснения происходящего, чтобы потом в большинстве случаев конструировать комментарии или мини-концепции, призванные «вобрать» в себя этот субъективный опыт.

Сегодня рождение качественной социологии связывают с самыми разными фактами отечественной и зарубежной интеллектуальной истории. Ряд российских исследователей, делающих акцент на специфике *методов* качественного исследования и прежде всего на *включенном наблюдении* как наиболее характерном из них, видят ее истоки в этнографических полевых исследованиях английских антропологов, начавшихся в конце XIX века и набравших силу в начале XX, исследованиях, связанных с именами Бронислава Малиновского, Чарльза Кули и их предшественников: Хеддоном, Селигменом и Риверсом [1, с.37]. Именно в этих работах, особенно в трудах Б. Малиновского, по мнению авторов этой точки зрения, впервые были осмыслены приемы, методы изучения «туземцев», сформулированы основные идеи полевого исследования чужой культуры изнутри. Эта точка зрения практически повторяет позицию Н. Дензина и Л. Линкольна [2, с.1–34], выделяющих *пять периодов* становления качественного социологического исследования, где в качестве *первого* также выступает «романтический период» увлечения этнографией, полевыми исследованиями в целом (американские авторы датируют этот период 1900 – 1950 годами).

На мой взгляд, эта точка зрения не верна: известно, что этнография этого периода была в методологическом смысле *позитивистки ориентированной* [3, с.152]¹. Настаивая на использовании *личных контактов* с изучаемыми людьми (необходимости полевого исследования) в противовес кабинетному знанию теоретиков, с «чужих рук» делающих свои обобщения, «ранняя» этнография в полном соответствии с методологией классического исследования ориентировалась на производство так называемого объективного зна-

¹ Впрочем, этого не отрицают и Н. Дензин и И. Линкольн.

ния. Один из идеологов такой этнографии, известный английский антрополог А.Р. Рэдклифф-Браун, сетуя по поводу «неразберихи», царящей в науках о культуре, писал в своей работе «Метод в социальной антропологии», что наука о явлениях культуры (Рэдклифф-Браун называл ее «социальной антропологией») должна быть нацелена «на открытие общих законов, адаптируя к своему особому предмету изучения обычные логические методы естественных наук» [4, с.41]. Английский антрополог вполне позитивистски мечтал о том времени, когда «адекватное познание законов социального развития, дав нам знание социальных сил и контроль за ними, позволит достичь результатов величайшего значения» [4, с.50].

Другая точка зрения относит возникновение качественной социологии к деятельности знаменитой Чикагской социологической школы в 20 – 30-е годы XX столетия [5, с.7.]. Ее рождение связывают с уникальным пятитомным исследованием У. Томаса и Ф. Знанецки «Польский крестьянин в Европе и Америке» [6], где впервые использовались включенное наблюдение и качественный анализ личных документов, которые впоследствии будут отнесены к «мягким» (или, в терминологии В.В. Семеновой, к качественным) методам. На мой взгляд, это верно и неверно одновременно. Действительно, замечательные американские социологи, изучая процесс адаптации польских крестьян-эмигрантов к другой культурной среде и стремясь выявить типологию социальных характеров, способствующих (или не способствующих) этому процессу, анализировали их личные дневники и письма. В то же время сами исследователи не осознавали своей методологической «инаковости», своей «другости». Здесь, в Чикаго, в эти годы вообще *рождались эмпирическая социология, еще не осознающая методологических различий внутри себя*. Здесь под руководством Р. Парка, одного из выдающихся американских социологов, работали вместе знаменитый Р. Богардус, разработчик шкалы для измерения социальной дистанции, дошедшей до нас под названием «шкала Богардуса» и

У. Томас, использующий неизмерительные исследовательские процедуры. Более того, эта «неизмеряющая» социология во многом считала себя незрелой, неумелой, стремясь дорасти до «нормальной» науки.

Да, для чикагских социологов характерно стремление соединить социальное картографирование, использование статистических процедур с теми методами, которые мы сегодня называем «мягкими» (неформализованное интервью, включенное наблюдение, анализ личных документов) [7, с.114]. Особенно ярко это проявилось в творчестве Э. Берджесса, друга и соратника Р. Парка, отличающегося, по мнению исследователей, высоким интересом к эмпирическим исследованиям и методической всеядностью [8]. Вместе с тем, чикагскими социологами все-таки в полной мере не осознавались принципиальные *методологические различия* между используемыми жесткими и мягкими исследовательскими процедурами.

Действительно, в Чикагской школе были великие теоретические прорывы, идущие *вразрез с классической традицией*. У. Томас в Предисловии к своему «Польскому крестьянину», ратуя за необходимость опоры в исследованиях на *субъективный опыт индивидов*, писал, обращаясь к коллегам-социологам: «Мы должны поставить себя в положение субъекта, пытающегося найти дорогу в этом мире, и мы должны помнить, что среда, которая на него влияет и к которой он адаптируется, это – его мир, а не объективный мир науки» [9, с.347]. Антипозитивистские устремления Томаса «просвечивают» и в его знаменитом понятии «*определение ситуации*», с помощью которого он вслед за Дж. Дьюи описывал механизм поведения личности, остроумно названный Р. Мертоном «теоремой Томаса»: «Если люди определяют ситуации как реальные, то они реальны по своим последствиям» [7, с.275]. В то же время он вместе с Ф. Знанецки как истинный представитель классической науки, претендующей на «овладение миром», там же писал: «Наш успех в контроле над природой убеждает, что со временем мы будем способны в та-

кой же мере контролировать и мир социума» [9, с.336]. Убеждение в необходимости производства *объективного, ценностно нейтрального* знания, которое только поэтому и может быть использовано в социальной практике: «Нам необходима точная эмпирическая социальная наука, готовая для возможного применения» [9, с.341] также «выдает» классические устремления У. Томаса. Пожалуй, можно согласиться с Е.С. Баразговой, которая комментируя его высказывание о том, что социология «должна видеть, знать и докладывать о мире людей и вещей, вовлеченных в их опыт», пишет, что «подход, отстаиваемый Томасом, во многом созвучен методологическим установкам европейского позитивизма» [10, с.45].

В целом, недостаточная методологическая рефлексия эмпирических исследовательских процедур и прежде всего «мягких» (все еще только начиналось) вкупе с «переходным», отчасти противоречивым характером методологических установок авторов «Польского крестьянина», сочетающих одновременно позитивистские и антипозитивистские ориентации (это в меньшей мере, но касается и раннего творчества Ф. Знанецки [11, с.58]), не дает, на мой взгляд, серьезных оснований связывать возникновение качественной социологии с Чикагской школой.

Подлинное рождение качественной социологии, как мне представляется, следовало бы связывать с манифестом молодых английских социологов Д. Силвермена, А. Сикурелла и др., которые в своей работе «Новые направления в социологической теории» впервые *теоретически обстоятельно* и страстно осмыслили иную, *альтернативную* социологию [12]. Тогда, в 70-е годы, западный социологический мир раскололся на два противостоящих лагеря: «бунтовщиков-качественников», яростно нападающих на противников, и «количественников», занявших «круговую оборону», и защищающих себя не менее яростно¹.

¹ Следует сказать, что выделенная мной точка отсчета – 70-е годы косвенно подтверждается и позицией Дензина и Линкольна, выделяющей ее, правда, в качестве начала *третьего этапа* становления

2. Предпосылки становления

Сегодня в отечественной литературе практически отсутствует сколько-нибудь серьезный анализ предпосылок, «вызвавших к жизни» качественную социологию. Вместе с тем материалы Круглого стола, посвященного проблемам качественной и количественной социологии, проведенного редакцией журнала «Социология: 4М» в 1995 году, фактически единственного российского источника, где эта проблема как-то осмысливалась, дают некоторую пищу для размышления [13, с.5–15]. Следует сказать, что участники Круглого стола говорили преимущественно о причинах растущего интереса к качественным исследованиям в России, делая акцент на специфике *российской социальной ситуации*, которая начала кардинально меняться в начале 90-х. Важнейшие из них – это неудовлетворенность российских социологов существующими теориями, потребность в их переосмыслении; активное размежевание фундаментальных и прикладных исследований с преимущественной ориентацией первых на качественную методологию. Была обозначена и такая «ситуационная» предпосылка, как расширение контактов с западными исследовательскими центрами, «близкое знакомство» с «мягкими» (в публикации они названы «качественными») методами, о которых российские социологи знали лишь понаслышке. Попытки «подняться выше», осмыслить предпосылки возникновения качественного социологического исследования как альтернативы традиционному в *западной социологии* были немногочисленны.

Одна из них свелась к *экономическому* фактору (кстати, это довольно распространенная точка зрения среди социологов-эмпириков): качественные исследования не требуют особых затрат на размножение инструмента исследования, стоимость которого непрерывно растет, и поэтому они дешевле. Вторая – к *социально-политическому*: качест-

качественного социологического исследования как периода, который они, собственно говоря и связывают со становлением интерпретативного подхода в гуманитарных и социальных науках.

венная методология возникла в Великобритании как реакция на американское первенство в области количественной методологии и как протест маргинальных и социально дискриминируемых слоев, с которыми себя идентифицировали исследователи, против количественной социологии как символа враждебного мира доминирующих.

Видимо, все выделенные предпосылки в определенной мере значимы, но мне думается, что этот процесс имеет *более глубокие корни*. На мой взгляд, следует выделять *две группы предпосылок*, способствующих возникновению альтернативного типа социологического исследования: *глобального характера*, связанного со сменой теоретических парадигм в XX веке и *локального, внутреннего* – со стороны социологов-эмпириков, неудовлетворенных «познавательным горизонтом» классического подхода.

К первой группе причин глобального характера следует отнести *резкое падение престижа науки в ее нововременной форме* в XX веке. И дело не только в том, что с наукой во многом связываются глобальные катастрофы человечества. Подвергается критике сама интенция науки *овладеть миром*. Великий критик научного знания, выдающийся немецкий философ Мартин Хайдеггер, обыгрывая известный термин «картина мира», который используется для описания той или иной исторической эпохи, говорит о том, что применительно к Новому времени *картина мира – это не изображение мира, но мир, понятый как картина* [14, с.447]. Именно в Новое время мир, представленный человеку как картина, мир, предметно противопоставленный ему, переходит в сферу его компетенции и распоряжения. Здесь мир превращается в *объект*, резко противостоя человеку – *познающему субъекту*. Практически об этом же говорил и Николай Бердяев, выдающийся русский философ, в своей работе «Смысл творчества» [15]. Он сравнивал науку с оккультизмом, с «черной магией», видя в последней «колыбель» науки: корыстную жажду овладения природой и добытия из нее всего, что дает силу человеку, наука получила от них. Вся психология науки, по

Бердяеву, родственна «черной магии», ибо и та, и другая жаждут власти над природой.

Критике подвергается сама позиция научного знания, в том числе и гуманитарного, рассматривать мир *только как объект познания и освоения, «по ту сторону»* от важнейших экзистенциальных вопросов, значимых для каждого человека. «Все, чем мы непосредственно озабочены в нашей жизни, избегает строгих характеристик науки. Жизненная реальность – вне пределов науки», – говорит современный шотландский философ С. Прист [16, с.6]. *В научном знании возводится в абсолют познавательная ситуация, как будто все, что было и есть, всегда существовало только для того, чтобы попасть в лабораторию, как точно сказал французский философ М. Мерло-Понти [17, с.266]. Здесь мир истолковывается лишь как познавательный объект, как бы лишенный собственной значительности и не могущий быть без специальной санкции познающего субъекта. Наука, по Хайдеггеру, есть «до жути решительная обработка действительности», и эта обработка состоит прежде всего в том, что «действительность заранее представляется как предметное множество, готовое для исследующего устанавливания» [14, с.245]. «Познавать и осваивать. Идти дальше. Чувствовать себя хозяином в мастерской сущего» [18, с.26] – вот главная интенция научного знания.*

Применительно к классической социологии как одного из вариантов такого типа научности острие критики направлено на превращение ею человека в объект жестких социальных технологий, в объект манипулирования. Социология, по образному выражению современного английского исследователя Зигмунта Баумана, «перепутала истину с пользой, информацию с контролем, знание с властью» [19, с.235]. Она восприняла призыв власть имущих доказать обоснованность социологического знания практическими выгодами, которые она может дать для управления общественным порядком *тем, кто следит за порядком и управляет им*. Тем самым социология, воспринявшая перспективу управления, стала рассматривать общество «свер-

ху», как материал, обладающий способностью к сопротивлению, как объект манипуляции, внутренние свойства которого нужно лучше узнать, чтобы он стал податливее и восприимчивее к той форме, какую ему захотят придать. В этом своем аспекте классическая социология стала рассматриваться как *усиливающая контроль* над теми, кого уже контролируют, как *меняющая ситуацию* в пользу тех, кто уже наслаждается лучшим положением. Социологию стали обвинять в том, что она способствует неравенству и социальной несправедливости.

В XX веке резкой критике подвергается Нововременной Познаний Разум в социо-гуманитарных науках: начиная с Декарта фундаментальной становится *предметная противопоставленность* всего присутствующего, в том числе и познавательная ситуация стала рассматриваться с точки зрения *субъект-объектного противостояния*. Критике подвергается Нововременное видение, изучающее человека как вещь, в *субъект-объектном противостоянии*: даже не просто отдельно, но в *бесконечном удалении от исследователя*, «вне положено по отношению к исследующему остраненному уму», как точно сказал В. Библер [20, с.297]. Сегодня остро ощущается, что такое субъект-объектное, «картинное» видение мира, глубоко укорененное в европейской культуре (выражение «мир предстал», которое мы с легкостью употребляем – свидетельство тому), тем не менее не является *единственно возможным*, что оно *не абсолютно и исторично* [21, с.123]. Сегодня этому подходу противостоит идея, блестяще выраженная М. Бахтиным: «*Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как вещи, как объекты – с ними можно только диалогически общаться*» [22, с. 82].

Главная задача социо-гуманитарного знания *сциентистского типа* – описать, объяснить человека, как он есть сам по себе, «очищенный» от исследовательского субъективизма, любых проявлений его личности. Здесь исследователь – анонимен, ибо выступает от лица Познającego Разума, абстрактного Субъекта познания, действующего в

соответствии с универсальными законами дедуктивной логики; это лишь «*частичный*» гносеологический субъект, иными словами, «виртуальный, идеально мыслящий и действующий когнитивный феномен» [21, с.42]. По яркому выражению В. Дильтея, «в жилах такого познающего субъекта, какого конструируют Локк, Юм и Кант, течет не настоящая кровь, а разжиженный сок разума в виде чисто мыслительной деятельности» [23, с.111]. В XX веке начинает четко осознаваться, что такое знание, выстроенное по «лекалам» *классической рациональности*, не является подлинно гуманитарным, хотя объектом его и выступают человек или социальная группа, как в социологии. Подлинно гуманитарное знание, полагает М. Бахтин, – «это область открытий, откровений, узнаваний, сообщений... Сложность двухстороннего акта познания-проникновения. Активность познающего и активность открывающегося (*диалогичность*). Умение познать и умение выразить себя» [24, с.7–8]. Стало приходить понимание того, что *истинная гуманитарность* предполагает «*возвращение*» исследователя как *целостной личности* в изучаемый процесс, когда знание представляет собой его *личностную интерпретацию* в акте диалога внутреннего мира другого человека, интерпретацию социального контекста бытия, «инкорпорированной» истории.

В XX веке «лично нейтральное» знание, произведенное от лица «всеобщего» разума, подвергается критике еще *и по другой причине*. Это знание, вырабатывающее универсальные законы, рассматривается как *производящее норму*, как *принудительное*, предписывающее для всех и потому являющееся «скрытыми стратегиями власти» [25]. Власти интеллектуалов над людьми, не принадлежащими к этой группе. В самом деле, интеллектуалы (прежде всего – ученые), создавая те или иные понятия, категории мышления, идеологии, мировоззренческие системы, *производят норму*, которой пользуются все. Видимо, Н. Козлова права, говоря, что «все мы, прошедшие школу образования, пользуемся оппозициями: теоретическое – практическое; науч-

ное – обыденное; элитарное – массовое; прогрессивное – отсталое; внешнее – истинное и т.д. [26, с.140]. Вместе с тем, эти оппозиции – плоды деятельности интеллектуалов, которые потом через систему образования «навязываются» всем остальным. Проблема здесь в том, что мы (т.е. все остальные) принимаем их за объективные свойства мира. Понятно, что, живя в мире, невозможно избежать категоризации этого мира, властных категориальных рамок, которые нам услужливо предоставляют интеллектуалы. Проблема эта достаточно сложна. Вместе с тем, рассмотрение современной формы научного знания как *производителя скрытых стратегий власти* – одна из глобальных к нему претензий.

Существует еще одна причина, очень точно уловленная Юргеном Хабермасом: *стала явной неудача универсальных наук* об обществе, не сумевших выполнить свои теоретические и практические обещания [27, с.36]. По его мнению, известная кейнсианская экономическая теория оказалась не в состоянии предложить действенные мероприятия в политике и экономике; в психологии провалились притязания теории обучения на универсальность, а всеобъемлющая теория Т. Парсонса никак не согласовывалась с социологическими исследованиями. Все это открывало путь для альтернативных начинаний, для тех теоретических подходов, которые выступали альтернативой господствующему объективизму: феноменологии, философской герменевтики, и т.д. В целом, как считает Хабермас, во второй половине XX века происходит «неоконсервативный сдвиг в философском климате» [27, с.37], некий *перелом* в настроении, следствием которого стало изменение тех исходных принципиальных допущений, которые были приняты среди представителей наук об обществе. Происходит возврат, возрождение интереса к релятивизму, историзму, экзистенциализму, ренессанс которых наблюдается в целом ряде гуманитарных наук: культурологии, философии науки, лингвистике, литературоведении.

Следует выделить и причину *онтологического плана*, входящую в круг глобальных: это *кардинальное изменение характера самой социальной жизни*, которая так или иначе осмысливается социальным исследователем, когда он разрабатывает понятия или более сложные познавательные конструкции – теории. В этом смысле вступление западного общества в индустриальную современность в *конце XIX века* «потребовало» теорий, оправдывающих *экономическую целерациональность вместо исследования конкретных разнообразных жизненных форм*. Эти теории создавались в рамках методологии классической науки образца XVIII–XIII вв. с их верой в безграничность человеческого разума, стремлением преобразовать природу и человека в соответствии с идеальным Проектом. Цивилизация Модерна – это эпоха Проекта, цивилизация великих идей, создаваемых интеллектуалами. Как справедливо считает Н. Смирнова, «свойственная дискурсу Модерна абсолютизация социально-дифференцирующей роли культуры воплотилась в ортодоксальном консенсусе классической социологии, согласно которому *сами люди не знают, чего хотят, и не ведают, что творят*» [28, с.128]. Именно поэтому классическая социология претендовала на «*единственно верное*» научное знание побудительных причин человеческого поведения, представляла себя проводником рационализации жизни. Интеллектуалы создавали *проекты* форм жизни для других, пусть даже другие этого не желали. Более того, они как бы лишали права на существование те формы жизни, которые не совпадали с проектами желаемого будущего: «определяли их как отсталые, пережиточные, подлежащие очистке и рафинированию» [26, с.135].

Классическая социология моделировала мир в первую очередь как *объект администрирования* – «мир, обозреваемый с высоты стола генерального директора» [29, с.71]. Из такого видения, по мнению З. Баумана, вытекало три следствия: мир и прежде всего общество рассматривалось как *целостное*, содержащее все существенное для своего бытия; это *целостность сплоченная*, слаженная по образу

и подобию механизма, в которой в идеале должны отсутствовать конфликты, а всем членам надлежит верить в то, во что верят другие для поддержания этой целостности; и, наконец, мир – это *проект-в-процессе-реализации*, то есть проект, который существует в *кумулятивном и целенаправленном времени*. В этой цивилизации Проекта, как подытожил Ж.Ф. Лиотар, жизнь протекала в постоянном напряжении между местничеством, немотивированностью, непроницаемостью состояния *в настоящем* и универсальностью, определенностью и прозрачностью *будущего* состояния, которое *должно было наступить, подготавливаемое каждым мгновением настоящего* [30]. При этом каждое конкретное «сегодня» черпало свое обоснование из универсального «завтра».

В середине XX века на Западе, а сейчас и у нас в России – *иная* социальная ситуация, *иное социальное* время. Важнейшая отличительная черта его – неспособность «думать о себе как о Проекте» [29, с.73]. «Проектирование и усилия для его исполнения подверглись приватизации, дерегуляции и фрагментации», как точно сказал З. Бауман. Сегодняшняя социальная жизнь – это время не Проекта, но *проектов* («для наших дней наиболее характерна внезапная популярность множественного числа» [29, с.74]), индивидуальных или совместных проектов (дел, занятий), которые *не складываются во что-то целое*. Современная социальная жизнь – скорее область самопроизвольных и слабокоординированных процессов, нежели сплоченная целостность, определенная Т. Парсонсом как «сфера принципиальной координации» [31, с.463]. Вот это усиление *плюрализма и культурной гетерогенности* в современном западном и российском обществах, вкуче с их *транзитивностью* (хотя это совершенно разные транзитивности), политическими решениями, в которых изначально закодирована *множественность интерпретаций*, сменой духовных ориентиров в российском обществе и *множественностью* оценок ее исторического прошлого, настоящего и будущего создает атмосферу *стихийного постмодернизма* обще-

ственной жизни (термин принадлежит Н. Маньковской [32, с.20] – А.Г.) с ее нестабильностью, непредсказуемостью, риском обратимости. Очевидно, что такая *«лоскутная» социальная реальность нуждается в иных познавательных средствах*, способных «схватить» это многообразие, эту изменчивость и переходность.

Предпосылки *локального, внутреннего порядка* в нашей классификации – это те стороны познавательного процесса в рамках методологии классического социологического исследования, которые подвергались *критике изнутри*: со стороны социологов-эмпириков, накопивших к этому времени немалый опыт таких исследований. Более всего социологи были не удовлетворены *опытом использования математики: методами многомерной статистики, математического моделирования* для описания и объяснения социальных явлений.

В самом деле, статистическая традиция, которую вобрала в себя классическая социология, предполагает, что изучаемые объекты существуют *независимо друг от друга*, отдельные их свойства *хорошо вычленяются и также независимы друг от друга или связаны простейшими зависимостями*. Она также предполагает, что *выявление характеристик, описывающих целостность объектов из их элементарных первичных свойств, не представляет сложности*. Вместе с тем, на Западе в 70-е годы, а в России значительно позже – в 90-е годы приходит осознание того, что для социальных объектов – это *слишком большие упрощения*: формально-логический аппарат математики не в состоянии достаточно достоверно описать и объяснить всю сложность социального объекта, для которого характерны *неавтономность его отдельных свойств, нелинейная их зависимость, «вписанность» в более широкий социальный контекст, временная изменчивость* [33, с.13]. В социологическом сообществе все больше утверждается мысль о том, что «стыковка» математики и социологии – невероятно сложная проблема, несмотря на значительные усилия математиков и социологов по «привязыванию» новейших

математических моделей и оригинальных математических аппаратов к потребностям социологической науки.

Еще одна принципиальная «внутренняя» претензия состояла в *невозможности в рамках классического подхода описать реальную целостность социального объекта*, это сочетание порой несочетаемого, противоречивого. Действительно, сама установка количественного подхода на представление социальной характеристики, как правило, латентной (скрытой, внутренней) через ряд заменителей-индикаторов, которые потом, логически соединенные исследователем, будут характеризовать меру выраженности ее сущности, начинает казаться сомнительной.

А как быть со сложными социальными характеристиками, реальными целостностями, такими, как тип сознания, стиль жизни, качество потребления? Даже представление каждой из них «вселенной» показателей (что практически невозможно осуществить в реальном социологическом исследовании) все-таки не дает возможность выявить реальную целостность этих социальных характеристик.

К недостаткам классической социологии стали относить и *невозможность изучить социальный объект в его временной изменчивости*, обусловленной как генетической природой объекта (например, взрослением подростков), так и социальными процессами. Лонгитюдные исследования, пытающиеся описать поколенческие сдвиги в формах поведения, типах сознания, где на протяжении десятков лет изучаются одни и те же люди, находящиеся на разных этапах жизненного цикла, скорее экзотика, нежели реальная исследовательская практика.

В социологическом сообществе накопилась также определенная *неудовлетворенность методами классического исследования* и, прежде всего, стандартизированным интервью, анкетным опросом как инструментами, где методологические послылки позитивистской парадигмы в социологии выражены наиболее отчетливо.

Пришло осознание того, что стандартизация вопросов и предлагаемых вариантов ответов отнюдь не гарантирует

однозначности их восприятия со стороны респондентов (на этом постулате построена вся идея измерения социальных признаков). Стало ясно, что заранее предложенные формулировки вопросов и ответов оказывают внушающее воздействие на респондентов, не позволяя получить ответы, *выходящие за рамки предпосылок*, в неявном виде содержащихся в формулировках ответов и вопросов. Стало понятно, что у респондентов существует значительная разница в мотивации отвечать на предлагаемые вопросы, да и значимость их для них разная и т.д.

Кроме того, возникло убеждение, что количественные данные, полученные в результате опросов, вовсе не являются объективными; это просто сумма ответов на стандартизированные вопросы. Ответов, которые, по мнению современного французского социолога Д. Берто являются полностью субъективными сами по себе и остаются таковыми, «даже если вы закодируете их цифрами, перемешаете и создадите средние статистические показатели».[34, с.17]. «Каким бы способом вы ни готовили кошек, или даже репрезентативную выборку кошек, они от этого не превратятся в кроликов», – замечает он.

В целом, подводя некоторый итог, можно сказать, что на таком фоне глобальных и локальных, внутренних причин, несомненно, взаимообуславливающих друг друга, и произошло конституирование качественной методологии социологического исследования.

3. Теоретические истоки

Качественный подход в социологическом исследовании уходит корнями в целую гамму концепций, теоретических направлений, сложившихся в европейской и американской социальной философии в конце XIX – начале XX века. Созданные выдающимися социальными мыслителями В. Дильтеем, М. Вебером, Г. Зиммелем, А. Шюцем, У. Джеймсом, Дж. Дьюи, во многом различающиеся друг от друга, они, тем не менее, *в методологическом пла-*

не противостоят позитивизму, натурализму, являя собой *другой, альтернативный способ познания общества.*

Эта идеология антипозитивизма, антинатурализма позже была «подхвачена» философами, во многом определившими облик социального знания в XX веке: Г. Мидом, Г. Блумером, Г. Гарфинкелем, П. Бергером, Т. Лукманом, И. Гофманом и др. Созданные ими концепции и направления символического интеракционизма, этнометодологии, социального конструирования реальности, феноменологической социологии, драматургической социологии каждая по-своему определили черты качественной социологии. Конечно, объемы этой книги не дают возможности подробно остановиться на этих и других социальных теориях и направлениях, послуживших философской колыбелью качественного подхода. Тем более, понятно, что невозможно это сделать и применительно к творчеству создателей этих теорий в целом, представить их в живом сплетении присутствующих им парадоксов. Нас, прежде всего, будет интересовать *методологический аспект их творчества*, вопросы познания, как они понимались и рассматривались ими.

Концепция понимания в работах В. Дильтея и Г. Зиммеля. Немецкий социолог Вильгельм Дильтей вошел в историю социологии прежде всего своим резким противопоставлением наук о природе наукам о духе (позитивизм, как мы помним, наоборот, уравнивал их). «Природу мы объясняем, а духовную жизнь понимаем» – главный тезис Дильтея. Он полагал, что данные гуманитарных наук (наук о духе) в отличие от изучения физических явлений в естествознании берутся из *внутреннего опыта*, из непосредственного наблюдения человека над самим собой и над другими людьми и отношениями между ними. «Ибо жизнь дана мне прямо только как моя собственная. И лишь изнутри этой моей собственной жизни я понимаю жизнь вокруг меня, формы животной и человеческой жизни» [35, с.48].

Для В. Дильтея а позже и для Зиммеля и М. Вебера понимание – это всегда *понимание по аналогии*. Человек осознает свое существование в мире через непосредствен-

ное внутреннее переживание. Сходство душевного мира разных людей, сходство психических структур дают возможность сопереживания, сочувствия. На основе *переживания* и *понимания себя самого*, в постоянном взаимодействии того и другого, образуется понимание чужих «жизненных выражений и личностей». Понимание всегда направлено на единичное и состоит в том, чтобы постигнуть это единичное в его жизненной связи. Постигая чужое, понимающий опирается на свой внутренний опыт, поскольку он изначально находится в *некоей связи Я и Ты*. Дильтей увидел непосредственную связь *между пониманием другого и самопознанием*: человек может познать себя, если отнесется к себе как к другому; с другой стороны, он может понять другого только уподобляя себя, свое состояние духовному состоянию другого. «Только в сравнении себя с другими я имею опыт относительно индивидуального во мне; я осознаю только то, что во мне отличается от другого» [36, с.396]. В то же время, Дильтей подчеркивал, что понимание другого – всегда *истолкование, интерпретация чужого жизненного опыта*¹. Поскольку непосредственное переживание, на котором основывается понимание, всегда индивидуально, то, по Дильтею, не правомерно и невозможно существование социологии как науки, претендующей на глобальные обобщения. (Мы помним, что на поиск глобальных закономерностей как раз и ориентирована классическая социология).

Немецкий социолог Г. Зиммель рассматривал теорию понимания, прежде всего исторического понимания, вслед за Дильтеем, как *специфическую методологию социального познания*. «Только жизнь в состоянии понять жизнь», – писал он, «поэтому всякая объективность, предмет познания должна быть обращена в жизнь» [37, с.181]. Он писал, что использование только общенаучных методов (отстранен-

¹ В. Дильтей известен тем прежде всего, что *расширил герменевтику*, понимаемую еще с античных времен как искусство толкования текста, до «органона наук о духе», то есть до *методологии наук о духе*.

ных от исследователя), таких как индукция, типологизирование и др. не позволяет *понять смысл* социально-исторических явлений: необходимо включить в познавательный процесс самого исследователя.

Г. Зиммель выделял 2 ступени процесса понимания. *На первой ступени происходит понимание действия, а не действующего лица.* Тип деятельности можно считать понятым, если психические процессы, на основании которых сложилось определенное осознанное социальное действие, вызывает в интерпретаторе ту же самую реакцию, что и в самом действующем индивиде. *Вторая ступень – понимание мотивов и чувств самого действующего индивида.* По мнению Г. Зиммеля, пониманию доступны лишь такие сочетания переживаний (представлений и эмоций), которые являются не только моментальными явлениями душевной жизни субъекта-деятеля, но прежде всего *типическими*, имеют общеобязательность типического. Здесь типическое понимается как общее, присущее многим: именно потому, что переживания типичны, а значит присущи и самому исследователю, он может понять переживания изучаемого субъекта.

Вместе с тем, Г. Зиммель идет дальше психологизма В. Дильтея, делающего главный акцент в процедуре понимания на «вчувствовании», эмпатии. Георг Зиммель ставит проблему *обоснованности понимания*, связывая обоснованность с двумя моментами: рациональным, логическим осмыслением результата (речь идет о представлении его в форме понятий или некоей концепции) и вписыванием результата в «систему общепринятых ценностей». Здесь это означает сознательный отбор исследователем того фокуса научного интереса, который общезначим, представляется важным для социального знания в данный исторический момент¹.

Итогом понимания здесь выступает не обнаружение причинно-следственных связей (а это, как я уже говорила,

¹ Эта идея позже будет подхвачена М. Вебером в его положении об «отнесении к ценностям».

– главная ориентация количественного подхода), но открытие *смысла действия*, заключающегося в связи этого действия с представлениями, потребностями, интересами изучаемых людей. Зиммелевская теория понимания *включала* исследователя в изучаемый процесс с одной стороны, как *заинтересованного наблюдателя*, «включенного» в изучаемое разворачивающееся социально-историческое явление, с другой стороны – как *контролирующего* через рациональные механизмы *обоснованность выводов*.

Проблема понимания и категория «социальное действие» в трудах М. Вебера. Важнейший антипозитивистский пафос социологии М. Вебера заключается в том, что в отличие от Э. Дюркгейма, он рассматривал социальные образования (под ними он понимал государство, разного рода учреждения) не как самостоятельную социальную реальность, но прежде всего как производную от социальных действий индивидов. Он не исключает необходимости использования в социологии таких обобщающих понятий, как класс, нация, семья и т.д. Но полагает, что эти формы коллективности не являются реальными субъектами действия, и потому им в строго научном плане нельзя приписывать ни волю, ни мышление: говорить о коллективной воле или коллективном мышлении можно только исключительно метафорично.

М. Вебер утверждал, что общественные институты: право, религия, политика – должны изучаться социологией с точки зрения их *значимости для отдельных индивидов, с позиции ориентированности индивидов на них в своем поведении*. В оппозиции *индивид – общество* он предпочитал делать акцент на *индивиде* как «клеточке», «простейшем единстве», атоме социума. Предмет социологии по Веберу – социальное поведение индивида. При этом социология, по мнению М. Вебера, должна изучать *поведение индивидов в той мере, в какой индивид вкладывает в него определенный смысл*¹. «Действием, - пишет он, - называется чело-

¹ Для психологии, тоже изучающей поведение индивида, этот момент не является определяющим.

веческое поведение ... в том случае и постольку, если и постольку действующий индивид или действующие индивиды связывают с ним субъективный смысл» [38]. Здесь под термином «субъективный смысл» понимается тот смысл, который вкладывает в свое действие *сам индивид*. «Социальным же действием» следует по Веберу называть такое, которое по своему смыслу *отнесено к поведению других*, ориентировано на них.

Таким образом, веберовское социальное действие включает в себя *два момента: субъективный смысл* (мотивацию), без которого вообще нельзя говорить о действии, и *ориентацию на других*, без которой действие не может считаться социальным. Следует сказать, что введение в предмет социологической науки *принципа «ориентации на других»* было принципиальным, ибо только таким образом, изучая индивидуальное действие (или поведение), можно было «выйти» на социальное, всеобщее, не придавая в то же время социальному (и прежде всего социальным институтам) самостоятельного статуса: напомню, что самостоятельный статус социального означает существование социальной реальности *отдельно от индивидов, вне всякой связи с ними*, как вещи, противопоставленной индивидам. Именно так рассматривал социальную реальность Э. Дюркгейм, как уже было отмечено.

Здесь опять социальное, «всеобщее», в терминологии М. Вебера, существует лишь в той мере и настолько, насколько оно *признается индивидами*, ориентирует их поведение. Для М. Вебера любые социальные образования — *только процессы и связи определенных действий отдельных людей*, потому что только люди являются *понятными* для исследователя носителями действий, имеющих смысл.

Категория «*понимание*», столь тщательно исследуемая В. Дильтеем и Г. Зиммелем, у Вебера рассматривается *принципиально по-другому*. Психологическое понимание чужих душевных состояний, по Веберу, является лишь подсобным. К нему можно прибегнуть, если действие не может быть понято по его смыслу, при объяснении *ирра-*

циональных моментов действия¹. Вместе с тем, непосредственно понятым по смыслу является целерациональное действие индивида. Что такое целерациональное действие? По Веберу – это действие, ориентированное на четко осознаваемую индивидом цель с адекватными, по его мнению, для этой цели (субъективно адекватными) средствами. Для объяснения целерационального действия нет необходимости прибегать к психологии, потому что понять цель индивида, исходя из анализа его душевной жизни, невозможно. Понимание, которое осуществляет социология – это понимание действия как целерационального. Означает ли это, что в реальности все наши действия действительно строго осмыслены, целерациональны? По Веберу – конечно, не означает. Реальные наши поступки могут быть очень далеки от «сухой» рациональности. Целерациональное действие выступает у него «идеальным типом», т.е. некоей мыслительной конструкцией, с позиции которой реальное действие индивида может быть понято. Здесь «идеальный тип» – инструмент, методологический принцип, позволяющий исследователю понять «живую жизнь».

Прагматизм У. Джеймса и Дж. Дьюи. Прагматизм как важнейшее направление американской социальной философии начала XX века, был тем источником теоретических понятий и подходов, которые потом, воспринятые Г. Мидом, И. Гофманом, А. Шюцем, У. Томасом, послужат основанием символического интеракционизма, драматургической и феноменологической социологии, этих теоретических «китов» качественного подхода в социологии. Прагматизм первым в социальной философии стал рассматривать центральную проблему любой философии – проблему истины и ее критериев не в «узком коридоре» гносеологии, по определению ограниченном познающим субъектом и познаваемым объектом, но в плоскости повседневной жизни индивидов.

¹ Реальное поведение индивидов всегда включает в себя иррациональные моменты, поэтому психологическое понимание индивида всегда присутствует.

Для философов-прагматиков Ч. Пирса, У. Джеймса, Дж. Дьюи истина – не гносеологическое понятие, связывающее результат познания с тем, что познается¹. Для прагматиков истина – прежде всего *спектр практических действий индивидов в повседневной жизни*, ведущих к определенному результату. Антипозитивистский пафос прагматизма состоял в том, что он ввел *мир повседневности* в предметное поле социальной философии. Точная фраза одного из американских исследователей о Джоне Дьюи «он обвенчал философию с жизнью» может быть отнесена к прагматизму в целом. Место человека наблюдательного и любопытного, *гносеологического человека*, рассматривающего мир *только как объект познания*, здесь занял человек, *живущий в этом мире, действующий в нем, заинтересованный в эффективности своих действий*.

Прагматизм расходился с позитивизмом и в трактовке отношений между индивидом и обществом. Настрой прагматизма – сугубо активистский: человека принципиально следует рассматривать как *действующего субъекта, обладающего волей*, а не как объект, пассивно подчиняющийся законам природы, способный лишь созерцать и научно познавать независимые от человеческой воли «объективные» процессы в природной и социальной среде. Социальная среда здесь включает в себя другие активные организмы, и человек становится человеком в процессе взаимодействия с этой активной средой. Общество можно понять через *анализ взаимодействия и взаимовлияния индивидов*. Термин «коммуникация», который станет потом знаковым и будет использован как базовый в символическом интеракционизме и драматургической социологии И. Гофмана, впервые появился здесь, в прагматизме. Фактически само существование общества сводилось в прагматизме к *совокупности процессов коммуникации, форми-*

¹ Напомню, что в классической науке истинное знание – это знание, соответствующее реальному положению дел, точный слепок изучаемого явления.

рующих необходимую для совместной деятельности «общую собственность» (по выражению Дьюи) всех людей на более или менее одинаково понимаемые цели, взгляды, ожидания. Вместо контовско-дюркгеймовского понимания общества как мощного образования, созданного прошлым, исходным здесь стал образ общества *как чего-то создаваемого по ходу дела, ситуативно*.

Именно здесь, в прагматизме, лежат истоки *«конструктивистского»* подхода к социальной реальности, который потом станет важнейшей чертой феноменологической социологии: социальная реальность здесь – *непрерывно творимый продукт повседневных взаимодействий, интерпретаций и реинтерпретаций*. Эту текучесть, коллективную «делаемость», конструируемость социальной среды прагматисты выражали в *понятии «ситуации»*. Джон Дьюи, вводя это понятие, утверждал, что поведение человека – есть ответ не на какой-либо единичный объект, стимул, событие, но всегда *на оценку ситуации* в целом, опирающуюся *на весь контекст накопленного и текущего жизненного опыта*.

Уильям Томас, а вслед за ним и И. Гофман удачно использует позже этот термин, вводя новый – *«определение ситуации»*. Всякая конкретная человеческая деятельность, по Томасу, оказывается развязкой какой-то конкретной ситуации. Своим термином *«определение ситуации»* он подчеркивал, что, выбирая *сознательно* свои линии поведения, действующие субъекты соучаствуют *в создании общих его правил на данный случай*, а не просто следуют неким универсальным, безликим и обязательным нормам. Определение ситуации, по Томасу, это *«более или менее ясная концепция условий и осознание индивидом установок»* (своих собственных и других участников – А.Г.) [39, с.354], *ибо установки и ценности других участников – обязательная часть ситуации*. Люди в повседневной жизни принимают решения (т.е. выбирают определенную линию поведения), руководствуясь не научными выкладками, но предположительными умозаключениями об установках других участ-

ников, и поэтому воображаемые, предположительные значения, приписываемые индивидом словам и делам этих участников, могут иметь самые реальные последствия.

Символический интеракционизм Дж. Герберта Мид и Г. Блумера. Теорема Томаса, о которой я говорила, имеет самое прямое отношение к проблеме *символизма в социальном взаимодействии (интеракции)*, наиболее авторитетно разработанной американскими социологами *Джорджем Гербертом Мидом* и его учеником *Гербертом Блумером*. Термин «символический интеракционизм», который сам автор его – Г. Блумер считал «варварским словообразованием», тем не менее очень точно схватывает новаторские идеи, разработанные впервые в рамках этого теоретического направления. Символический интеракционизм, по Блумеру, в конечном счете, основывается на трех теоретических предпосылках.

Первая состоит в том, что люди действуют в отношении «вещей» *на основании значений, которыми для них обладают «вещи»*. Под «вещами» здесь понимается все то, что человек воспринимает в окружающем мире: физические предметы (стулья, деревья, здания); социальные предметы, в том числе и социальные институты (правительство, школа и т.д.); абстрактные предметы (нравственные принципы, идеи и т.д.). *Вторая предпосылка* заключается в том, что значения вещей *создаются или возникают во взаимодействии с социальным окружением*. *Третья* состоит в том, что эти значения *используются и изменяются* в процессе интерпретации человеком окружающих вещей. Как «работают» эти предпосылки?

Первая говорит о том, что для символического интеракционизма не существует так называемых «миров в себе», для него есть лишь такие «миры», которые *люди конструируют для себя и других*. Эти «миры» состоят из «объектов», или «вещей», относительно которых можно иметь какое-то отношение, наделять их каким-то значением, которое для разных людей *может быть различным*. «Собака, – пишет Г. Мид, – это возможный товарищ в игре, возмож-

ный враг, собственность того или иного лица» [40, с.219]. Ключевая мысль Г. Мида состоит в том, что человек осваивает мир через *символические значения*. Человек обобщает конкретную ситуацию до определенного содержащегося в ней смысла: если некто грозит нам кулаком, то тем самым он выражает *определенную мысль*. Значение здесь *заложено не в объектах самих по себе, но в их определениях, которые действующие люди всегда демонстрируют друг другу*.

Как создаются эти символические значения? Здесь я перехожу к одному из *главных понятий* этой концепции – *интеракции*. Мысль о том, что современная жизнь людей в социальных группах с необходимостью предполагает интеракцию (взаимодействие) между ними, не нова и присутствует практически во всех социальных теориях. Между тем, только в символическом интеракционизме интеракция является тем *главным процессом*, который *формирует поведение каждого индивида*. Каков механизм этого формирования? По Миду, каждый человек интерпретирует жест другого (жест у Мида – это и поведение) с позиции своего социального опыта, «ухватывая» тем самым *смысл* жеста, по-своему *определяя его*. Как же возможна коммуникация, если у каждого участника взаимодействия существует *свое определение жеста, ситуации в целом?*

По Миду, коммуникация возможна за счет создания людьми *общих значимых символов*. «Значимыми символами называются знаки и символические жесты, *вызывающие у индивида то же самое представление о присущих им значениях, что и у другого, и поэтому вызывающие одинаковую реакцию*» [40, с.229]. Язык представляет собой систему таких значимых символов. Благодаря одинаковым символам языка мы способны *поставить себя на место другого*.

В социальной коммуникации символы выступают знаками, служащими для интерпретации ситуации и обозначения намерения действующего лица. *Если значение их одинаково для всех участников коммуникации, то в качестве*

значимых символов они вызывают у Ego (Я) и Alter (Другого) не случайные, а *вполне определенные реакции*. Это означает, что, пользуясь одинаковыми символами (например, языком), Другой может предвосхитить реакцию Я, перенять его позицию, рассмотреть ситуацию с позиции другого человека или, как говорил Мид, *«принять роль другого»*. Благодаря *взаимному принятию ролей* становится возможным *коммуникативное понимание* перспектив действия и ролей участников, *взаимодействие вообще*.

В этом ключе антипозитивистский пафос символического интеракционизма как раз и состоит в том, что здесь роли – не раз и навсегда закрепленные образцы, которые индивид должен осваивать в процессе социализации, но *ситуативно конструируемые*, «схватываемые» в ситуации взаимодействия. Здесь действующие лица не просто обладают статусами с четко установленными правилами и ролевыми ожиданиями (как, например, в структурном функционализме), но ставят *смысл и значение каждой роли в зависимость от личной оценки ситуации*, специфических возможностей проявления роли в этой ситуации и от того, как все участники ситуации определяют ее.

Парадокс состоит в том, что индивид *осознает свою собственную идентичность опосредованно*: лишь в том случае, *если смотрит на себя глазами другого*. В самом деле, все, что индивид говорит другому, он говорит и самому себе: в своей основе коммуникация направлена не только на других, но и на самого себя. «Для возникновения идентичности необходимо, чтобы личность реагировала на саму себя» [40, с.224]. Самосознание – это процесс, в котором индивид делает *себя объектом собственного восприятия*. Но это возможно лишь в коммуникации: здесь индивид следит за собой, наблюдает себя *глазами другого* и судит о себе по реакции других людей. Рассматривая себя с точки зрения других людей, индивид приобретает *критерии оценки* самого себя.

Принципиальное отличие символического интеракционизма от других социальных теорий, «работающих» в клас-

сической парадигме, не только в том, что здесь идентичность – не неизменная сущность, *но всегда процесс, становление*, что очень важно. Дело еще и в другом: во многих теориях человек потому считается социальным существом, что реагирует на социальные условия или ведет себя так, как его научили в группе. Блумер же считает человека «социальным» в более *глубоком смысле*: в качестве существа, который находится в социальной *интеракции с самим собой*, и только потому находится в этом положении, что в его сознании всегда присутствуют *воображаемые другие*, с позиции которых он и рассматривает себя. Человек социален здесь потому, что *определяет себя* относительно объектов окружающего мира, *интерпретирует* их, придавая им значения и организуя свои действия в соответствии с этой интерпретацией.

«*Интерпретирующий*» активный человек символического интеракционизма противостоит «*нормативному*» человеку классической социальной методологии, в которой человеческое общество представляет собой *жесткий распорядок жизни с его совокупностью правил, норм, ценностей и санкций*, точно предписывающих людям, как они должны действовать в различных ситуациях. Он постоянно сталкивается с изменчивостью социальных ситуаций, в каждой из которых он вынужден действовать, *интерпретируя и определяя условия своего действия*. Более того, в этой концепции именно такое активное, определяющее поведение индивидов, *взаимное переплетение социальных действий*, когда одни действия вызывают другие и в то же время сами являются реакцией на другие, условием для последующих действий, *создает правила совместной жизни*, а не наоборот: не правила сами по себе создают и поддерживают совместную жизнь людей.

Драматургическая социология Ирвинга Гофмана. Крупнейший американский социолог Ирвинг Гофман, который к тому же был прекрасным писателем (его даже называли Кафкой нашего времени), был последовательным мидовцем. Это означает, что его драматургическая социоло-

гия «выросла» из символического интеракционизма, вобрав в себя основные его положения:

- социальное поведение людей, решающих очередные проблемы в очередных ситуациях, определяя и переопределяя их, *создает социальные правила*, социальную жизнь в целом;

- все явления, которыми занимается социолог, должны объясняться в координатах социального взаимодействия, где *социальное взаимодействие – не есть средство*, оказывающее какие-то «извне воздействия» на человека, но *сам процесс социальной жизни*, обуславливающий любое социальное явление;

- подавляющая часть человеческих взаимодействий носит *символический характер* в том смысле, что большинство реакций индивидов на других опосредовано фазой интерпретации, на которой происходит наделение значениями предмета взаимодействия.

И. Гофман использовал эти принципы для микроанализа *особой реальности*, возникающей в ситуации «лицом к лицу», ситуации, где участники находятся в физическом присутствии друг друга и имеют возможность *непосредственно реагировать на действия других*. Для Гофмана – это самостоятельная и полноправная область исследований, не претендующая на «подъем» в «большую социологию». Сосредоточенность на проблемах участников микровзаимодействий, происходящих, как правило, в *обособленных социальных пространствах*, в относительно закрытых микросистемах (организациях, учреждениях), дает основание исследователям Гофмана утверждать, что «опыт Гофмана подрывает надежду на исполнение заветной мечты теоретиков социологии – построить мост между наблюдениями и обобщениями на уровне повседневных житейских ситуаций и обобщениями макросоциологии... Кажется, из чтения Гофмана надо сделать вывод, что лучше эти разные миры исследовать по отдельности» [41, с.26].

Гофман принял концепцию множественности социальных личностей, имеющуюся в прагматизме (У. Джеймс), в

качестве отправной точки в своем анализе микросистем взаимодействия. Человек, согласно этой концепции, участвует во множестве разных групп, и поэтому он имеет столько же *разных социальных Я*, сколько существует групп, состоящих из лиц, чьим мнением он дорожит. Каждой из этих групп человек показывает *разные стороны своей личности*. Таким образом, взаимодействие происходит не столько между индивидами как неделимыми личностями, сколько между *разными социальными ликами* индивидов, как бы *между изображаемыми ими персонажами*. Гофман изучает эти маски, личины социальных акторов (или актеров: и то и другое верно – А.Г.), которые в конце концов прирастают к лицу и становятся более подлинными Я, чем те воображаемые Я, какими хотят быть эти люди.

Драматургический подход Гофмана – это изучение социальных микрообразований, в которых осуществляется определенный род деятельности с точки зрения *управления создаваемыми там впечатлениями и определения ситуации*. Это описание приемов управления впечатлениями, затруднений в этом деле, главных его исполнителей и исполнительских команд, организующихся на этой почве. По его мнению, драматургический подход должен дополнить традиционные, имеющиеся в арсенале социологии для изучения социальных образований: технический (с точки зрения организации деятельности); политический (с точки зрения властных отношений); структурный (проясняющий совокупность горизонтальных и вертикальных отношений); культурологический (направленный на изучение культурных норм) и т.д. [42, с.285].

По Гофману, люди в ситуации непосредственного взаимодействия действуют так, чтобы намеренно и ненамеренно *самовыразиться*, в то время как другие должны получить *впечатления* о них. Способность индивида к самовыражению (т.е. к созданию впечатлений о себе), по Гофману, имеет две составляющие: *произвольное самовыражение*, когда он *дает* информацию о себе, и *непроизвольное*, которым он *выдает* себя [42, с.251–252]. Первая

включает в себя вербальные символы, используемые общепризнанно, чтобы передавать информацию (например, речь). Это и есть *коммуникация в традиционном и узком смысле*. Для Гофмана важна вторая составляющая – *непреднамеренная, невербальная и более театральная*. При использовании двух этих видов коммуникации действуют объективные ограничения непосредственного взаимодействия между людьми. Эти ограничения влияют на участников и преобразуют *объективные проявления их деятельности в театрализованные представления*. При этом вместо простого исполнения рабочей задачи и свободного проявления чувств люди начинают усиленно *изображать процесс своей деятельности* и передавать свои чувства окружающим в нарочитой, но приемлемой для других форме. У Гофмана для обозначения такого рода поведения используется язык театрального представления: «декорации» и «передний план», разделение сценического пространства житейских игр на *заднюю (закулисную) зону*, где готовится исполнение повседневных, рутинных действий и *переднюю зону*, где это исполнение представляется другим [42, с.63]. Гофман вводит даже аналог театральной труппы – понятие *команды исполнителей* для участников взаимодействия [42, с.112].

Акцент на сценических аналогиях, использование языка театра для И. Гофмана не самоцель, но – тактический маневр, своего рода уловка. На самом деле его главная исследовательская задача – это *«выявление той структуры социальных контактов, непосредственных взаимодействий между людьми, той структуры явлений общественной жизни, которая возникает каждый раз, когда люди физически сопредсутствуют в замкнутом социальном пространстве»* [42, с.302]. Его интересует, как в социальных ситуациях люди преподносят и воспринимают себя, как они координируют свои действия. Очень точно о нем сказал немецкий исследователь Х. Абельс: « Он прослыл таким социологом, который в точных выражениях

рассказывает, что особенного и даже немного тревожного на самом деле творится с нами» [43, с.188].

Феноменологическая социология. Именно этому направлению, становление которого происходило в первой половине XX века, социология обязана тем, что предметом научного теоретизирования стала повседневная жизнь людей. До этого времени миру повседневности в истории общественной мысли, если и уделялось внимание, то в контексте противопоставления чему-то другому, более истинному, более достойному. Философия с самого начала своего существования искала истину не в изменчивой повседневности, но в другом мире, в частности, в *мире познания*. В классической методологии *жизнь и познание* оказывались в *непересекающихся плоскостях*: Нововременной Познающий Разум всегда ориентирован на реальность, максимально «очищенную» от жизненных переживаний субъекта познания, на мир, который можно только познавать и осваивать, но в котором невозможно жить.

Предтечей этого направления социологической мысли можно считать *феноменологическую философию* и, прежде всего, выдающегося немецкого философа Эдмунда Гуссерля. Именно Гуссерль, обозначив проблему кризиса европейской науки, обосновал необходимость для социальных наук обращения к повседневной жизни человека, разработав ключевое для феноменологической социологии понятие «*жизненного мира*» [44, с.143]. Предметом феноменологии, по Гуссерлю, является тот мир, с которым человек *вступает в отношение в своем познании*. Опыт человека в мире есть часть его опыта жизни в мире *совместно с другими* людьми. Мир, который кажется нам несомненным, основан на доверии к нему. Этот само собой разумеющийся мир непосредственно переживаемого опыта, Гуссерль называет *жизненным миром*. Он является миром вещей, *каким мы его воспринимаем до и вне всякой науки*. Этот мир *просто существует*, он сам себя утверждает и не требует никаких дополнительных обоснований. По отношению к нему мы обладаем *естественной установкой*, кото-

рая *всегда непроблематична*. Естественная установка является неререфлексируемой (т.е. неосознаваемой) и постоянно подтверждает себя через рутину повседневного повторения одного и того же. Жизненный мир – есть *несомненная реальность*, т.е. не подлежащая сомнению основа естественного мировоззрения. Австрийский социолог Альфред Шюц, основатель феноменологической социологии, будучи последователем Гуссерля, главной своей задачей считал *прояснение самой природы исследования* в общественных науках. Как возникают понятия в общественных науках, и как они относятся к миру и человеку? Ответить на эти методологические вопросы по Шюцу невозможно без анализа процесса приобретения человеком социального опыта *как дорефлексивной, непосредственно переживаемой реальности*, и того, *как этот опыт определяет общение с миром*, т.е. без исследования *конституирования мира сознанием и конструирования человеком своего мира*. Только таким образом, изучая *предельные основания* социальности, отвечая на вопрос «как возможно общество?», можно, по Шюцу, построить *новую методологию* социальной науки, участвуя тем самым в разрешении кризиса нововременной формы науки, обозначенного еще Гуссерлем.

В построении новой методологии социальных наук Альфред Шюц отправлялся от гуссерлевского «жизненного мира» и от веберовского понимания социального действия как такого действия, «которое по предполагаемому действующим лицом *смыслу соотносится с действиями других людей и ориентируется на них*» [45, с.602–603].

Первая и главная его книга «Смысловое строение социального мира» посвящена описанию структур социального мира *с точки зрения действующего субъекта*, прослеживанию перехода от непосредственного личного опыта к социальному как объективному. Фактически – это систематическое описание познания социального мира: Шюц последовательно прослеживает процесс социального познания от субъективно подразумеваемого смысла индивида до понятий социальной науки, претендующих на объектив-

ность. Его новая социология – это фактически *социология познания*, где четко устанавливается связь между повседневным миром человека и теоретическими понятиями науки. При этом мир повседневности – это *верховная, первичная реальность*, по отношению к которой наука (как, впрочем, и другие «конечные области значений» в терминах Шюца – мир игры, мир фантазий) выступает лишь *квазиреальностью (псевдореальностью)*.

Не случайно главную задачу социальных наук он формулирует так: «науки об истолковании и объяснении человеческого действия и мышления должны начать с описания базовых структур *донаучного знания*, которое является само собой разумеющейся реальностью для людей с естественной установкой» [46, с.165]. Эта реальность представляет собой «повседневный жизненный мир».

Жизненный мир, по Шюцу, – это, *во-первых*, область реальности, где только и возможно взаимодействие с соплеменниками, «*строительство*» *общей среды коммуникации*, особая реальность, свойственная лишь человеку; *во-вторых*, область реальности, которая свойственна в качестве *простой данности* нормальному бодрствующему взрослому человеку в здравом рассудке. Простая данность значит здесь переживание действительности как само собой разумеющейся, как *непроблематичной*, как *несомненной*; *в-третьих* – это *интерсубъективный мир*, который изначально воспринимается как мир, *общий с другими людьми*, мир, в котором люди взаимно воспринимают друг друга и *имеют значение друг для друга*; *в-четвертых* – это и мир действий, поступков. Это действительность, которую люди изменяют, и *которая изменяет их* [47, с.114–159].

Можно сказать, что наша естественная установка в отношении мира повседневной жизни определяется нашим *прагматическим мотивом*. Мы действуем в нашем жизненном мире, который сам по себе дает рамки нашему мышлению и действию. Каким же образом происходит конституирование социального мира? Прежде всего, Шюц делает акцент на несовместимости индивидуальных пози-

ций Я и другого. Каждая индивидуальная позиция определяется биографической ситуацией: обстоятельствами рождения, взросления, воспитания. Для каждого индивида она уникальна и потому превращает «мир вообще» в «мой собственный мир» каждого конкретного человека. Биографическая ситуация создает *перспективу* видения, где индивид оказывается как бы центром мира, откуда он интерпретирует мир [47, с.138–140]. Здесь термин «перспектива» означает не проект будущего, но *особый, индивидуальный способ интерпретации*. Вместе с тем, биографические ситуации имеют и *много общего*: в процессе воспитания и образования создается знание, которое одновременно является и *общим знанием*, разделяемым многими. Это накопленное индивидом знание, представляющее собой сплав личного непосредственного прошлого опыта переживаний и опыта других людей, переданного родителями, учителями, выступает основой для *определения каждой новой ситуации*, действия в ней, *нового опыта*. Здесь накопленный опыт (запас знаний) есть *типичное знание*, с которым сравнивается новая ситуация, требующая решения.

Типизация начинается тогда, когда *имеющийся* прошлый опыт можно поставить в смысловую связь с решением новой проблемы, *с новым переживаемым опытом*. Смысл возникает тогда, когда все наше рефлексивное «Я» используется в текущих новых переживаниях. Смысл здесь не что иное, как *«самоистолкование переживания о новом переживании»*, по яркому выражению А. Шюца¹. Если типичное знание оказывается адекватным новой ситуации, т.е. оказывается эффективным, то оно переходит в разряд *привычного знания*, использование которого происходит «автоматически» в повседневных, рутинных операциях. Так каждый человек упорядочивает мир, так формируется его непротиворечивая повседневная «теория», содержание здравого рассудка, которое расставляет все на свои «правильные» места, оберегая нас от сомнений.

¹ Здесь значение слова «смысл» не совпадает с обыденным его значением в качестве чего-то разумного, логичного.

Важнейшая методологическая проблема, рассматриваемая в феноменологической социологии, – это *процесс формирования понятий и теории* в общественных науках, его *принципиальное отличие от естественных наук*. Еще раз повторим: в повседневной жизни люди руководствуются обыденным знанием различных сфер социального мира, в котором они живут. Этого знания, которое, по Шюцу, часто непоследовательно и «представляет все степени ясности и отчетливости, начиная с глубокого понимания ... и кончая слепой верой» [48, с.487], тем не менее, достаточно, чтобы наладить взаимоотношения с людьми, культурными объектами, социальными институтами. Обыденное знание, по Шюцу, так же, как и любое другое знание о мире – научное, например, включает в себя мыслительные конструкции, синтез, обобщение, формализацию, идеализацию, специфичные для соответствующего уровня организации мысли. Естественные науки, строя свои теории в строгом соответствии с принципами формирования понятий в науке, абстрагируются от обыденного знания, поскольку мир природы в том виде, в каком он исследуется естествоиспытателями, *ничего «не значит» для молекул, атомов, электронов*. Но сфера изучения обществоведа – «социальная реальность» – имеет *специфическое значение* и конкретную структуру для людей, живущих, действующих и думающих в ее пределах» [48, с.490]. С помощью конструктов обыденного сознания люди интерпретируют этот мир, который они воспринимают как реальность их повседневной жизни. Поэтому, по Шюцу, идеальные объекты, сконструированные обществоведом для познания этой реальности, т. е. понятия, *должны извлекаться из идеальных объектов, сконструированных обыденным сознанием, т.е. быть конструктами второго порядка, конструктами конструктов*. Вместе с тем, понятно, что конструкты первого порядка (обыденное знание) – *всегда субъективны*, т.к. представляют собой личностную интерпретацию индивидуумом мира, в котором он живет, *его определение ситуации*. Это означает, что социальные науки, создавая свои

конструкты второго порядка – понятия и теории, должны включать в себя ссылку на субъективно значащее действие, т.е. на *значение, которое действие имеет для действующего индивида*: ведь именно оттуда берет свое начало социальная реальность.

В то же время, общественные науки, как и все эмпирические науки, должны, по Шюцу, *быть объективными* в том смысле, что подлежат контролируемой проверке, и не должны ссылаться на личный неконтролируемый опыт исследователя. Главная проблема здесь в том, как *примирить противоречивые принципы*, как сформировать *объективные понятия и объективно проверяемую теорию субъективно значащих структур*. Выход из этой проблемной ситуации Шюц видит в том, чтобы понятия научной теории, «эти гомунклусы, которыми обществовед заселяет свою модель социального мира повседневной жизни» [48, с.495] строились, *во-первых*, в соответствии с требованиями логической последовательности (непротиворечивости), что гарантирует их объективность, *во-вторых*, – в соответствии с требованиями адекватности. Здесь адекватность понимается как их совместимость с конструктами повседневного сознания. Признаком такой совместимости, по Шюцу, является *понятность* научных конструктов действующим субъектам.

Этнометодология Гарольда Гарфинкеля. Авторство в изобретении термина «этнометодология» принадлежит основателю этого направления американскому социологу Г. Гарфинкелю. В каждой из частей этого сложного слова фиксируется определенная грань *целевой задачи* данной концепции. «*Этно-*» по аналогии с этнонаукой здесь означает акцент прежде всего на *донаучных представлениях*, вплетенных в ткань повседневной жизни, конституирующих ее: этнография в своем классическом варианте, занимаясь примитивными обществами, изучала такого рода представления, составляющие специфику той или иной культуры. В другой части слова – «*методология*» – слышится заявка на познание методов.

В целом этнометодология нацелена на описание и анализ *методов организации практической повседневной жизни*, свойственных той или иной культуре. Этнометодология является развитием феноменологической социологии, вбирая в себя все ее основные постулаты и двигаясь дальше. Я уже говорила о том, что А. Шюц констатировал *наличие типизаций*, этих неосознаваемых конструкторов обыденной рациональности, выступающих базой для определения человеком каждой новой ситуации. Этнометодология, принимая эти типизации за данность (Гарфинкель назвал их *фоновыми ожиданиями*), стала *эмпирически* изучать и теоретически описывать их *функционирование*. В знаменитых гарфинкелевских *«кризисных экспериментах»*, когда сознательно нарушалось привычное взаимодействие участников, выявлялись те конкретные имплицитные, не осознаваемые правила (методы), с помощью которых обеспечивались коммуникация и взаимопонимание участников, их действия в повседневной жизни.

Г. Гарфинкель выделяет *несколько таких методов*, или, по его выражению, «практических теорий» в мире повседневности [49].

Основным является *документальный метод интерпретации*. С помощью этого понятия американский социолог обозначает *поиск образца*, для которого феномен является типичным. А. Шюц доказал, что мы обладаем способностью к обобщению типичного опыта, т.е. к созданию типичных представлений – *«фоновых ожиданий»*, по Гарфинкелю. Поиск образца предполагает, что мы сравниваем *новое явление* с прошлым опытом (образцом), с *фоновыми*, т.е. не рефлекслируемыми ожиданиями, упорядочиваем новое в старом. Именно потому, что мы помещаем новое в рамки нашего *типичного опыта*, повседневная жизнь кажется нам логичной, разумной, непроблематичной. Можно сказать, что мы *ретроспективно истолковываем* каждую новую ситуацию. Вместе с тем, это всегда и *перспективное истолкование* – мы ожидаем действия, которое обязательно наступит согласно логике наличных условий.

Поиск образца – всегда *способ упорядочивания нового опыта*. Само стремление к упорядочиванию, поиску смысла является неотъемлемой чертой нашего конструирования реальности. В своих экспериментах Гарфинкель это убедительно доказал. В одном из них он попросил студентов рассказать психотерапевту, находящемуся в другом помещении, о своих проблемах и задать ему ряд вопросов, на которые можно получить ответы «да» или «нет». Вместе с тем по условиям эксперимента ответы были заранее определены, и их последовательность была одинаковой. Студенты же пытались разыскать некий скрытый смысл в заведомо противоречивых ответах. По мысли экспериментатора, поведение студентов, вынужденно ориентированное на *бессмысленную среду*, обнаруживало свойства смущения, неуверенности, внутреннего конфликта, острой и непонятной тревоги. Этот эксперимент убедительно показал, что «мы не можем терпеть неупорядоченности окружающего мира» [43, с.159].

Еще один метод (прием), который мы, не рефлексировав, используем согласно Гарфинкелю – *структурная неопределенность и эллиптический характер высказываний*.¹ Именно за счет такой *незавершенности, недоговоренности, смысловой открытости* и возможно понимание, коммуникация в повседневной жизни. Использование такого приема тесно связано с *проблемой индексности*, которой «пропитаны» все наши повседневные коммуникации. *Индексность* (термин Гарфинкеля) означает апелляцию наших коммуникативных высказываний, а также жестов и мимики к *определенному контексту*, указание на него. Феноменологическая социология показала, что обращение к образцу, о котором мы говорили ранее, предполагает «сверку» нового не только с общими типизациями (фоновыми ожиданиями), свойственными той или иной культуре, но и с индивидуальными типизациями, которые в то же время являются общими для узкого круга людей. Это означает, что

¹ Здесь эллиптическое высказывание – это сокращенное высказывание, в котором опущены некоторые звенья.

значительная часть коммуникативных высказываний понятна только в *специфическом контексте*, в котором она используется.

В самом деле, смысл восторженного сообщения моей аспирантки: «Мы получили регистрационный номер для журнала» *никто не поймет*, кроме узкого круга людей, делающих с недавних пор электронный журнал «Поволжский социальный вестник». Только эти люди знают, что регистрация электронного СМИ – очень хлопотное дело, потребовавшее от нас год переписки с Министерством по делам печати РФ, кучу бумаг и «выбивание» денег за эту процедуру в администрации университета. Поэтому получение регистрационного номера – это наша победа, награда за терпение и труд.

Индексные выражения всегда направлены на другого человека таким образом, чтобы *подтвердить контекст*, который задан говорящим, т.е. достичь согласия по поводу смысла, который *он сконструировал*. Мы используем индексные выражения неосознанно, создавая совместно общие смыслы. Вместе с тем индексные выражения не только удобны для участников ситуации, но и порой вызывают раздражение других людей, не имеющих общих (контекстных) условий. Именно поэтому в повседневной жизни часто производится *деиндексация*, т.е. попытка произвести некий *общий смысл, понятный всем и каждому*. В то же время чаще всего, как замечает Абельс, «не требуется переводить индексные понятия в объективные *до такой степени*, чтобы *любой другой* мог бы их понять. Нам достаточно, чтобы это мог сделать *конкретный другой*».

Вместе с тем *знание контекста* у говорящих *все-таки разное* и поэтому *неопределенность*, сдержанность, некоторая неточность языка выступает *приемом, обеспечивающим понимание*. Отсутствие единого «точного смысла» слов облегчает коммуникацию, давая возможность каждому «вписаться» в творящуюся «здесь и сейчас» социальную реальность.

Еще один прием, который используется нами в повседневной жизни, как показала этнометодология, состоит в том, что действующие люди пытаются представить свои действия таким образом, чтобы они оказались понятными и приемлемыми с точки зрения интерсубъективных фоновых ожиданий (типизаций). Это так называемые практические объяснения. Когда возникает потребность в таких объяснениях? Прежде всего, когда действие прерывается, когда оно не является само собой разумеющимся, непроблематичным, когда оно не удается. По сути такие практические объяснения сами являются социальными действиями, направленными на восстановление нарушенного взаимодействия или ликвидацию угрозы такого нарушения. Важно подчеркнуть, что практические объяснения не являются истинными объяснениями причин действия (или его срыва), они всегда лишь видимость объяснения: для восстановления взаимодействия, или в случае потенциальной угрозы его прерывания важно, чтобы эти объяснения принимались, считались нормальными, убедительными.

В целом, заслуга этнометодологии состоит в том, что, разрушая в своих экспериментах привычный непроблематичный мир повседневных взаимодействий, она обнаружила, выявила те способы, с помощью которых мы конструируем «здесь и сейчас» социальную реальность нашей каждодневной жизни.

Литература

1. Ковалев Е.М. Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999.

2. Denzin N. and Lincoln L. Introduction. Entering the field of qualitative research // Handbook of Qualitative research. Thousand Oaks, London, New Delfi: Sage Publication, 1998.

3. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. «Сделать знакомое неизвестным»: этнографический метод в социологии // Социологический журнал. 1998. №1–2.

4. Рэдклифф-Браун А.Р. Метод в социальной антропологии. М.: Канон-Пресс-Ц, 2001.
5. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998.
6. Thomas W.L., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America. N. Y.: Dover Publications, 1958.
7. История теоретической социологии М.: Канон, 1998. Т.3.
8. Баньковская С. П. Эрнст Берджесс // Современная американская социология. М.: МГУ, 1994.
9. Томас У., Знанецки Ф. Методологические заметки // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.
10. Баразгова Е.С. Американская социология. Традиции и современность. Екатеринбург: Деловая книга, 1997.
11. Фотев Г. Флориан Знанецкий: гуманистическая социология // Современная американская социология. М.: МГУ, 1994.
12. Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс, 1978.
13. Маслова, О.М. Количественная и качественная социология: методология и методы (по материалам «Круглого стола») // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.
14. Хайдеггер М. Бытие и время: статьи и выступления. М.: Республика, 1993.
15. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. М.: Правда, 1989.
16. Прист Стивен. Теории сознания. М.: Идея Пресс, 2000.
17. Мерло-Понти М. Философ и социология. От Мосса к Клоду Леви Строссу // Мерло-Понти М. В защиту философии. М.: Изд. гуманитарной литературы, 1997.
18. Лехциер В.Л. Путь к опыту // Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Материалы летней школы. Самара, 2000.
19. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

20. Библер В. От наукоучения к логике культуры. М.: Наука, 1991.

21. Микешина Л. Философия познания. М.: Прогресс-Традиция, 2002.

22. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986.

23. Дильтей В. Введение в науки о духе // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX – XX веков. М., 1987.

24. Бахтин М.М. К философским основам гуманитарных наук // Собр. соч.: В 7 т. М., 1996. Т. 5.

25. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1999.

26. Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М.: Ключ, 1999.

27. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000.

28. Смирнова Н. Классическая парадигма социологического знания и опыт феноменологической перспективы // Общественные науки и современность. 1995. №1.

29. Бауман З. Спор о постмодернизме // Социологический журнал. 1994. №4.

30. Лиотар Ж.Л. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.

31. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический проект, 2000.

32. Маньковская Н. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.

33. Саганенко Г. Структура эмпирического результата в социологии и проблема его надежности // Социология: 4М. 1993–1994. Т.3–4.

34. Берто Д. Полезность рассказов о жизни для реалистической и значимой социологии // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара Санкт-Петербург 14–17 ноября 1996 г. СПб., 1997.

35. Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская проблема Вильгельма Дильтея // Дильтей Вильгельм. Соч.:

в 6 т. Введение в науки о духе. М.: Дом интеллектуальной книги, 2000. Т.1.

36. Цит. по: Гайденок П.П. Прорыв к трансцендентному. М.: Республика, 1997.

37. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Избранное: в 2 т. М.: Юрист, 1996. Т.1.

38. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

39. Томас У., Знанецки Ф. Методологические заметки // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.

40. Мид Дж. От жеста к символу // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.

41. Ковалев А. Книга Ирвинга Гофмана «Представление себя другим в повседневной жизни» // Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

42. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

43. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. СПб.: Алетейя, 1999.

44. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная философия // Вопросы философии. 1992. №7.

45. Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М.: 1990.

46. Шюц А. Проблемы рациональности в современном мире // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.

47. Шюц А. Аспекты социального мира // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.

48. Шюц А. Формирование понятий и теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.

49. Garold Garfinkel. Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 1998.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Для социологии особенно важен совет не замыкаться на не знающем юмора сциентизме, ибо он нем и глух к буффонаде социального театра. Если социология не последует этому совету, то может стать, что обретение «непрошибаемой» методологии обернется утратой самого мира явлений, который она изначально собиралась изучать.

Питер Бергер
Приглашение в социологию

Защита субъективной точки зрения является единственной, но достаточной гарантией того, что мир социальной реальности не будет замещен вымышленным несуществующим миром, построенным научным наблюдателем.

Альфред Шюц
Социальный мир и теория
социального действия

1. Образы социальной реальности и предметной области качественного исследования

Представление о социальной реальности. Ранее уже говорилось, что методологическое противостояние традиционного и качественного исследования прежде всего проявляется в социальной онтологии, в понимании природы

социальной реальности, которое определяет и другие элементы методологии: *эпистемологическую* и *собственно социологическую* составляющие. В свою очередь, образ социального, представленный в рамках той или иной методологии, ярче всего «вырисовывается» при рассмотрении оппозиции «*индивид–общество*». Классическая социология делает своим предметом изучение социальных структур, социальных институтов как *особой социальной реальности*, противостоящей человеку и потому «принуждающей» его поступать определенным образом.

Качественная социология в оппозиции «индивид – общество» в отличие от классической делает акцент на *индивиде как источнике*, «*первоначале*» любой социальнойности. Здесь общество, его структура – всегда *результат индивидуальных действий и взаимодействий людей*. Конечно, объяснение процесса происхождения социального из индивидуальных действий индивидов в тех социально-философских концепциях, которые так или иначе определяют облик качественной социологии – различное, порой даже исключают друг друга. Не случайно Р.С.Батыгин и И. Девятко в своей известной статье «Миф о качественной социологии» называют эту методологию «эпистемологической кучей» [1, с.29].

С позиции *экзистенциализма* индивид рассматривается как творец общественной жизни, ставящий перед собой цели, которые и придают жизни определенный смысл. Отправная точка здесь – человек, обладающий свободой воли и ответственностью за свою (и чужую) жизнь. В то же время индивидуальные жизненные проекты (цели, средства) переплетаются с жизненными проектами других людей, соотносятся с ними. В ситуации, когда достаточно много людей создают одинаковые или сходные жизненные проекты, возникают социальные институты. Собственно, эти социальные институты, будучи тоже чьими-то проектами (например, семья или спорт), задают цели, а значит и смысл жизни каждого отдельного индивида.

Пьер Монсон [2, с.19], удачно, как мы видели ранее, использовавший образ парка для описания предмета анализа классической социологии, придумал и другой, довольно точный, образ «корабля в море» для описания такого (экзистенциального) подхода. В самом деле, в море, где нет видимых ограничений, а есть только безмерное свободное пространство, каждое судно само определяет направление своего движения. В то же время, взгляд, обращенный на море, всегда увидит не один корабль, а несколько, совершенно различных: от огромных океанских лайнеров до маленьких суденышков рыбаков. Более того, при внимательном рассмотрении окажется, что корабли эти движутся по незаметным фарватерам, оставляя на поверхности моря вполне определенные, меняющиеся узоры. Конечно, эти узоры – результат движения кораблей, их следы. В то же время понятно, что эти «следы» зависят от скрытых отмелей и впадин, существующих в море: они создают возможности для возникновения конкретной картины морских узоров. Так и некоторое количество «социоматериальных» факторов, окружающих нас в повседневной жизни, с одной стороны, ограничивают нашу теоретическую свободу, с другой стороны – создают возможности для реализации наших намерений. Общество здесь – зеркальная гладь моря с плывущими по ней различными кораблями. Социальные структуры в рамках такого подхода (особая картина морской поверхности) *создаются из человеческих стремлений к своим горизонтам, как своего рода результат поисков своего места в бытии.* Фокус исследовательского интереса здесь – не поиск универсальных причин, побудивших людей поступать определенным образом (куда и откуда плывет корабль), но анализ *самых человеческих экзистенций, конкретных жизненных форм*, а также общей картины оставленных ими напластований, следов.

В рамках другого социально-философского направления – *феноменологической социологии* – социальное есть результат коллективного *истолкования (определения) повседневной жизни*: предметы внешнего мира существуют

не сами по себе, а имеют тот смысл, который вкладывает в них общество и тот, который в дальнейшем придают им люди¹. Реальность, в которой мы живем, реальность нашего конкретного общества – это «человеческий продукт, или точнее, *непрерывное человеческое производство*. И в своем генезисе (социальный порядок как *результат прошлой человеческой деятельности*), и в своем настоящем (социальный порядок существует только, поскольку человек продолжает его создавать в своей деятельности) – это человеческий продукт [3, с.88–89]. С этой позиции социальные институты, хотя и воспринимаются людьми как объективные (как дюркгеймовские факты), в действительности являются *«созданной человеком, сконструированной объективностью»*. Истоки такого порядка – в типизации совершаемых действий, как наших собственных, так и других людей. При возникновении коллективного знания о «взаимных типизациях поведения» можно говорить о *социальных ролях*. Играя роли, индивиды становятся участниками социального мира: *общество входит в нас через роли, и тем самым обосновывает свою реальность для нас*. Здесь при таком подходе социальная реальность не существует сама по себе, она может быть представлена как *конкретная реальность индивидов, живущих в конкретном обществе*.

Предметное поле исследования. В качественном социологическом исследовании это *микрпроцессы, практика повседневной жизни* как единственная социальная реальность. Отсюда акцент на изучение социального *с точки зрения индивида*, действующего на жизненной сцене: определяющего ситуацию, и тем самым конструирующего совместно с другими социальные роли и играющего их. Определение ситуации здесь означает наделение элементов

¹ Вместе с тем, сама возможность и даже потребность *по-своему* определять смысл предметов внешнего мира (и это очень хорошо показали ученики А. Шюца, известные американские социологи П. Бергер и Т. Лукман), *довольно ограничена*: причина здесь не только в социализации но и в *рутинe повседневных действий, в привычных способах мышления, в хабитуализации (опривычивании)*.

этой ситуации: людей, событий, явлений *индивидуальными смыслами*, в соответствии с которыми индивиды одновременно действуют в рамках той или иной роли и конструируют ее правила и нормы заново. Именно поэтому в фокусе интереса качественной социологии всегда находится *индивидуальное*: *индивидуальное сознание* во всей его противоречивости и немислимом сочетании смыслов и *индивидуальное поведение* во всей его сложности.

Вместе с тем, такой угол зрения не отменяет главной целевой *направленности социологии*, ее сверхзадачи: изучение социальных связей и отношений, *не данных непосредственно*, рассмотрение конкретных человеческих действий как элементов более широких структур, то есть *познание типического в социальном мире*. Акцент на *типическом* – принципиален для социологии. Здесь человек берется не сам по себе, но всегда как член социальной группы, общества в целом.

Любой индивидуальный опыт всегда фрагментарен и по большей части односторонен. Он всегда ограничен миром изучаемого человека и тем узким кругом людей, с которым он общается. Ориентация на типическое знание предполагает *расширение горизонтов*, преодоление *неизбежной неполноты индивидуального опыта*, возможность понять социальный контекст.

В качественной методологии *типическое* – это *типика смыслов, значений*, которыми действующие субъекты наделяют жизненно важные вещи, конструируя в коммуникации друг с другом свой повседневный мир. Индивидуальное здесь только потому и представляет интерес, что в нем *«отлита»*, *«встроена» социальность*. Именно поэтому индивидуальное здесь – своеобразная призма, сквозь которую социолог пытается «прозреть» общее, типическое.

2. Понимание как специфический способ познания

Рассмотрение в качественной социологии социальной реальности как принципиально другой, отличной от мира природы, как реальности, в которой люди наделяют любые явления *индивидуальными смыслами и значениями, в соответствии с которыми действуют, как совместной реальности, постоянно творимой вместе с другими людьми*, – такое видение социальной реальности порождает и *другой*, нежели в классической социологии *способ ее познания*. Этот способ, как известно, называется *пониманием*. В самом деле, ранее я уже говорила, что социальная реальность классической социологии – это социальный универсум, где властвует *детерминизм* – вечные и неизменные причинно-следственные связи (законы), обеспечивающие обществу устойчивость и порядок. Познать такую социальную реальность – *значит объяснить ее, т.е. обнаружить, открыть эти причинно-следственные связи*.

Качественная социология принципиально «исповедует» *индетерминизм*, так как полагает, что в социальное действие, являющееся здесь *началом любой социальности*, входят ситуационное толкование, субъективность, рефлексивность, внезапное появление нового, непредсказуемость. Социальная реальность здесь всегда *процесс*, всегда *становление*, всегда *незаконченность, незавершенность*. Она подвижна и конвенциональна и является продуктом взаимосогласования значений между тесно взаимосвязанными совокупностями действующих лиц. Это значит, что в *так понимаемой социальной реальности* не могут существовать вечные и неизменные законы, которые надо только суметь открыть. *Значащий социальный мир, в котором все явления что-нибудь значат для индивида, находятся в определенном отношении к нему, наделяются им смыслом, то есть интерпретируются и переинтерпретируются*, – такой мир

нельзя объяснить¹, его можно только понять. Понимание здесь еще со времен В. Дильтея и Г. Зиммеля рассматривается как *специфическая методология социальных наук*, как *только социальным наукам* присущий способ познания.

Понимание – это всегда *понимание единичного, конкретного субъекта действия*. По Веберу, нельзя понять действия класса, ибо класс – это не реально действующий субъект, но – понятие, некоторая обобщающая категория.

Почему исследователь может понять информанта. Понять смысл действия – значит, *установить связь между действием и намерениями, мотивами, потребностями индивида*. Это удастся сделать исследователю с той или иной степенью успешности благодаря двум обстоятельствам:

во-первых, при всей уникальности действующего индивида большая часть его индивидуальных смыслов *типична*, то есть обладает общностью с другими людьми и *прежде всего с самим исследователем*: смыслы и нормы социального действия, которые социолог пытается понять, по своей сути *интерсубъективны*, они изначально ориентированы на возможности понимания, коммуникации и неотделимы от языка, которым пользуется индивид. Эта «*общеобязательность типичного*» (в терминологии А. Шюца) объясняется общим социальным контекстом индивида и исследователя, процессами социализации, их совместным участием в конструировании правил «социальной игры». В этом плане, чем ближе реальные жизненные условия, в которых протекает жизнь исследователя, к жизненному контексту изучаемых людей, тем больше возможности понимания другого жизненного мира.

В то же время преувеличение роли общего или сходного жизненного контекста для исследователя и исследуемого приводит к существованию среди социологов-качественников неверной, на мой взгляд, точки зрения, согласно которой инвалида лучше поймет инвалид, профессионального спортсмена – профессиональный спортсмен, проститут-

¹ Здесь термин «объяснить» употребляется в одном из своих значений: как *научное объяснение*.

ку – проститутка. Такая позиция не только фактически отменяет профессию социолога, но и сводит результат качественного исследования к *простой репрезентации опыта информанта*. Я полагаю, что описать свое понимание проблем информанта, конечно, может человек с совпадающим жизненным контекстом, но «подняться» от «сырых» данных к обобщениям, как это делается в большинстве качественных исследований, он наверняка не способен.

Все же относительно высокая значимость сходного жизненного контекста не означает, что исследователь с принципиально другим социальным опытом или принадлежащий к другой культуре, нежели у исследуемого индивида, фатально обречен на непонимание чужого жизненного мира, чужой для него культуры или субкультуры. Исследования антропологов доказывают обратное: исследователь может «понять туземца», может понять, «что они о себе думают», хотя никто лучше них самих, конечно, этого не знает [4, с.93]. Дело здесь не в сверхъестественных способностях исследователя, этаким чуде эмпатии и терпения, думать, чувствовать и воспринимать подобно туземцу, не в какой-то уникальной психологической близости с теми, кого изучают, хотя определенная восприимчивость исследователю, работающему в поле, необходима. Понять чужую культуру можно, по мнению К. Гиртца, путем поиска и *анализа символических форм* – слов, образов, институтов, поступков, посредством которых люди в рассматриваемых обстоятельствах реально представляют себя самим и другим людям [4].

Задача исследователя здесь – проанализировать, прежде всего, *понятия, «близкие к опыту»* (выражение Гиртца – А.Г.), которые люди часто используют спонтанно, неосознанно, как есть. В них – *реальность жизненного мира, которую хочет понять исследователь*. И для этого совсем не нужно «воображать себя сборщиком риса или племенным шейхом», как он остроумно замечает. Применительно к социологии, это означает, что социолог, изучая субкультуры, далекие от его жизненного контекста, например, субкульту-

туры беженцев, инвалидов или религиозных сект, должен не столько эмпатийно «вживаться» в их мир, хотя человеческое сочувствие здесь «не вредит делу», сколько пытаться через мир их «близкой к опыту» реальности – мир слов, поступков, представлений себя, *понять* жизненный мир носителей изучаемой субкультуры.

Во-вторых, понять действие другого человека возможно, рассматривая его с позиции *целерационального действия*, то есть понимая действие как *целерациональное*. Поскольку все действия психически здорового индивида в той или иной мере целерациональны, то исследователь *может понять* действующего субъекта. При этом, чем ближе изучаемое конкретное действие к целерациональному (или, по Веберу, «правильно рациональному»), тем больше возможностей у исследователя *понять* его¹. Что же такое «правильно рациональное» действие? По Веберу, это такое действие, когда средства, выбранные *субъективно* адекватными для достижения конкретной цели являются и наиболее *объективно* адекватными, то есть это действие, при котором *индивид* выбирает такие средства для достижения цели (субъективная адекватность), которые *на самом деле* являются *наилучшими* (*объективная адекватность*) [5]. Разум, который мы используем для соизмерения целей и средств, выбираемых для их достижения, присущ всем человеческим существам. Поэтому исследователь может извлечь смысл из наблюдаемого действия не путем догадок относительно того, что происходит в головах действующих, *не столько* путем «вживания» в чужой исследуемый мир, сколько *подбирая к действию мотив*, имеющий смысл, и тем самым делающий *действие осмысленным для любого исследователя*. Рациональное сознание всегда может узнать себя в другом рациональном сознании, т.е. объяснить смысл наблюдаемого действия, т.е. *понять* его.

Конечно, эти *принципиальные возможности понимания Другого* не отменяют в принципе эмпатического сопе-

¹ Я говорила о том, что «целерациональные действия», по Веберу, – это не конкретные действия, но идеальный тип.

реживания изучаемым людям, психологического «вживания» исследователя в чужую субъектность. Эти психологические приемы не только облегчают понимание чужого жизненного мира, но порой выступают единственным условием, когда жизненная история вообще поверяется социологу. Так, в ходе нашего изучения социальных перемещений бывшей партийной номенклатуры *в период кардинального реформирования* (исследование проводилось в 2001 г.) встречались ситуации, когда нарративное интервью тут же прерывалось или «сворачивалось», если информант чувствовал, что интервьюер не сочувствует ему, не хочет или не может поставить себя на его место. Вместе с тем следует подчеркнуть, что роль и значение психологического «вживания» все же второстепенна.

Понятие интерпретации. Ранее уже говорилось, что *классический подход*, ориентированный на познание социального мира как вещи, как внешней, отделенной от человека реальности *претендует на производство объективного знания*. Объективность здесь означает, что знание это должно быть в максимальной степени лишено каких бы то ни было личностных черт исследователя, «очищено» от его субъективности. Только таким образом, используя одинаковые для всех, верные на все времена логические средства (в том числе математику как реальное воплощение формальной логики), можно «познать» противостоящую человеку социальную реальность, ее вечные и неизменные с этой точки зрения законы.

Напротив, знание, производимое в качественной парадигме, носит *интерпретативный характер*. Понимание, в отличие от *научного объяснения*, – *всегда интерпретативно*, ибо представляет собой *приписывание конкретным исследователем значения (смысла) наблюдаемому поведению или анализируемому тексту*, всегда *определение его*. В этом смысле исследовательская интерпретация – это его *субъективная версия* изучаемого явления, которая представляет это явление, но одновременно является и *репре-*

зентацией самого исследователя, его ценностных ориентаций и стереотипов, мироощущения в целом.

Интерпретация исследователем того или иного явления в качественной парадигме – всегда *вторичный процесс, всегда конструкт конструктов* (в терминологии А. Шюца). В самом деле, в рамках этого подхода реальный жизненный мир изучаемых людей – это всегда взаимоинтерпретация, всегда совокупность конструктов I порядка. Эти конструкты представляют собой общие смыслы, значения тех или иных действий, благодаря которым и делается возможной повседневная жизнь человека. Социолог-качественник, обращаясь к транскриптам интервью, текстам писем и дневников, наблюдая за правилами и формами общения людей, всегда имеет дело с *конструктами людей, с их интерпретацией событий*. Его исследовательская версия – *это всегда* конструкт II порядка, всегда *интерпретация интерпретаций*. Такой способ познания стал образно называться «*двойной герменевтикой*», или, как называет его современный английский исследователь Т. Шанин методологией *двойной рефлексивности*, где «двойная рефлексивность – это отношения внутри «методологического треугольника» [6]. По Шанину, это отношения между: 1) тем, что наблюдается исследователем, 2) интерпретациями исследователя, 3) субъективностью изучаемых людей, выражающейся главным образом в том, как они *определяют и объясняют свои поступки*, то есть, как они их интерпретируют.

Об этом же говорит и Юрген Хабермас, рассуждая о *языковых коммуникативных практиках как необходимом условии понимания Другого* [7, с.39]. В классической методологии, на его взгляд, существует лишь *одно* фундаментальное отношение: между высказыванием и тем, о чем это высказывание (*языком и реальностью*). В понимающих же науках таких отношений *три*: выражая свое мнение (свою версию), говорящий налаживает отношение с *другим* членом языковой общности (исследователем) и говорит ему о *чем-то*, имеющем место в мире (о реальности). Еще раз

подчеркнем, что у исследователя-качественника нет *прямого доступа к опыту других людей*. Он всегда имеет дело с различными *репрезентациями опыта*.

Уровни репрезентации опыта. Английская исследовательница К. Риссман рассмотрела этот процесс более детально, «протягивая» его от реального социального явления до чтения результатов, выводов исследования [8]. Поставив себя в позицию информанта-рассказчика (она рассказывала о поездке в Индию), исследовательница выделила *5 уровней репрезентации (представления) опыта* в качественном исследовании.

На I уровне – в потоке сознания *выделяются конкретные* черты наблюдаемого. Прогуливаясь по пляжу, К.Риссман выделила: звуки, издаваемые поющими рыбаками; мужчин, тянущих огромные сети, продающих рыбу женщинам в ярких сари; женщин, водрузивших на головы ведра с рыбой, покидающих рынок и так далее. На этом уровне определенные феномены делаются значимыми, другие – человек не замечает вовсе.

II уровень репрезентации - это конструирование рассказа, нарратива о своих впечатлениях на индийском пляже *совместно со слушателями*. Здесь рассказчик описывает место, персонажей, свои впечатления, связывая рассказ *воедино так, чтобы интерпретация событий стала понятна* коллегам-слушателям. Они, задавая вопросы, реагируя на повествование, тоже активно участвуют в создании *интерпретации события*. В процессе рассказывания появляется *невидимый разрыв* между опытом, который переживала исследовательница, и любой передачей этого опыта: будучи пойманной в «тюрьму языка», выражаясь языком Ницше, добраться до идей, которые выражаются этими словами, практически невозможно. С другой стороны, без слов, звуков, движений и образов опыта на пляже не существует. Язык делает его реальным: «наша лингвистическая способность позволяет нам погружаться в царство нашего первичного и эмоционального опыта, находить там действительность, восприимчивую к вербальному пониманию...

производить далее значимую интерпретацию данного первичного уровня» [8, с.11]. Говоря об опыте, рассказчик также *создает себя*, как он хочет, *чтобы слушатели знали его*. Личный нарратив неизбежно является и *самопрезентацией* рассказчика.

III уровень репрезентации осуществляется в процессе транскрибирования устного рассказа, когда производится фиксация действия в письменной речи. Транскрибирование так же, как и первые два уровня всегда *неполно, частично и избирательно*. Исследователь-качественник, приступая к переводу устной речи в письменную, задает вопрос, каким должен быть транскрипт. Вдумчивый исследователь уже не полагается на «очевидность» языка, а старается передать и знаки присутствия слушателя, все эти «хм», паузы, ударения, «знаете, да», которые были *реальными элементами структуры устного рассказа*. Вместе с тем, транскрибирование – это всегда *интерпретативная практика*, в которой устный рассказ всегда преломляется через видение исследователя¹.

IV уровень репрезентации – это анализ транскрипта. Исследователь сидит над страницами печатного текста, «редактирует живую речь, чтобы разместить её между обложками книги, и старается создать смысл и драматическое напряжение. Нужно принимать умный ряд решений относительно формы, упорядочения, стиля передачи, а также того, как размещать полученные в процессе интервьюирования *жизненные фрагменты*» [8, с.13]. В итоге аналитик создает метаисторию или миниисторию, свою собственную версию изучаемого явления: «история о пляже, как и другие подобные ей, рождаются снова, но уже на чужом языке».

V, *заключительный уровень репрезентации* вступает в силу, когда читатель знакомится с написанным отчетом. Сотрудничество здесь неизбежно, так как *читатель – всегда агент текста, всегда соавтор*, интерпретирующий

¹ К. Риссман сравнивает транскрибирование с фотографией, где художник «направляет взгляд зрителя своими линзами и концентрацией образов».

текст, наделяющий его своими смыслами. Значение текста всегда есть *значение для кого-то*. Следует подчеркнуть, что все формы репрезентации опыта являются *ограниченными портретами реальности*: они частично, избирательно и несовершенно воспроизводят реальность. Значения – всегда *неоднозначны*, потому что рождаются в процессе взаимодействия между людьми: рассказчиком, слушателем, записывающим, аналитиком и читателем.

Задачи интерпретации. Еще один значимый вопрос: каковы *возможные задачи интерпретации* или что можно интерпретировать? Д.Силвермен выделяет два подхода, имеющих место в качественном исследовании [9, с.124]: реалистический и нарративный (повествовательный).

В рамках *реалистического* подхода главная цель состоит в *описании реальности человеческих судеб*. Жизненные истории собираются и представляются читателям как новые «факты» о людях. Использование *нарративного* подхода предполагает акцент на *способах, методах*, с помощью которых информанты во взаимодействии с интервьюерами производят мнения, оценки. В отличие от этнометодологии (и ее современной разновидности – конверсационного анализа) [10], акцент на *способах совместного конструирования реальности* здесь является средством *содержательного анализа социального явления*, позволяющим описать «большие нарративы», т.е. мифы или идеологии, имеющие «большое хождение» в стране в тот или иной период ее истории. Д. Силвермен в качестве примера двух возможных задач интерпретации приводит исследование Д. Миллера и В. Гласнера, проведенное в 1997 г., где анализируются данные глубинных интервью с девушками, попавшими в молодежную шайку бандитов.

В рамках *реалистического* подхода основной задачей может быть описание причин, побудивших девушек уйти из дома. Миллер здесь выделил главные: неподдержка семьи (отсутствие там любви, уважения); психологический комфорт в банде. Кроме того, здесь можно изучать особенности жизненных судеб этих девушек, приведших их в

банду: школа, друзья, секс-история и так далее. Реалистический подход имеет высокую степень правдоподобия: *здесь сквозь субъективные смыслы интерпретируется мир социума в терминах внешних социальных структур.*

Этот подход был использован и в известном руководимом Т. Шаниным уникальном многолетнем британско-российском исследовании российских сел (1990–1996 г.) [6]. Главный смысл исследования состоял в том, чтобы через «голоса снизу» (устные истории жителей сел) и наблюдения полевых исследователей, которые по 8 месяцев проживали в каждом из сел, пробиться в «зоны молчания», недостаточно изученные периоды в политической и экономической истории российского села от начала 20-х до середины 90-х годов.

Нарративный подход предполагает иное: анализ того, как, каким образом информанты конструируют свои истории (повествования). Исследования этнометодологов убеждают [11], что этот процесс конструирования (рассказывания) всегда ориентирован на слушателя: история рассказывается так, чтобы быть *понятной, объяснимой*. Этого можно достичь, только апеллируя к *социо-культурным нормам* – «*большим нарративам*», сложившимся в обществе относительно изучаемого явления. Поэтому истории, рассказываемые информантами, всегда *культурно обусловлены*, всегда так или иначе *соотносятся* с этими «*большими нарративами*» как с нормами, существующими «здесь и сейчас» в общественном сознании. Нарративный подход осуществляется через описание *природы и источников решетки объяснений* (frame of explanations), использованной информантом.

Вот как анализируется Миллером и Гласснером транскрипт фрагмента интервью: *«Действительно, это была совершенно нормальная жизнь, одно отличие было - у нас часто были общие сходки: мы играли в карты, курили сигареты, играли в домино, смотрели «видео». Все, что мы делали, было игрой. Вы могли быть удивлены».* Здесь, отмечают авторы, явная апелляция к тому, что информанты

знают, какие представления о молодежи наиболее распространены в обществе, апелляция к стереотипам культуры, историям о шайках [9, с.127]. Здесь вместо принятия распространенного определения их поведения как девиантного, асоциального, девушка пытается создать представление о нормальности их активности, сопротивляется культурным нарративам о таких группах, существующих в обществе.

Точно так же интерпретацию фрагмента текста интервью одной из девушек «*я использую марихуану, потому что это делают мои друзья*», можно произвести двояким способом. С точки зрения *реалистического подхода* мы имеем свидетельство того, что курение марихуаны – это часть общения подростков. С точки зрения *нарративного подхода* главный акцент делается на объяснении девушкой поведения: «это делают мои друзья». Это апелляция к конформизму как к культурной норме, широко представленной в обществе.

Д. Силвермен приводит еще один пример использования *нарративного подхода* в исследовании, проведенном американским социологом Саксом. Задача этого исследования состояла в том, чтобы понять, *какие категории* использовали военные летчики, воевавшие во Вьетнаме, чтобы объяснить свое поведение. Здесь анализируемые тексты рассматривались прежде всего как *репрезентации информантов*. Эту разновидность нарративного подхода Сакс назвал: «Кто они такие? (What they are?)». Вот фрагмент текста: *Интервьюер: «Как Вы себя чувствуете, зная, что даже при всей осторожности, вы призваны только для военных целей и возможно будете убиты под бомбами?» Ответ информанта: «Мне, конечно, не нравится мысль, что я могу быть убит. Но я после этого не потерял сон... Я оказался в Северном Вьетнаме и думал: «Я военный человек и могу стрелять так же, как и другой военный человек»*. Сакс показывает, что пилот присоединяется к системе моральных норм, которые разделяют и исследователь, и, возможно, читатель. (В противном слу-

чае он должен был бы сказать: «Почему Вы об этом спрашиваете?», что было бы проявлением его неподдержки этих норм). Вместе с тем, он строит свой ответ, чтобы показать себя в лучшем свете. Категория «военный человек» работает, чтобы защитить его. Эта категория напоминает нам, кто они такие, что военные пилоты делают. Результат этого, по мнению Сакса, – усиление идентификации со своим противником, который – «другой военный человек, как я». Таким образом, пишет Сакс, пилот производит категориальную пару «военный человек» и «другой военный человек», с узнаваемыми обоюдными характеристиками (бомбардировка, стрельба в другого). Отталкиваясь от существующей в обществе нормы относительно убийства людей, пилот, используя категорию «военный человек» тем самым подчеркивает, что никто не должен рассматривать его как убивающего людей: это просто игра со своими правилами [9, с.130].

Я полагаю, точно так же может быть проанализирован текст «наивного», «ручного» письма Е. Киселевой, который приводят российские исследователи Н. Козлова и И. Сандомирская [12]. Здесь автор, «выбивая» квартиру для внука в 1987 г., пишет: *«Нет товарищи у нас же не Капиталистическая страна, у нас должны быть сознательные люди можить надо делать какие исхождения, коль выставите такой вопрос самовольно. Он Комсомолец да еще допризывник. У меня лопается терпения. Я не гений и не борец за власть советов, а простая женщина которых воспитала 2вух сыновей и в током гори тем более сыновей, а теперь у них сыновя уже 5 Мущин которые нужны стране защищать наши рубежы»*¹ [12, с.140].

Если использовать нарративный подход к интерпретации приведенного текста, то аргументы, которые приводит Е. Киселева, обращаясь к властям, дают возможность понять, какие «большие нарративы» были в ходу в советском обществе. Так фрагмент *«Нет товарищи у нас же не Капиталистическая страна»* говорит об идеологеме заботы о

¹ В данном отрывке сохранены пунктуация и орфография автора.

каждом труженнике, каждом «простом» человеке, которая циркулировала тогда в СССР. Очень интересны и те доводы, которые она приводит, чтобы убедить «начальников»: «Он Комсомолец да еще допризывник» и далее продолжает: «У них сыновья уже 5 Мушин которые нужны стране защищать наши рубежи». Здесь – явная демонстрация с одной стороны лояльности к советскому государству – «он Комсомолец», которая свидетельствует о норме: благами государства должны прежде всего пользоваться «проверенные», верные коммунистическим идеалам люди. С другой стороны – здесь апелляция и к другой норме: защита советского государства – святое дело для каждого настоящего мужчины.

3. Логическая стратегия получения знания

Общая характеристика. Ранее уже говорилось, что для классического социологического исследования характерна «нисходящая», дедуктивная логика производства знания: из сформулированных исследователем теоретических гипотез логически «выводятся» другие, так называемые гипотезы-следствия, которые и проверяются непосредственно в реальном эмпирическом исследовании. Средством доказательности подтверждения (или неподтверждения) гипотезы-следствия в полном соответствии с методологией классической науки выступает аппарат математической статистики: группировка (простая или перекрестная), корреляционный анализ. Все этапы этой стратегии четко отделены друг от друга не только логически, но и организационно во времени: сначала выдвижение гипотез (и теоретических, и «выводных»), конструирование инструмента с учетом этих гипотез, затем сбор первичной социологической информации, и наконец, её обработка, анализ и интерпретация, позволяющие исследователю сделать вывод о том, подтвердилась или не подтвердилась выдвинутая в самом начале исследовательского поиска гипотеза.

Для качественного социологического исследования характерна *принципиально другая логическая стратегия*. Она предполагает:

- *индуктивное «восхождение»* от эмпирических данных «наверх» к теории (или эмпирическим обобщениям), и потому называется «восходящей»;
- *взаимное переплетение, одновременность процессов сбора информации и её анализа*, выдвижения гипотез и их проверки. Индуктивное «восхождение» от эмпирических данных к обобщениям означает прежде всего *отсутствие уже готовых, apriory*, гипотез, которые надо только подтвердить эмпирическими данными. Это означает *открытый* характер качественного исследования, его принципиальную *ориентированность на новое знание*, которое «рождается» «здесь и сейчас» в анализе эмпирических данных¹.

Вместе с тем, в этой установке *на новое* существует, как я полагаю, одна проблема. Среди некоторых социологов-качественников (особенно это характерно для тех из них, кто работает в этнографической традиции) бытует убеждение, что для того, чтобы эффективно работать в качественной парадигме, социолог должен выходить «в поле», не отягощенный знанием «всех тех богатств», которые до него выработала социология или смежные области знания. «Незашоренность» сознания исследователя старыми теоретическими конструкциями выступает с этой позиции важнейшим условием обнаружения нового [13].

Однако *понять* в изучаемом явлении можно лишь то, что так или иначе *уже* понято, что *уже* содержится в опыте исследователя. Такова неизбежная плодотворная тавтология процессов понимания. Понимание, как писал М. Мамардашвили, напоминает процесс амплификации, увеличения, как бы фотопроявку того, что *уже* лежит на дне «упечатлившейся души» [14, с.226]. Это означает, что социолог, взявшийся за исследование, должен иметь некоторое *пред-*

¹ В классическом эмпирическом исследовании нельзя открыть новое, здесь лишь проверяется теоретическая гипотеза.

знание или предпонимание о предмете и объекте своего анализа. Откуда берется это предзнание, если само явление, как правило, мало изучено? Очевидно, что пальма первенства принадлежит здесь *самоу исследователю*, его социальному опыту, его способности к осмыслению собственных практик и практик других людей для того, чтобы поставить исследовательские вопросы, определить хотя и смутные, но все же очертания будущей концепции;

Весомый вклад в формирование такого предзнания может внести и классическое социологическое исследование, проведенное «до того»: оно, хотя и грубо, в самом общем виде (на уровне средних тенденций), но все же «схватывает» изучаемое явление или процесс. Практически это предзнание или предпонимание должно быть артикулировано *в программе исследования*. Конечно, программа качественного исследования не *столь жестко структурирована и подробна* как программа классического социологического исследования. Вместе с тем, качественное исследование, как и классическое, – это *познавательный прежде всего процесс*, имеющий свои цели и задачи, а также объект изучения. Поэтому в программе качественного исследования должны быть обязательно поставлены *задачи или исследовательские вопросы*, направляющие весь процесс поиска, определен *объект изучения*, «прописаны» те или иные (если это возможно) первоначальные *базовые гипотезы*.

Логика на практике. В целом логическая структура получения знания в качественной методологии названа Л. Ньюманом «*логикой на практике*» в отличие от «*реконструированной логики*» классического социологического исследования [15, с.110], где реальная логика «живых» классических исследований обобщена и представлена в виде идеальной схемы, «учебника», в терминах Куна. Реконструированная логика, как уже говорилось, – это «вычищенная» модель того, как должно происходить «хорошее» (классическое) исследование с точки зрения эпистемологи-

ческих стандартов классической методологии, и потому она представляет собой норму, образец.

Использование термина «логика на практике» для описания процедуры производства знаний в качественном исследовании подчеркивает с одной стороны, ее *непредставленность пока в виде единой нормы, ее становящийся характер*. С другой стороны, это характеристика *принципиального отсутствия единого стандарта, указание на «сбивчивость», гибкость, большую долю неопределенности, привязанности этой процедуры к конкретному специфическому случаю*. Методология качественной социологии предполагает, что на процесс исследования могут влиять самые разнообразные неожиданности, случайности, непредвиденные обстоятельства, предусмотреть которые заранее невозможно. Именно поэтому у каждого исследования есть *своя, во многих отношениях уникальная логика*. Исследователь должен быть готов к этим случайностям, потому что он приходит в поле для того, чтобы *узнать новое, неожиданное*, наравне с ожидаемым. Случайности в этой методологии не носят деструктивного для исследования характера. Напротив, они направляют его в новое русло, способствуют развитию, обогащению исследования.

Здесь гораздо меньшее число правил, да и сами правила – разнообразны, так как основаны на суждениях и нормах, разделяемых группой исследователей. Как пишет Ньюман, «здесь многое зависит от их неформальной мудрости, когда они собираются вместе на ланч, чашку кофе или пиво и обсуждают этот процесс» [15, с.114].

Вместе с тем, несмотря на гибкий, всегда уникальный характер производства знаний из эмпирических данных, на разнообразие способов и техник перехода к обобщениям, все же можно выделить ряд *складывающихся правил, характерных для этой логики получения знания*.

Основные правила «логики на практике»:

1. Конкретные способы получения знания всегда строятся так, чтобы обобщения или мини-теории *не теряли связь с первичным текстом*, с конкретным изучаемым

мым эмпирическим опытом. По-английски эта потерянная связь обозначается как «ideas off the ground». «Приземление» обобщений, их «укоренение» в первичных данных и отсюда – *бережное отношение к полевым заметкам, текстам, внимание к эмпирическому опыту*, в них представленному, – важнейшее правило производства знания в качественном исследовании.

2. В качественном исследовании анализ данных с целью их концептуализации начинается с *самых ранних фаз* сбора информации. Он здесь не является отчетливой заключительной частью исследования, а «покрывает» весь его процесс. Наиболее ярко эта связь между концептуализацией и сбором данных проявляется в некоторых качественных исследовательских практиках, и прежде всего, в «grounded theory» («обоснованной теории») [16]. Здесь сбор данных не только «позволяет» выдвигать или отвергать гипотезы, но и сам «отталкивается» от выдвинутой гипотезы, *ею направляется*.

3. Производство теоретических обобщений – всегда *циклический процесс*, это перепрыгивание через ступени, иногда путь назад и в сторону, нечто напоминающее спираль, медленное продвижение вперед: гипотеза, которая выдвигается уже в процессе анализа самих первичных данных, то есть в начале исследовательского пути, может быть отброшена после получения других данных; в то же время могут возникнуть другие побочные гипотезы, которые, подтверждаясь новыми данными, могут лечь в основание мини-теории или также быть отброшены в случае не подтверждения.

С точки зрения прямолинейного движения (как в классической социологии) циклический путь кажется неэффективным и сбивчивым. Однако неправомерно считать его хаотическим. Циклический путь весьма эффективен для «схватывания» *целого*, а также оттенков значения, для объединения разношерстной информации в единую непротиворечивую картину. Здесь есть своя дисциплина и строгость.

4. Анализ качественных данных с целью создания *теории* предполагает *кодирование* как первый шаг, первую ступень индуктивного восхождения к обобщениям. В количественном исследовании кодировка – чисто рутинная техническая процедура. В качественном исследовании кодирование имеет принципиально другой смысл: *это способ организации «сырых» данных, их уплотнение, «укрупнение», категоризации.* Как замечают американские исследователи М. Майлс и А. Хьюберман, «код – представляет собой аббревиатуру или символ, прилагаемый к сегменту слов, чтобы классифицировать эти слова... Коды происходят из исследовательских вопросов, ключевых концепций или важных тем. Они являются организующими способами, позволяющими аналитику быстро замечать, выхватывать и размещать в кластеры все сегменты, относящиеся к определенным вопросам, гипотезам, концепциям или темам» [17, с.220].

4. Проблема истины в качественном исследовании

Объективная истина и истина опыта. Классическая методология с ее нацеленностью на *познание законов объективной*, противостоящей человеку социальной реальности, ориентирована на производство *истинного* знания, т.н. *объективной истины*. Не случайно потому и качество классического социологического исследования, его «хорошесть» измеряется *достоверностью* его выводов, т.е. мерой их соответствия истинному положению дел тому, что «есть на самом деле».

В *качественной* методологии – совсем другая картина. Вот как говорит об этом К. Риссман: «Когда люди рассказывают о своих жизнях, они иногда лгут, многое забывают, преувеличивают, путаются и неправильно понимают вещи. Тем не менее, они открывают истины. Данные истины не отражают прошлое таким, каким оно есть на самом деле, стремясь придерживаться стандартов объективности. Вме-

сто этого они открывают нам *истины нашего опыта*. В отличие от истины в идеале научности истины личных нарративов и других документов, которые изучает социолог, не только закрыты для доказательства, но и не являются самоочевидными. Мы приходим к их пониманию только через интерпретацию, обращая пристальное внимание на контексты, которые люди придают своему творению, и на мировоззрения, которые питают их» [8, с.21].

Истина опыта – это прежде всего *темпоральный конструкт*, а не раз и навсегда данное знание, которое должно соответствовать действительности. Именно поэтому она не нуждается в математической доказательности, а значит, и в измерении. Качественная социология – *принципиально не измеряющее знание*. Методологи качественного исследования полагают, что измерение вообще, а числовые операции в частности, чужды социальному миру: «обыденные значения повседневной жизни, по существу, не обладают свойством измеримости. Их основное свойство – осмысленность» [18, с.176]. Отвергая измерение, а вместе с ним и весь математический аппарат доказательства истин «на все времена», качественное исследование производит исследовательские версии.

Они всегда частичные, всегда альтернативные истины. Они не претендуют на «истину в последней инстанции, на единственно верное знание, выступающее нормой: норма производится в тот момент, когда исследователь выступает от лица «всеобщего», в том числе «рациональности вообще»¹. Здесь же, в качественном исследовании, знание производится конкретным исследователем со всеми его предпочтениями, пристрастиями, прошлым опытом, способностью к рефлексии и эмпатии одновременно. П. Бурдье, думаю, совершенно прав, когда говорит, что «абсолютной точки зрения некоего ученого «*atopos*», как говорил Платон

¹ Я уже говорила ранее, что такое нормативное знание, получающее свое «подтверждение» с помощью Разума вообще, всеобщих универсальных законов рационального мышления, производит классическая социология.

о Сократе, не имеющего места в социальном мире, *атопического социолога* (курсив мой – А.Г.) не существует, мы всегда можем определить для определенного социологического высказывания место, *где и когда* автор впервые произнес его» [19]. Более того, выработка множества интерпретаций и даже конфликт между ними «являются не недостатком или пороком, а достоинством понимания, образующего суть интерпретации» [20, с.22].

Как же соотносятся между собой возможные интерпретации одного и того же изучаемого явления? Следует ли искать «сухой остаток» в разнообразных исследовательских версиях в надежде найти объективное в изучаемом явлении, или описание каждой из версий имеет самостоятельное значение, и потребитель исследовательской продукции (читатель, заказчик, специалист) волен выбирать любую, ему понравившуюся? Должен ли быть исследователь озабочен доказательностью своих выводов или вполне приемлем свободный полет фантазии, воображения, не отягощенный бременем доказательств? Сегодня на все эти вопросы однозначного ответа нет.

Качество качественного исследования. Сегодня наиболее распространенной является позиция, согласно которой «хорошее» качественное исследование должно *адекватно воспроизводить смыслы изучаемых людей, их жизненные миры*. Практически об этом же говорит и Юрген Хабермас, рассуждая об объективности понимания, которое он рассматривает в *контексте коммуникативного взаимодействия*: «корректная интерпретация не просто истинна, подобно пропозиции, передающей существующее положение дел; скорее, следовало бы сказать, что корректное толкование совпадает со значением *интерпретируемого*, которым заняты интерпретаторы, соответствует ему, эксплицирует его» [7, с.44]. Американский социолог Л. Ньюман вторит Хабермасу и даже предлагает использовать для оценки качества качественного исследования соответствующий критерий – «*глубина понимания*» [15]. Здесь глубина понимается как *мера приближения ре-*

зультата исследования к тем смыслам, которые присутствуют в анализируемых документах, *то есть к первичным интерпретациям* изучаемых людей, к *их определениям ситуации*. Если исследовательскую версию представить как перевод текста первичного документа (дневника, транскрипта интервью и т.д.) на другой язык – теории или исследовательского комментария, то здесь речь идет о *верности перевода*, о его соответствии оригиналу.

Фактически речь идет не только о соответствии *слов и исследовательской версии*, но и о соответствии *самой реальности и ее исследовательской версии*: в качественном социологическом исследовании *значение события и само это событие* слиты воедино. По сути это означает, что качественное исследование в рамках такой позиции практически *так же ориентировано на достоверное «схватывание» реальности, как и классическое¹*.

Эмпирически оценить *глубину понимания* в конкретном исследовании практически невозможно. В то же время сегодня уже есть ряд «рецептов», предлагаемых социологами-качественниками для повышения «хорошести» качественного исследования. Следует заметить, что сегодня эти способы представлены в литературе в *самом общем виде* без учета *разнообразия направлений* внутри качественной социологии и соответственно *без анализа или хотя бы постановки тех проблем*, которые возникают при оценке качества исследований в их рамках.

Сегодня общепризнанным способом оценки «глубины понимания» выступает *восприятие результатов исследования самими информантами*: если исследовательская версия *понятна им, принципиально ими «схватываема»*, переводима ими в действие, тогда определенное понимание достигнуто, а выводы исследования обоснованы. Такой способ оценки основывается на *постулате адекватности*, введенном А. Шюцем в качестве *методологического принципа* анализа социальных явлений. Согласно ему, «каждый

¹ Эта «тоска по объективности» свойственна не всем направлениям внутри качественной социологии.

термин, используемый в *научной системе*, относящейся к человеческому действию, должен быть сконструирован таким образом, чтобы человеческое действие, выполняемое индивидуальным актором внутри жизненного мира способом, указываемым типической конструкцией, было бы *обоснованным и понятным* как для самого актора, так и для его спутников» [21, с.186]. Это принципиально возможно, потому, что, по мнению А. Шюца, интерпретация любого человеческого действия социальным ученым может быть *такой же* (курсив мой – А.Г.), как и интерпретация самого актора. В сущности, при таком обращении к информантам как к главным экспертам речь идет о *правдоподобии* результатов исследования. «Правдоподобное может не соответствовать действительности, но оно всегда отвечает *обыденным представлениям* о социально возможном»¹ [22, с.136].

Вместе с тем, использование этого способа оценки качества исследования в рамках *научного (или тяготеющего к научности) направления* наталкивается, на мой взгляд, на *серьезную проблему*. Сегодня, после А. Шюца с его конструктом, «уровень релевантности» уже невозможно не понимать, что даже использование *одних и тех же слов* «человеком с улицы» (в терминологии А. Шюца) и социальным ученым принципиально не уберегает от *различия в уровнях релевантности, в смыслах*, которыми эти типы социальных субъектов (речь идет не о конкретных людях, а о типических позициях *непосредственного участия* в социальной игре и *стороннего наблюдателя* за этой игрой) наделяют тот или иной социальный феномен. Язык, на котором говорит социальный ученый, испытывающий в этой роли *когнитивный* интерес к миру, язык теоретического наблюдения принципиально отличается от языка «простого» человека, живущего естественной установкой и потому

¹ Ориентация на правдоподобие в некоторых направлениях качественной социологии дала основание Ю. Качанову назвать ее «массовой социологией», нацеленной на «массовую аудиторию» вслед за журналистикой или астрологией.

испытывающего к миру только *практический* интерес. Американские социологи А. Страусс и Д. Корбин даже предлагают оценивать обоснованность производимой в рамках «grounded theory» теории с позиции того, *отличаются ли понятия созданной теории от тех, которые используются в повседневной практике*. По их мнению, если «понятия извлечены из *обычного употребления*, но не применяются в специальной (научной – А.Г.) практике, то они *не являются понятиями*, то есть частью обоснованной теории, так как фактически не обоснованы в рамках данных» [23, с.211].

Все это означает *реальные трудности*, которые возникают, если использовать критерий *понятности* для оценки обоснованности теории как результата качественного исследования: изучаемые люди (информанты), выступающие здесь как эксперты по «правильности» теории, в большинстве своем *не в состоянии понять язык терминов*, на котором «говорит» теория. Видимо, этот критерий имеет ограниченное применение и может использоваться лишь в тех направлениях качественной социологии, где результат видится как *простое или насыщенное описание*, или как комментарий к «сырым» данным.

Вместе с тем, это не означает, что качественное исследование, проводящееся в методологических рамках *научного (или тяготеющего к научности)* направления, вообще лишено каких бы то ни было условий его обоснованности. Важнейшее из них – *соблюдение стандартов и норм*, характерных для *научного исследования вообще*. Это требование предполагает, что полученное знание *должно соответствовать законам формальной логики* – А. Шюц называл это требование *постулатом рациональности*. [21, с.188]. Хотя обыденное мышление, из которого берут свое начало теоретические конструкции качественной социологии, далеко не всегда отвечает этому условию, *логическая непротиворечивость знания* является здесь обязательным требованием. По Шюцу, теоретическое знание должно быть сконструировано таким образом, чтобы оно «было

полностью совместимо с принципами формальной логики», а «все его элементы воспринимались ясно и различимо» [21, с.187].

Еще одно важнейшее условие хорошего качественного исследования, осуществляемого как научное, – это *соблюдение тех правил*, которые З. Бауман назвал «*правилами ответственных высказываний*» [24]. Эти правила требуют, чтобы «кухня» исследователя, то есть вся совокупность процедур, приведших к завершающим выводам и выступающих гарантом их обоснованности, была широко открыта для неограниченного общественного обозрения. При этом приглашение повторить испытание, может быть, опровергнуть выводы, должно быть обращено к каждому желающему. Ответственные высказывания должны соотноситься с другими суждениями по данной теме: они не могут просто отвергнуть другие, уже высказанные точки зрения, или умолчать о них, как бы эти точки зрения ни противоречили им, сколь бы неудобными они ни были.

Мне кажется, что такое приглашение в исследовательскую «кухню», о котором говорит З. Бауман, предполагает введение и иных, по сравнению с принятыми сегодня, *стандартов публикации* социологических материалов в научных журналах. Известно, что в социологических статьях, если только они не методического характера, как правило, уделяется очень мало внимания *процессу получения выводов исследования*. Этому есть объяснение: традиция классического исследования, использующая средства математики для доказательности своих выводов, не нуждается ни в каких дополнительных средствах, убеждающих читателей, что все сделано правильно. Фактически вся классическая методология, начиная с Декарта, основывается на *доверии к процедурной рациональности*, благодаря которой выводы классических исследований могут притязать на значимость. В то же время в качественном исследовании, где нет таких универсальных средств, *потребность в убедительности* существует. И поэтому, в публикациях результатов качественных исследований, на мой взгляд, осо-

бый акцент должен быть сделан на *подробном и скрупулезном описании тех аналитических процедур*, которые позволили исследователю сделать те или иные выводы. Это означает также и *смену стереотипов* редакторов социологических изданий, понимание ими специфики качественного исследования, характерных способов повышения обоснованности.

Постулат адекватности, как я уже говорила, введенный А. Шюцем для описания требований к «хорошему» исследованию социального феномена, предполагает совместимость результата такого исследования не только с «целостностью нашей повседневной жизни», но и с *научным опытом*. Это требование *совместимости* результатов исследования с *чужим (другим)* исследовательским опытом, выступающее для австрийского социолога обязательным признаком обоснованного исследования, позже будет подхвачено социологами-эмпириками и названо красивым словом «*триангуляция*».

В самом этом термине, введенном в 1970 году в научный оборот английским социологом Н.Дензиным [25, с.39], на мой взгляд, «умерла» (воплотилась) метафора треугольника как геометрической фигуры, в которой все углы и стороны *всегда соотносятся друг с другом*: буквально triangle (англ.) – треугольник. В самом общем виде – триангуляция означает *исследовательскую процедуру соотнесения* данных исследования с результатами других исследований. В сущности, триангуляция является примером *перепределения, приспособления* известного в науке критерия «*воспроизводимость данных*» к реальности качественного исследования. Н. Дензин выделяет следующие ее виды:

1. *Триангуляция данных*. Этот вид подразделяется на:

- временную триангуляцию, связанную с повторным исследовательским проектом;
- пространственную триангуляцию, реализующуюся в сравнительных исследованиях.

2. *Исследовательская триангуляция*, при которой сходные ситуации или одна и та же ситуация рассматриваются несколькими специалистами.

3. *Методологическая триангуляция*, в которой выделяются две составляющие:

- триангуляция теорий, т.е. использование данных, полученных в *различных теоретических перспективах* в изучении одного и того же комплекса объектов;
- триангуляция методов: использование различных методов или различных техник внутри одного метода для изучения одного и того же объекта.

Использование триангуляции, особенно в той ее разновидности, когда согласовываются данные, полученные разными участниками исследования, например, понятые ими смыслы одного и того же действия, – неизбежно придает полученному знанию *конвенциональный* (согласительный) характер: «побеждает» та исследовательская версия, которая имеет большее количество сторонников, убедительна для большинства исследователей.

В целом, Д. Силвермен [9, с.177] полагает, что для того, чтобы оценить, хорошо ли сделано качественное исследование или нет, надо поставить ряд вопросов:

- Являются ли методы исследования соответствующими природе исследовательских задач?
- Понятна ли связь между понятиями внутри полученного знания (теории)?
- Ясны ли критерии, используемые для отбора случаев, для сбора данных и их анализа?
- Осуществлялся ли сбор данных систематически?
- Существует ли соответствие между характером данных и процедурами их анализа?
- Насколько систематическим был этот анализ?
- Было ли соответствующее обсуждение того, как темы, категории были извлечены из первичных данных?

- Было ли соответствующее обсуждение «за» или «против» аргументов исследования?

- Существует ли ясное различие между первичными данными и их интерпретацией?

Утвердительные ответы на эти вопросы, по мнению английского социолога, являются гарантом обоснованности результатов исследования.

Позиция исследователя в исследовательском процессе. Ранее уже говорилось, что в *классическом социологическом исследовании* исследователь-наблюдатель находится *только вне изучаемого процесса*, производя знание, максимально очищенное от его субъективности, так называемое *объективное знание*. Мир, который изучает ученый-наблюдатель – «не сцена его деятельности, а объект его созерцания, на который он смотрит с отстраненным спокойствием» [21, с.181]. Такой исследователь как ученый «принципиально одинок». Фактически он поставил себя вне социального мира с его многообразными отношениями и системой интересов. В этой методологии, выступая от лица *Разума вообще*, он производит знание-норму, знание-истину, непреложную для всех. В этом смысле позиция исследователя здесь – всегда *над массовым сознанием*. Это позиция вещателя единственно верной истины, которая производится для непросвещенных масс и, естественно, без них. Именно поэтому М.М. Бахтин называл такое знание монологичным [26, с.86], а М. Фуко – знанием - властью (нормализующим суждением) [27, с.41]: социолог здесь теоретически *определяет социальную реальность*, скрытно участвуя тем самым в производстве власти.

В *методологии качественного исследования* – принципиально другая ситуация. Занимая позицию *вне эмпирического опыта* (а это обязательная позиция исследователя в любой парадигме), качественный исследователь *одновременно и погружается в этот опыт, находится внутри него*, будь то наблюдение ситуации изнутри (включенное наблюдение) или чтение «документов жизни»: личных дневников, мемуаров. Более того, ориентация на понимание

Другого предполагает участие в коммуникации с изучаемыми людьми (виртуальное или актуальное – «лицом к лицу»), а значит, и появление у исследователя так называемой *перформативной* установки [7, с.42] в отличие от «объективирующей», «как обстоят вещи» установки в классической методологии. Такая установка предполагает и *взаимную ориентацию* участников коммуникации на претензии друг к другу по поводу правдивости высказывания, его истинности, приятия или неприятия суждений в целом. Общаясь друг с другом в перформативной установке, участники коммуникации одновременно, благодаря коммуникативным действиям, воспроизводят и общий для них жизненный мир [7, с.43].

Такое погружение в жизненные миры изучаемых людей, производство знания как исследовательской интерпретации их повседневных интерпретаций, достигаемое лишь в коммуникации, принципиально меняет облик этого знания: оно становится *диалогичным*. Принимая участие в коммуникативных действиях, исследователь оказывается вовлеченным в обсуждение смысла и значимости высказываний. Но и «простой» человек, или «человек с улицы», в чей опыт переживания, проживания жизни погружается исследователь, становится *вровень с ним, на равных* участвуя в исследовании. В этой ситуации взаимного общения невозможно аргументу решить, как остроумно замечает Юрген Хабермас, «кому у кого следует поучиться» [7, с.43]. Голос социолога оказывается *не единственным и не главным*. «Открывая двери» здравому смыслу, *повседневному донучному практическому знанию*, этому голосу масс, ориентируясь на него, качественный исследователь «сходит с пьедестала», теряет свою позицию «всезнающего рассказчика», говорящего от имени Разума. *Он один из масс*, такой же, как те, кого он изучает. «Мы не говорим за других, или от их имени. Мы – это они», – очень точно выразила эту позицию Н. Козлова [28, с.91].

Литература

1. Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о качественной социологии // Социологический журнал. 1994. №2.
2. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. М.: Весь Мир, 1995.
3. Бергер П.Л., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
4. Гиртц К. С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // Девятко И. Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: ИСАН, 1996.
5. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
6. Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999.
7. Хабермас Юрген. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000.
8. Riessman C. K. Narrative Analysis. London, New Delfi: Sage Publications, 1993.
9. Silverman D. Doing Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 2000.
10. Yan Hutchly and Robin Wooffit. Conversation Analysis: principles, practice and applications. Polity Press, 1998.
11. Garfincel H. Studies in Ethnometodology. Cambridge, England: Polity Press, 1992.
12. Козлова Н., Сандомирская И. Я так хочу назвать кино. «Наивное письмо»: опыт лингво-социологического чтения. М.: Гнозис, 1996.
13. Романов П.В. Процедуры, стратегии, подходы «социальной этнографии» // Социологический журнал. 1996. №3–4.
14. Мамардашвили М.К. Картезианское рассуждение. М., 1993.
15. Neuman L.W. Social Research Methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Allen and Bacon, 1991.

16. Strauss A. Qualitative Analysis for social scientists. Cambridge University Press, 1989.
17. Miles M.B., Huberman A.M. Qualitative data analysis. Beverly Hills: Sage, 1984.
18. Новые направления в социологической теории. М.: Прогресс, 1978.
19. Бурдые П. За рационалистический историзм // М.: Sociologos, 1997.
20. Рикер П. Конфликт интерпретаций. М.: Медиум, 1995.
21. Шюц А. Проблема рациональности в современном мире // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.
22. Качанов Ю. Начало социологии. СПб.: Алетейя, 2000.
23. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001.
24. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.
25. Denzin N. The Research act: A theoretical Introduction to Sociological methods. Chicago: Adline, 1970.
26. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., 1986.
27. Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999.
28. Козлова Н. Как работать с «советским» архивом // Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Самара, 2000.

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Наилучшая служба, которую социология может сослужить людям в их повседневной жизни и существовании, это стимулирование взаимного понимания и терпимости как постоянных условий общей свободы.

Зигмунт Бауман
Мыслить социологически

1. Направления качественного социологического исследования

Многообразие качественных исследований. Качественное социологическое исследование как тип, в отличие от монолита классического исследования, представлено в реальной практике значительным *многообразием*, по мнению некоторых исследователей – *даже «мешаниной»* [1, с.3], зачастую затрудняющей профессиональное общение социологов - качественников. *Вместе с тем эта реальная пестрота исследований*, позволившая английской исследовательнице К. Панч назвать сам термин «качественное исследование» *зонтичным*, «покрывающим» достаточно разнообразную область исследовательских практик [2], практически очень мало осмысливается в современной социологии. Следует сказать, что для *большинства социологов*, так или иначе рефлектирующих по поводу качественного социологического исследования, проблема поиска *различий исследований внутри этого типа* вообще не стоит. С одной стороны, рефлексии подвергаются *общие черты* качественного исследования, что понятно: качествен-

ная социология еще отвоевывает свое «место под солнцем», пытаясь осмыслить свои познавательные возможности. С другой стороны, акцент делается на *уникальности каждого конкретного* качественного исследования, невозможности выделить общие логические элементы, характерные для совокупности исследований, позволяющие объединить их в одну группу и одновременно противопоставить другой, объединенной по этому же принципу. Лозунг такого «*уникалистского*» подхода – столько качественных социологий, сколько исследований.

Справедливости ради надо сказать, что некоторые попытки теоретического осмысления реального многообразия качественных исследований и создания на этой основе их типологий все же представлены в литературе. Так, одна из распространенных и наиболее признаваемых социологическим сообществом – это типология, предложенная Дж. Крессуэлом [3, с.96] и вслед за ним В. Семеновой [4, с.80–101]. Говоря явком типологического анализа [5], в качестве *типобразующего признака* здесь выступает *тактика* социологического исследования с ее акцентом на определенных методах сбора социологической информации, характерных для той или иной тактики¹.

Еще одна типология предложена английскими исследователями Дж. Габриумом и Дж. Холстейном в их книге «Новый язык качественного метода» (The New Language of Qualitative Method) [1, с.5–14]. Критерием для выделения типов здесь выступает «*разговор*» *качественного метода* (*method talk*), где в терминологии авторов метод – это «особый способ ориентировки по отношению к миру ..., нечто близкое к парадигме Томаса Куна» [1, с.IX] (этот термин тождественен понятию *методологии* социологического исследования в нашей формулировке – А.Г.). Английские социологи выделяют *разные познавательные языки* качественного социологического исследования, понимая термин «язык» в его Витгенштейновском смысле как «языковую

¹ Подробное описание такого подхода к многообразию качественных исследований представлено в гл.5.

игру». Применительно к эмпирической социологии это означает, что *«то, как проводится социальное исследование, организует эмпирические контуры того, что исследуется»* (курсив мой – А.Г.) [1, с.Х]. Познавательный язык здесь, таким образом, понимается как некая *целостность* процедуры и определенного фрагмента социальной реальности, задаваемого этой процедурой: «Наша стратегия понимания многоплановости качественного исследования состоит в рассмотрении каждого его варианта как предприятия, которое разрабатывает свой собственный язык, и в то же время проводится в его (качественного исследования – А.Г.) рамках» [1, с.5]. Габриум и Холстейн выделяют следующие познавательные языки качественного исследования (авторы называют их и исследовательскими подходами): *натурализм; этнометодология; эмоционализм; постмодернизм.*

Основная идея *натурализма*, по мнению авторов, состоит в понимании социальной действительности так, как она есть на самом деле, в описании *«того, что происходит само собой, естественным образом»*. Натурализм, таким образом, стремится к *насыщенному описанию* людей и их взаимодействия так, как они существуют и раскрываются, развертываются в своей естественной среде. Это существование и развертывание здесь понимается как непосредственная данность жизненного мира людей, который ими субъективно переживается. Рабочая эпистемология такого способа познания заключается в том, что здесь изучается *полная собственных смыслов действительность в непосредственной обстановке повседневной рутины.* Социолог здесь должен приблизиться к источникам информации, «схватить» социальную действительность на «ее собственной территории».

Этнометодология, по мнению английских исследователей, делает акцент на тех формах социальной деятельности, посредством которых «повседневные акторы производят узнаваемые черты своих социальных миров». Там, где последователи натурализма уделяют внимание тому, *что говорят* его информанты, стремясь понять, *что для них*

значат те или иные вещи, этнометодологи *слушают* происходящий естественным образом разговор, для того, чтобы обнаружить, *каким образом* через разговор и взаимодействие создается значение социального порядка¹. Обыденные явления, интересующие приверженца натурализма, отставлены здесь в сторону, для того, чтобы изучить процессы взаимодействия, посредством которых эти явления конструируются. Этнометодология специально настроена на коммуникативную деятельность, для нее *«разговор есть машина по конструированию действительности»* [1, с.42]. В этом смысле этнометодология – это *«разговор о разговоре»*, который производится для того, чтобы понять, *как, какими способами* в коммуникации создается социальная действительность, которая здесь проблематизируется, «вырывается» из самоочевидности.

Познавательный язык *эмоционализма* ориентирован не только на изучение субъективности, что характерно для качественного исследования вообще, но на «глубокое-глубокое проникновение в человеческую душу». Здесь полагается, что доступ к истинам человеческого опыта нельзя получить лишь простым приближением к информантам: необходимы открытый диалог, интимность, эмоциональная чувствительность и даже «капитуляция души» исследователя, которые только и делают возможным эмпатию, а значит, с этой точки зрения, и понимание. Цель такого исследовательского подхода – «ухватить, даже восстановить переживания, опыт субъекта и описать его в полном эмоциональном цвете» [1, с.57]. Приверженцы эмоционализма считают, что все другие разновидности качественной социологии дают *чрезмерно рационализированные объяснения* жизненному опыту, не схватывая *сердцевину чувств*, которая и составляет нашу самость. Чтобы добраться до глубин социальной жизни и жизненного опыта, необходимо, по мнению эмоционалистов, сконцентрироваться на *человеческой эмоциональности* и описывать ее *не в наукооб-*

¹ Английские исследователи под этнометодологией понимают прежде всего разговорный анализ.

разных терминах, то есть в признанных наукой стратегиях репрезентации, а использовать нетрадиционные репрезентационные стратегии: поэзию, драматургические приемы, интроспективные полевые записи.

Разговор *постмодернистского* исследовательского подхода, по мнению Дж. Габриума и Дж. Холстейна, заключается в попытке «деконструировать» исследование с тем, чтобы раскрыть содержащиеся в нем практики по конструированию действительности» [1, с.10]. Представители этого подхода делают акцент на том, что социологические тексты являются не только репрезентациями изучаемого социального явления, но прежде всего – результатами деятельности по конструированию самих исследователей: «социологические тексты и те практики и обстоятельства, которые производят их, становятся объектом для анализа», «здесь *текстуальная экспликация становится методом исследования*» [1, с.75].

В целом, концепция типов качественного исследования (познавательных языков качественного исследования – в терминологии авторов), предложенная английскими социологами, достаточно интересна. Вместе с тем, к ней можно, на мой взгляд, предъявить целый ряд претензий. *Во-первых*, выделение натурализма в качестве *самостоятельного* исследовательского подхода, на мой взгляд, достаточно сомнительно: изучение людей в естественной обстановке, *натуралистичность – важнейшая черта качественного социологического исследования вообще*. Это, в частности, означает и *стремление к естественности исследовательских процедур*, не нарушающих в идеале привычного для акторов уклада жизнедеятельности: качественное исследование принципиально отвергает исследовательские процедуры, использующие респондентов в качестве подопытных кроликов. Даже метод опроса, который, конечно, как любой исследовательский инструмент, всегда искусственен, тем не менее здесь трансформируется, стремясь к *наибольшей естественности*. Конечно, английские социологи сами осознают это, утверждая, что «отголоски натура-

лизма в той или иной степени присутствуют во всех других языках качественного метода» [1, с.15]. Тем не менее, в определенной степени противореча себе, они все-таки придают натурализму самостоятельный статус.

Во-вторых, вызывает сомнение рассмотрение в одном ряду познавательных языков, ориентированных на *описание социальной реальности, типических смыслов социальных действий* (натурализм и эмоционализм), и таких, основные цели которых *совершенно другие: описание приемов, способов*, с помощью которых эти смыслы, социальная действительность в целом конструируется (традиционная этно-методология или разговорный анализ), и *деконструкция социологических текстов* с целью анализа практик репрезентации исследователя (постмодернистский подход, в терминологии авторов). В целом, на мой взгляд, такое структурирование качественных социологических исследований, представляя несомненный *теоретический* интерес, все же *не соответствует* практическим нуждам тех социологов-эмпириков, которые осуществляют качественные исследования в *целях познания социальной реальности* (а это преобладающая часть социологов-качественников). Эта типология не отвечает, может быть, на главные вопросы, встающие перед исследователем: необходима ли исследовательская рефлексия, или достаточно дать высказаться изучаемым людям? Каков должен быть язык результата качественного исследования?

Типология направлений качественного исследования. Более адекватной этим задачам, как мне кажется, является предлагаемая мной классификация *направлений* качественной социологии, где в качестве оснований взяты следующие параметры: *методологическая установка исследователя* относительно *должного* способа изучения социального явления или процесса, его *гражданская позиция* как ученого, а также представление об *образе результата* исследования, вытекающее из его методологической и социальной ориентаций и детерминирующее язык итогового

документа. Исходя из этого можно выделить, на мой взгляд, следующие направления:

- *научное (или тяготеющее к научности), хотя речь идет не о нововременной форме научности;*
- *собственно гуманистическое;*
- *ситуационное;*
- *собственно постмодернистское, или арт-направление.*

Остановимся на специфике выделенных направлений подробнее. Ранее уже говорилось, что знание, производимое в качественном социологическом исследовании, всегда носит *интерпретативный характер*, всегда – исследовательская интерпретация повседневных интерпретаций изучаемых людей. Вместе с тем само *сочетание интерпретаций* в готовом продукте исследования, так сказать, мера их вклада, *могут быть принципиально различными*, определяя облик конкретного направления качественного исследования. При этом *выбор меры, степени сочетания этих интерпретаций* определяется прежде всего, как я уже говорила, методологическими установками исследователя, в первую очередь пониманием специфики качественного исследования, его функций и стандартов, а также гражданской позицией социолога в обществе.

В качественных исследованиях того направления, которое я называю *научным (или тяготеющим к научности)*, интерпретации изучаемых людей (конструкты первого порядка, по Шюцу) и исследовательская версия, исследовательская рефлексия (конструкты второго порядка) *принципиально сочетаются на равных*. При этом *обязательное включение конструктов первого порядка в производство готового продукта исследования является принципиальным для качественной социологии*. В рамках так называемого *собственно гуманистического направления*¹, где реализу-

¹Термин «*собственно гуманистический*», использованный мной для обозначения отдельного направления качественных исследований, следует отличать от термина «*гуманистический*», который используется применительно к качественной социологии

ется *гражданская позиция социолога* – дать слово тем «голосам» изучаемых людей, которые ранее никогда не были слышны, забивались «большими нарративами» интеллектуалов, приоритет отдается *интерпретациям «людей с улицы»*, иногда практически за счет полного вытеснения голоса исследователя из готового продукта. *Такое же соотношение интерпретаций* характерно и для того направления качественных исследований, которое я назвала *ситуационным*. В рамках такого направления исследовательский интерес сосредоточивается на изучении *новой или малоизученной социальной ситуации*, знание о которой из «первых рук» представляет особую ценность.

И, наконец, в рамках *собственно постмодернистского*¹, или *арт-направления* в готовом продукте исследования властвует *преимущественно исследовательская версия*, фактически оторванная от реального опыта информантов и представляющая прежде всего *самого исследователя*, его видение реальности. Результат такого исследования – не реконструкция изучаемого явления, но всегда *творение новой реальности*. Термин «постмодернизм» здесь употребляется мной в *одном из своих значений*, в котором он используется в современном гуманитарном знании, и связан с именами современных французских философов Р. Бартом, Ж. Дерридой, Ж. Делезом, М. Фуко, Ф. Лиотаром и др. В самом общем виде термин «постмодернизм» понимается как «характеристика ... специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире» [5, с.206]. Одна из граней такого мироощущения – сомнение в возможности рационального по-

вообще для описания ее приоритетной ориентированности на изучение социальных явлений через субъективные смыслы изучаемых людей.

¹ В литературе присутствует определение *качественной социологии* как *постмодернистской*, в отличие от маркирования классической как *модернистской*. Поэтому для характеристики *одного из направлений* качественной социологии мне пришлось использовать понятие «*собственно постмодернистский*».

стижения мира с помощью *устоявшихся категорий языка – понятий*. Постмодернистская философия говорит о *кризисе «именования»* в XX веке: познающий субъект уже не может пользоваться единой категориальной системой, *доминирующей над мыслью и навязывающей стереотипы понимания*. Для того, чтобы уловить ускользающее бытие, требуется *постоянное пере-именование*, постоянный поиск новых имен и схем. С этой позиции *только художественное, поэтическое мышление* (по ту сторону логического) с его любовью к парадоксу, интуиции, гротеску, ассоциациям представляет собой современный стиль философствования, теоретизирования вообще.

Принципиальная невыразимость реальности («конечного означаемого», на языке философии) с этой позиции побуждает постмодернистское литературоведение, например, не ставить своей целью анализ содержания художественного произведения, то есть овладение им и фактически производство литературной нормы. Литературно-критическая работа здесь сама является художественным произведением, *«не выражением, но творением»* [6, с.14] нового текста, выступающего *продолжением* анализируемого. Такой текст демонстрирует интеллектуальную, эстетическую игру автора-критика, выступает *способом его самовыражения*. Применительно к социологии задача такого исследования – не познание реальности, но *стимулирование опыта других людей – читателей*, побуждение их к какому-то отношению: смеху, получению удовольствия, ощущению прелести процесса означивания.

В целом, в преобладающем большинстве направлений качественной социологии (исключение составляет лишь собственно постмодернистское) присутствует главная идея, отличающая эту методологию от классической: в продукте исследования всегда представлены *голоса изучаемых людей, их «повседневные теории»*. Вместе с тем, на мой взгляд, следует согласиться с Р. Рорти, считающим, что принципиально неверна точка зрения, что *«чей-то собственный словарь»* всегда является *наилучшим* для понимания

того, что этот кто-то делает, что его собственное объяснение происходящего – это именно то, в чем мы нуждаемся» [7, с.168]. Такая позиция, на мой взгляд, справедливо делает акцент на исследовательской рефлексии, отстаивая действительное *эпистемологическое равенство* и тем самым предостерегая нас от другой крайности – *полного вытеснения видения исследователем* той или иной социальной ситуации.

Различия в методологических установках исследователей, лежащие в основании выделенных нами направлений, детерминируют и различие представлений о том, что *считать итогом, результатом исследования*. Сегодня считается, что итогом исследования может быть и теоретическая концепция, и комментарий к «сырым» данным, и плотное, «насыщенное» описание, максимально приближенное к языку информанта, и даже сам текст интервью, дневника, полевых заметок в своем первоизданном виде. Различие в образах результата *достаточно принципиально*, так как определяет существенные моменты любого исследования: способы обработки первичных данных (или решение о том, делать ли вообще обработку); язык и жанр готового продукта и, наконец, подходы к оценке его качества.

Здесь, на мой взгляд, можно выделить 4 позиции.

1. Ориентация на производство *теоретического знания*. Сторонники такого подхода в социологии, ведущей свое начало еще от М. Вебера и А. Шюца, (Д. Силвермен, З. Бауман, А. Страусс, Д. Берто и другие) рассматривают качественную социологию скорее как *определенную (не нововременную) форму научного знания*. Это как раз то научное или стремящееся к научности направление, о котором я говорю ранее. Результатом такого исследования выступает теория, представляющая собой исследовательскую интерпретацию первичных интерпретаций информантов.

2. Ориентация на *исследовательскую рефлексию* «сырых» данных в *форме комментариев*. Итогом здесь является не теория, но «история», по выражению В. Дильтея, т.е. интерпретативная версия исследователя, не «дотягиваю-

щая» до уровня целостной теории. Довольно часто итогом такого исследования выступает текст, сочетающий в себе *многоголосье изучаемых людей* («избранные места» из совокупности их конструктов) и аналитическую исследовательскую интерпретацию.

3. Ориентация на глубокое погружение в естественную сеть событий с целью *«засвидетельствовать»* изучаемые жизненные миры людей и ситуаций, в которые они «погружены». Такая ориентация характерна для *собственно гуманистического и ситуационного направлений*, о которых мы говорили ранее. Главная задача здесь – накапливать «знание из первых рук». Готовым продуктом здесь выступает *простое тонкое (thin) или «плотное», насыщенное (thick) описание*. По мнению Н. Дензина, современного американского социолога, простое «тонкое» описание есть просто перечисление фактов, событий. Насыщенное же, «плотное» описание – это всегда *полное и всестороннее описание изучаемого социального явления* [21, с.711]. Оно включает в себя помимо описания фактов еще и описание ряда других элементов: социального контекста, намерений субъекта, развития явления.

Важно подчеркнуть, что «плотное» описание максимально представляет позицию информанта (интерпретация исследователя здесь присутствует в минимальной степени). Кроме того, часто это – укрупнение простого описания, текста, его «свертывание».

4. Ориентация на представление изучаемого явления *с помощью языка художественного произведения (собственно постмодернистское, или арт-направление)*. Итогом такого типа исследования может быть метафорическое эссе, по языку и стилю приближающееся к жанрам литературного творчества: художественный роман, притча и т.д.

Преобладающее большинство социологов сегодня полагает, что *итогом, результатом* качественного социологического исследования должно быть *теоретическое знание*, представляющее собой *определенную взаимосвязь понятий, «далеких от опыта», по выражению К. Гиртца* [9,

с.91]. Они-то и составляют собственно язык науки, язык, на котором говорят специалисты. Конечно, это не универсальные теоретические обобщения, описывающие или объясняющие социальный универсум: качественная социология, как уже говорилось, не претендует на глобальные обобщения. Ее перспектива – микропроцессы, взаимодействия, *происходящие в повседневной жизни*. Отсюда и *нацеленность* качественного исследования на *эмпирические обобщения* или *минитеории* как его результат. Здесь первая часть слова «мини» указывает на масштаб обобщений, значительно меньший, чем в классическом социологическом исследовании. Вместе с тем такой подход содержит в себе серьезную проблему: теоретическое знание, полученное по итогам качественного исследования, с одной стороны *неизбежно обременено «здравым смыслом»*, с другой стороны, как научное, должно быть отделено от него.

Действительно, сам фокус исследования в рамках качественного подхода, акцент на изучении повседневного опыта, который социолог *разделяет вместе с изучаемыми людьми*, создает проблему *специфики* тех теоретических понятий, которые используются для представления результатов исследования. В самом деле, явления, которые наблюдают и обобщают физики и астрономы, открываются им «в невинном перевозданном виде, необработанными, свободными от ярлыков и готовых определений» [10, с.17]. Они ждут, пока физик или астроном не даст им название, не определит их место среди других явлений, *не придаст им значение*. Но изучаемые социологами человеческие действия и взаимодействия *уже были названы и обдуманы*, пусть недостаточно связно и внятно, самими действующими лицами еще до того, как социолог приступил к их изучению, *уже были наделены ими смыслами и значениями*. Поэтому социологи, которым всегда суждено находиться *по обе стороны того опыта*, который они стремятся понять (то есть быть вне его и внутри одновременно), описывая те же самые объекты, могут пользоваться одним и тем же языком. «Какое бы социологическое понятие мы ни взя-

ли, – полагает З. Бауман, – оно всегда будет отягощено значениями (смыслами), данными ему обыденным знанием и здравым смыслом простых людей» [10, с.16].

Более того, ориентируясь на изучение социального явления *с точки зрения действующего лица*, качественная социология обречена на использование понятий, «нагруженных» здравым смыслом, чего нельзя сказать о классической социологии, как правило, «не впускающей» обыденное знание в свои «владения»; она считает его ложным, «неправильным», содержащим ошибки. Вместе с тем ориентация на *научный идеал*, хотя и в другой его форме, на производство *упорядоченной совокупности знания* требует размежевания со здравым смыслом как *донаучным, повседневным* знанием.

Сложность этой проблемы очень точно была отмечена А. Шюцем. Он для описания различных позиций «человека с улицы» и исследователя (наблюдателя, в его терминологии) использовал метафору города, который будучи *одним и тем же*, тем не менее *по-разному* воспринимается людьми в зависимости от их индивидуальных позиций. По мнению американского социолога, эта метафора позволяет увидеть *различие между «нашим видением социального мира, в котором мы наивно живем, и социального мира как объекта научного наблюдения»* [11, с.165], т. е. между различными уровнями наблюдения. Именно поэтому, переходя с одного уровня на другой, социолог, как полагает А. Шюц, обязан «исследовать вопрос, *совпадают ли* категории интерпретации, используемые учеными, с теми, которые используются наблюдаемым актором» (курсив мой – А.Г.) [11, с.164]. Учитывая тот факт, что они чаще всего *не совпадают*, необходимо тщательно контролировать возможные модификации смысла, «чтобы избежать риска наивного переноса с одного уровня на другой понятий и высказываний, которые обоснованы только на определенном уровне» [11, с.167].

Эта *несводимость* теоретического языка к повседневному и в то же время нагруженность многих теоретиче-

ских понятий в социологии речевыми автоматизмами очень точно осознается П. Бурдьё, сделавшим *свой* выбор и во многом создавшим *свой, нарочито трудный* стиль речи. В интервью одной французской газете он писал, отвечая на вопрос журналиста о противоречии между присутствующим ему осуждением монополии ученых и сознательно недоступным для непосвященных языком его работ: « В социологии необходимость обращения к искусственному языку проявляется, быть может, сильнее, чем во всех остальных науках. Чтобы разорвать с социальной философией, озабоченной употреблением повседневных слов, а также, чтобы выразить то, что повседневный язык выразить не может (например, все то, что не существует как само собой разумеющееся), социолог должен обращаться к изобретенным словам и посредством этого защищаться, хотя бы относительно, от наивных проектов здравого смысла» [12, с.105].

Язык результата научно ориентированного качественного исследования – это язык теоретический понятий, «сцепленных» в единую цельную мини-концепцию. Сами термины эти большей частью «берутся взаймы» из числа уже имеющихся в арсенале социологии, что вполне оправдано: они понимаемы и приняты в научном сообществе. Последнее очень важно, потому что новое теоретическое знание, полученное в ходе качественного исследования, рассчитано прежде всего на специалистов, на их восприятие и оценку. С другой стороны, понятия могут быть и принципиально новыми, впервые вводимыми в научный оборот; правда, им предстоит, как правило, довольно трудный путь легитимации в языке науки¹.

В целом реальное существование этого принципиального подхода достаточно сложно: с одной стороны, возни-

¹ Следует подчеркнуть все-таки определенную относительность четкого разделения терминов (теоретических понятий) и метафор, используемых в повседневной речи: мы уже говорили, что термины часто представляют собой «застывшие», «умершие» метафоры, хотя, как правило, специалисты, использующие их, и не осознают этого.

кает справедливое опасение, что социолог опять окажется «в плену удушающих абстракций, оторванных от реального опыта информантов» [9, с.92]. Да и сами эти теоретические конструкты так нагружены различными, порою противоположными смыслами, сформировавшимися за годы существования науки, что их использование не столько облегчает понимание специалистами конкретного «случая», в котором «отлита» социальность, сколько затрудняет это понимание.

С другой стороны, понятно, что элементарное простое описание – бесконечно рассеяно. Оно запутывается в переплетениях тысяч и тысяч противоречивых обстоятельств и связей. Понятно также, что «выйти» за границы конкретного текста, «вписать отдельный случай» в сложную многогранную социальную реальность, «схватить» «типическое» в индивидуальном можно прежде всего на *теоретическом языке*.

Язык исследования, претендующего на *комментарий* исследователя, принципиально ориентирован на *понимание изучаемой группы и потому приближен к повседневной речи*: в комментариях широко используются метафоры, аналогии, образы, существующие в других областях знания. Здесь в готовый продукт исследования гораздо в большей степени «впускаются» жизненные миры изучаемых индивидов: широко используются фрагменты интервью, анализируемых документов, дневников наблюдения. Это делает текст ярче, полнокровнее, убедительнее, создает иллюзию включенности читателя в изучаемое явление, рождает чувство непосредственного знания. Целевая аудитория таких исследовательских текстов – не столько профессиональное сообщество, сколько общественность и прежде всего – сами изучаемые люди.

Язык исследования, ориентированного на *простое или плотное описание*, максимально приближен к языку информанта. Такой подход обусловлен, как я уже говорила, с одной стороны, необходимостью исследовать малоизученное или новое явление, с другой – методологическими уста-

новками исследователя, в частности, сознательной *антинаучной позицией*, принципиальным нежеланием создавать теоретические конструкции, а также *гуманистическими соображениями (гражданской позицией)* исследователя, характерными для постмодернизма в целом: специалистам, научной элите следует потесниться, дабы дать высказаться изучаемым людям, чьи «голоса из хора» ранее замалчивались.

Особенно эта позиция сильна в феминистских исследованиях, представляющих собой *особую ветвь качественных*¹ Феминистски ориентированные социологи часто стремятся «дать женщинам голос», или «вытащить их из невидимости» (to take women from their invisibility), порой стараются просто озвучить их эмпирический опыт [13]. Такой подход исследователя определяет и его выбор в пользу языка информанта, и потому нередки случаи, когда в реальном продукте качественного исследования «властвует» текст, даже сколько-нибудь серьезно не прокомментированный автором. В рамках такого подхода эмпирический опыт информантов, тип их «мироощущения» приобретает *самостоятельную ценность*, равную или даже превышающую ценность исследовательской рефлексии в форме теории или комментария. Эмпирический опыт информантов важен здесь и для понимания той или иной ситуации, ранее никогда не осмысливаемой (новой) или сознательно замалчиваемой.

2. Целевые задачи качественного исследования

Цели классического социологического исследования. Вопрос о *целях (функциях)* социологического исследования – это всегда анализ тех задач, решение которых общество возлагает на социологию. Сама постановка этих вопросов достаточно традиционна и возникает в фокусе *классиче-*

¹ В наибольшей степени она была распространена в феминистских исследованиях начала 80-х годов, отражая определенный этап в развитии гендерной социологии.

ской социологической методологии с ее ориентацией на производство знания как научного в соответствии со всеми канонами этого типа знания.

Качественная социология, принципиально отвергающая такое научное знание, тем не менее в целом не отвергает такой постановки вопроса, хотя и *по-другому* отвечает на него. Кроме того, качественная социология в некоторых своих направлениях *меняет угол зрения* и вообще иначе ставит этот вопрос: вместо безликого общества на *авансцену выходят конкретные люди*, конкретные действующие субъекты, нуждающиеся в социологическом знании. При этом к конкретным людям в равной мере относятся и изучаемые, и сам исследователь. Еще раз вспомним: «Мы – это они». В целом, как известно, производство социологического знания в *классической парадигме* ориентировано на выполнение следующих четырех задач:

- *описание* общественных явлений и процессов (описательная функция);
- *объяснение* их (аналитическая функция);
- *использование в управлении* социальными процессами и явлениями (управленческая функция);
- *использование для целей прогнозирования* (прогностическая функция).

В сущности, все эти функции характерны для *любого научного знания*. Первые две – описание и объяснение – собственно *познавательные* задачи: цель любого научного познавательного процесса – описать и объяснить изучаемый фрагмент реальности. Две другие – *прикладные задачи*: полученное знание «прикладывается», «приспосабливается» к конкретной ситуации, изменяя ее. Познавательные и прикладные функции тесно связаны друг с другом. В философии науки, осмысливающей *этот* тип знания, равно существуют *инструментализм* и *научный реализм* [14], *поразному* рассматривающие проблему соотношения познавательных и прикладных функций научного знания. Сторонники *инструментализма* полагают, что объяснение и описание в науке нужны лишь для того, чтобы были дос-

тигнуты главные цели – предсказание и изменение изучаемого фрагмента реальности, «спасение явления». Здесь собственно познавательные задачи выступают лишь *средством, инструментом* достижения практических целей. Один из крупнейших философов XX века Л. Витгенштейн в этом ключе писал в своих «Лекциях по эстетике»: «Одна из наиболее важных особенностей объяснения состоит в том, что оно *обязано снабжать нас предсказанием*. Физика связана с инженерией. Мост не должен рушиться» [15, с.225]. Представители научного реализма, напротив, полагают, что основная цель научного знания – истинное описание и объяснение изучаемого явления.

Описание в методологии классического исследования предполагает определение *меры выраженности* изучаемого свойства в объекте исследования, *меры представленности* его в различных социальных группах объекта. Описать социальное явление как целостность – здесь означает описать его *структуру, меру представленности* отдельных структурных элементов изучаемого целого [16, с.173–175].

Задача *объяснения (анализа)* социальных явлений в методологии классического социологического исследования предполагает выявление *факторов (причин)*, их порождающих, а также *взаимосвязей* между элементами этих явлений и процессов. *Объяснить* социальное явление или процесс в классической методологии – значит выявить их устойчивые сущностные, необходимые черты, то есть *причинно-следственные связи*, обуславливающие их функционирование и развитие. Фактически именно в этой функции реализуется главная исследовательская ориентация классического социологического исследования: познание в конечном итоге *закономерностей* в отдельных сферах социума. «Если мы хотим достичь *научных* объяснений (курсив мой – А.Г.), мы должны помнить, что наши факты должны быть определены таким образом, чтобы можно было подвести их под общие законы», – писали У. Томас и Ф. Знанецки во введении к своему «Польскому крестьянину в Европе и Америке» [17, с.347]. Средством

доказательства связей здесь в соответствии с «законами жанра» выступает аппарат математической статистики, позволяющий получить так называемое «объективное» знание, то есть, говоря словами В. Библера, «обнаружить в вещах то, что они есть... «сами по себе», «в себе», «отлично» от меня и других вещей, очищенные от всех посторонних влияний и искажений» [18, с.294].

Описание и объяснение в качественном исследовании. Следует сказать, что в литературе, где так или иначе осмысливается качественная методология социологического исследования, существует *существенный разрыв* в использовании терминов «описание» и «объяснение», связанный прежде всего с различием в методологических *установках* исследователей и, как следствие, с различиями в образах результата качественного исследования. Вместе с тем, само использование этих теоретических конструктов, применяемых в дискурсе *научного* типа знания, свидетельствует о том, что *научное направление* качественного исследования сегодня является наиболее предпочтительным. Анализ показывает, что термин «описание» используется в литературе, посвященной качественному социологическому исследованию, в *двух значениях: широком и узком.*

В *широком значении* – это описание исследователем своего понимания, *вербализация понимания* [19, с.105]. В этом смысле *любой продукт* качественного исследования – всегда описание. В то же время в зависимости от *установки* социолога-качественника на результат исследования, от *специфики образа результата* можно выделить два его вида:

- *простое описание или «плотное», насыщенное;*
- *аналитическое описание* [20].

Эти два вида описания, на мой взгляд, отличаются друг от друга прежде всего *задачами и, соответственно, языком.* Я уже говорила, что при *простом или «плотном» описании* задача исследования состоит в том, чтобы максимально представить *жизненный мир информанта*, его интерпретацию событий. Фактически продукт такого исследования – «сырые» данные, конструкты первого порядка, в термино-

логии А. Шюца, «не обработанные» исследователем. *Аналитическое описание* нацелено на получение такого продукта исследования, в котором информанты и исследователь «участвуют» *на равных*. Как правило, продуктом аналитического описания выступает *мини-теория* (концепция) или *исследовательский комментарий*.

В узком смысле описание *противопоставляется* объяснению. По мнению И. Девятко, задача *объяснения* относится к научному тексту (итоговому продукту исследования), а *описание* – «к картинкам» повседневной жизни, которые также могут быть и продуктом качественного исследования. Она полагает, что «объяснение отличается от простого описания не столько тем, *что* говорится, сколько обобщенностью и явным включением объясняемого события (поведения) в более широкий контекст повседневного либо научного запаса знаний» [21, с.27]. С этой позиции, результат качественного исследования, включающий в себя исследовательскую рефлексию (а это характеризует научное направление в моей классификации), – всегда *объяснение* социального явления, в то время как итог качественного исследования, не содержащий такой рефлексии, – только *описание*. На мой взгляд, объяснение и описание различаются *другими параметрами*. Результат качественного исследования, который *не содержит отсылок к причинам, мотивам* тех или иных действий, реализует, на мой взгляд, задачу *описания* социального явления. Соответственно, если в продукте исследования *они представлены*, мы имеем дело с *объяснением* изучаемого явления. Таким образом, различия между описанием и объяснением в узком смысле на мой взгляд, состоят в том, *что именно* содержится в готовом продукте качественного исследования.

Следует сказать, что здесь, в этой методологии, мы сталкиваемся *не только с научным объяснением*, имеющим место в методологии классического исследования, но и с так называемым «*семантическим*» объяснением¹ Этот вид

¹ Термин этот принадлежит известному американскому специалисту по логике и философии социальных наук А. Каплану.

объяснения фактически означает *растолкование*: подобное мы встречаем в лингвистике, когда для объяснения неизвестного слова толковый словарь дает слово со сходным значением. При таком объяснении события и поступки могут растолковываться другому человеку с помощью уточнений, аналогий, а также целым рядом других способов, какими мы в повседневной жизни объясняем друг другу те или иные события. У. Аутвейт выделяет несколько из них [22, с.129]. Это и объяснение, *рассказывающее историю*, или отсылающее к возможной истории о процессе (в частности, ответ на вопрос «Зачем они это делают?» будет описанием процесса, который привел к этому событию). Это и объяснение *другого типа*, отвечающее на вопрос «А что такое то или иное явление?» (у Аутвейта это «А что такое матч, обедня?»). Такое объяснение «повлечет за собой полное описание *структуры, целей и других черт объясняемых явлений*» [22, с.130]. Это может быть и использование *социально признанного утверждения*, объясняющего ситуацию (у английского социолога это объяснение типа «Я был болен» на вопрос «Почему не сдал в срок рукопись в сборник?»). В любом случае, объясняя, мы стараемся *перевести* это событие на *понятный* нашему собеседнику язык, исходя из его предполагаемого опыта и нормативных представлений. Семантическое объяснение всегда преследует практическую цель: *добиться понимания* слушателем; оно всегда – *процесс коммуникации*, ориентированный на конкретного слушателя. Такое объяснение может быть успешным, если его принял тот, кому оно адресовано, вне зависимости от того, соответствовало ли оно критериям логичности, согласованности отдельных частей, связности, с помощью которых оценивается *научное объяснение*. Семантическое объяснение – всегда *понятное конкретному слушателю*, в отличие от научного – «*истинного*», соответствующего объективным стандартам логики. Семантическое объяснение в качественной методологии – это *объяснение смысла событий*, своих поступков *изучаемыми людьми, их интерпретация реальности*.

А теперь необходимо разобраться, как *сочетаются* научное и семантическое объяснение в различных направлениях качественного социологического исследования. В исследовании *гуманистического и ситуационного* направлений в моей классификации, где «властвует» текст в первоизданном своем виде, практически «не тронутый» исследователем, присутствует только *семантическое объяснение* реальности – объяснение с точки зрения «действующего субъекта»¹. В *научно ориентированных качественных исследованиях*, так сказать, исследованиях «объективистского» характера, присутствуют и *семантическое объяснение* ситуации изучаемыми людьми, и *научное объяснение* социолога, которое, как говорилось ранее, должно быть построено по всем логическим канонам научного доказательства, а также осуществляться на языке специальных терминов. Результаты такого рода исследований – мини-теория – есть всегда *сплав, «равновесное» сочетание этих двух видов объяснений социальной реальности*.

Применительно к *исследованиям постмодернистского, (или арт-) направления*, где в продукте исследования слышен преимущественно *только голос социолога*, его интерпретативная версия, «потерявшая» связь с «сырыми» данными, вообще не приходится говорить ни о семантическом, ни о научном объяснении: исследования подобного рода сознательно делаются *вопреки научным канонам*, а их выводы, сделанные в стиле «fantazy», не столько *объясняют реальность*, сколько репрезентируют прежде всего самого исследователя, *его взгляд на вещи*.

Качественное исследование и управление. Ориентация на управление, на использование социологической информации в управленческих целях является «законной» в методологии *классического* социологического исследования с ее характерной для научного познания в его нововременной форме «*заряженностью*» на *преобразование, на овладение миром, контроль* за ним. Более того, многие по-

¹ Понятно, что этот текст, чтобы быть объяснением, должен содержать мотивы, причины, обоснования тех или иных событий.

лагают, что именно этот практический пафос социологии оправдывает как возникновение, так и существование социологии и социологов. Социолог здесь играет роль врача, ставящего «диагноз» социальной ситуации и выписывающего определенные «рецепты» для ее оздоровления [16, с.182–185]. Правомерно ли говорить о «работе» на управление в *качественной методологии* с ее преимущественно *антинаучным* (речь идет о неприятии нововременной формы научного знания), а значит, и *антивластным* пафосом, с ее гуманистической идеологией, *принципиально отвергающей участие социологии в контроле над людьми*? Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет.

Принципиально качественная социология, провозглашая *индетерминизм*, рассматривая социальную реальность как гибкую, ситуативно определяемую ее участниками, как некий «кубик Рубика», каждый раз новый, противопоставит жесткости социального порядка, а значит, и управлению, направленному на его поддержание. В то же время практика показывает, что результаты качественных исследований, прежде всего *научно ориентированных*, претендующих на обоснованное научное понимание социальных явлений и процессов, *могут использоваться в практических целях* – для изменения социальной ситуации в соответствии с нашими потребностями и намерениями.

Это блестяще доказала знаменитая Чикагская социологическая школа, с первых своих исследований направленная на практическую полезность, на помощь в управлении социальными процессами. Исследования Р. Парка, Э. Берджесса, У. Томаса, Н. Андерсена, Е. Фрайзера и других были принципиально прикладными, ориентированными на решение многочисленных социальных проблем Чикаго, этого «безумного города», где концентрация их была особенно высока [23, с.105]. Показательно название крупнейшего исследовательского проекта, осуществленного в Чикагском университете в 30-е годы: «Город как социальная лаборатория», где город рассматривался как соответствующий полигон для изучения и социальных экспериментов, для

реформирования социальной среды в целом. Чикагские социологи, тесно контактируя с муниципальными властями, политическими партиями, общественными организациями города, пытались найти средства этого реформирования с целью повысить интеграцию, солидарность жителей города, «разорванных» этническими, религиозными, в целом социо-культурными конфликтами, укрепить социальный порядок в городе [24]. Качественная социология, таким образом, помогая власти принимать обоснованные управленческие решения, способствовала укреплению социального порядка, социальной интеграции.

Сегодня в современном обществе (по крайней мере в западном), по мнению современного французского социолога Д. Берто, появляется и новый *социальный актор*, который может превратить социологическое знание в силу, преобразующую общество. «Любопытный актер, не имеющий устойчивого социального статуса, как будто бы даже иногда исчезающий надолго» [25]. *Это – гражданское общество*. По мнению французского социолога, государственная власть, правящий класс сегодня больше делают ставку на экономику и политологию, ибо «парадигма современного мира – это парадигма Рынка и Государства». В то время как власть окружает себя многими слоями секретности и лжи, по его мнению, именно гражданское общество нуждается и стремится к полной прозрачности социальных отношений. Качественная социология, пытаясь проникнуть *за социальную завесу*, изучая микромиры социального целого, могла бы «работать» на гражданское общество: помочь социальным общностям (например, экологическим, гендерным и другим) в их борьбе за реформы в той или иной сфере общественной жизни, за признание прав определенных категорий людей. Таким образом, социология участвовала бы в преобразовании общества, одновременно повышая и свой статус в нем.

Качественное социологическое исследование – в помощь конкретному человеку. Известно, что изменение социальной ситуации «сверху» всегда оборачивается усиле-

нием социального контроля за участниками ситуации, уменьшением их реальной свободы. В то же время гуманистический пафос качественной социологии направлен на помощь каждому отдельному человеку, который, обретя социологическое понимание, сможет заглянуть за горизонты собственного опыта, по-новому интерпретировать, казалось бы, знакомые стороны жизни, увидеть их в новом свете. Социология может подтолкнуть обычного человека к критическому осмыслению тех верований, которые до сих пор были вне всякой критики, привить вкус к самоанализу, подтолкнуть к переоценке своего опыта, обнаружив еще много способов его интерпретации. В частности, рассказывание интервьюеру своей истории жизни (а это распространенная исследовательская практика), ее «проговаривание» здесь и сейчас в коммуникации со слушателем может быть и *поиском себя*, решением своих экзистенциальных трудностей [26, с.129].

В конечном счете, социологическое понимание «ведет к увеличению объема и практической эффективности нашей с вами свободы: индивидом, освоившим социологическое понимание, уже нельзя просто манипулировать, он сопротивляется насилию и регулированию извне, тем силам, с которыми, считалось, бесполезно бороться» [10, с.224]. На этом увеличении индивидуальной свободы делают акцент и социологи феминистского направления, помогая женщинам, с их точки зрения угнетенным, осознать свое положение в «мужском» мире [27]. В конце концов, «если социологи не помогут своим современникам лучше понять мир, в котором они живут, и который они конструируют каждый день, то кто это будет делать вместо них? Будет ли это задачей кабинетных интеллектуалов или, еще хуже, журналистов и политиков?» [25, с.15].

Здесь, в этом странном сплаве ориентации на власть, на усиление социального контроля за людьми и гуманистической ориентации на увеличение, в конечном итоге, индивидуальной свободы «человека с улицы», видится *внутренняя противоречивость* качественной социологии. Эта двойст-

венность, по мнению З. Баумана, есть отражение двойственной природы рациональности вообще, «равнение» на которую – неотъемлемая черта современного общества. С одной стороны, рациональность, рациональный расчет (а это прежде всего знание способов достижения цели, понимание, в конечном итоге, социального явления – А.Г.) может сделать *любое действие индивида более эффективным*, т.е. увеличить степень его свободы. С другой стороны, рациональность, обращенная к *организации общества в целом*, к его структурам, ограничивает индивидуальный выбор, тем самым урезая индивидуальную свободу. С этой двойственностью социологии «придется жить», видимо, всегда.

Следует обратить внимание *еще на одну грань нашего разговора* – об экзистенциальных мотивах обращения социолога к качественному исследованию. Сама постановка вопроса таким образом *свойственна только этой парадигме социологического исследования*: в рамках классического подхода социолог, не включенный как личность в исследовательский процесс, движим только собственно познавательным или прикладным интересом. В качественном исследовании, особенно в рамках качественного интервью, *конструируя совместно с информантом социальную реальность «здесь и сейчас»*, вглядываясь в себя глазами Другого, социолог формирует и свою идентичность, начинает осознавать себя. В ряде случаев, качественное исследование может стать для социолога пространством поиска своих жизненных ориентиров, *событием его экзистенции, способом его бытия в мире* [28, с.31].

В целом качественная социология может многое дать социологу, как впрочем, и обычному человеку: лучше понимать людей, их пристрастия, мечты, опасения; уважать их право делать то, что они считают нужным и важным, – право на собственный образ жизни. В самом общем виде, качественная социология может помочь социологу понять *другие формы жизни*, проникнуть в их логику и смысл, *понять всю относительность границ* между «нами» и «ни-

ми», привить «терпимость» и в конечном итоге увеличить степень свободы каждого.

Литература

1. Jaber F. Gubrium. The New Language of Qualitative Method. New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.

2. Punch K.F. Introduction to Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 1998.

3. Creswell J. Qualitative Inquiry and Research Design Choosing: Among Five Traditions. London: Sage Publications, 1998.

4. Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. М.: Стратегия, 1998.

5. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: Интада, 2001.

6. Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000.

7. Рорти Р. Метод, общественные науки и общественные надежды // Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

8. Denzin N. and Lincoln Y. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage, 1994.

9. Гиртц К. С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

10. Бауман З. Мыслить социологически. М.: Аспект Пресс, 1996.

11. Шюц А. Проблема рациональности в современном мире // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Инст. Фонда «Общественное мнение», 2003.

12. Бурдые П. Социолог под вопросом // СоцИс. 2003. №8.

13. Roberts H. Doing Feminist Research. London: Sage, 1981.

14.Лаудан Л. Наука и ценности // Современная философия науки: знание, рациональность, ценности в трудах мыслителей Запада. Хрестоматия. М.: Логос, 1996.

15.Цит. по: Патнем Х. Философы и человеческое понимание // Там же.

16.Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология, исследовательские практики. Самара: Самарский университет, 2002.

17.Томас У., Знанецкий Ф. Методологические заметки // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.

18.Библер В. От наукоучения к логике культуры. М.: Наука, 1991.

19.Silverman D. Doing Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delft: Sage publications, 2000.

20.Banks A. and Banks S.P. Fiction and social research: by ice or fire. Walnut Jreek, CA: Alta Mira, 1998.

21.Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

22.Аутвейт Ч. Законы и объяснения в социологии // Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М., 1996.

23.Баньковская И.П. Чикагская школа в американской социологической теории: от кризисного сознания к стабилизационному // История теоретической социологии: В 4 т. М.: Канон, 1998. Т.3

24. Барзгова Е.С. Американская социология: традиция и современность. Екатеринбург: Деловая книга, 1997.

25.Берто Даниэль. Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара. Санкт-Петербург, 14–17 ноября 1996. СПб., 1997.

26.Бургос Мартина. История жизни, рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии. 1992. Т.1. №2.

27.Малышева М. Современный патриархат. Социально-экономическое эссе. М.: Академия, 2001.

28. Лехциер В.Л. Путь к опыту // Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Материалы летней школы. Самара: Самарский университет, 2000.

ТИПЫ КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Обществоведы делятся не на бездумных наблюдателей и ненаблюдающих мыслителей, различия между обществоведами скорее касаются того, как они мыслят, как наблюдают и как связывают (если вообще связывают) свои мысли и наблюдения.

Ч.Р.Милс

Социологическое воображение

Как охватить повседневность – этот видимый, но не замечаемый мир привычек и ограничений, советов и одобрений, иллюзий и разочарований, рутины и банальности? Если, однако, говорить серьезно, повседневность – одно из пространственно-временных измерений развертывания истории, форма протекания человеческой жизни, область, где возникает надежда на новацию – банальности, перетекая друг в друга, образуют новые миры.

Н.Н. Козлова

Горизонты повседневности
советской эпохи (голоса из хора)

1. Grounded theory («обоснованная теория») как тип качественного исследования

Еще раз о типологиях качественного исследования.
Методология классического социологического исследова-

ния предполагает выделение ряда *критериев*, с помощью которых упорядочивается реальное разнообразие классического исследования, выделяются его типы. Наиболее распространенные из них – *метод сбора информации* (опросный, фокус – групповой, экспертный типы исследования) [1, с.106]; [2, с.11–57], *нацеленность на изучение предмета в статике или динамике* (точечный, «моментный» и повторный типы исследования) [3, с.131], *цель исследования* (теоретико-прикладной и прикладной типы в предложенной В.А. Ядовым классификации [4, с.69]; [5, с.172–176]; [6, с.228] или фундаментальный, квазифундаментальный, прикладной и разведывательный в классификации, предложенной мной [7, с.201]).

Мною уже отмечалось, что реальная пестрота качественного исследования также может быть «схвачена» *рядом типологий*, выделенных с помощью различных типобразующих признаков. Один из возможных критериев такого структурирования – *характер исследовательской практики как интегрированной целостной деятельности исследователя*, включающей в себя и определенную «практическую логику» исследовательского процесса, и приоритетность тех или иных методов сбора первичной информации, а также образов и соответственно языков результата исследования¹. Опираясь на типологию, предложенную с использованием этого критерия Дж. Крессуэлом [8] и уточненную В. Семеновой [9, с.80–101], я полагаю, можно выделить следующие типы качественного исследования:

- *этнографический*,
- «*кейс стади*» (*case study*),
- «*устная история*» (*oral history*),
- «*обсновавшая теория*» (*grounded theory*),
- «*история жизни*» (*life story*),
- *автоэтнографический*.

¹ Авторы такого подхода Дж. Крессуэл и вслед за ним В. Семенова называют этот критерий тактикой социологического исследования.

Предлагаемая типология отличается от предложенных английским и российским исследователями типологий *двумя моментами*: выделена *автоэтнографическая* исследовательская практика как специфическое, не сводимое ни к каким другим типам предприятие; исключена такая исследовательская практика, как «*история семьи*», в силу того, что на мой взгляд, она очень близка к «*истории жизни*», хотя они и различаются объектами изучения: в «*истории жизни*» – это отдельный индивид, в «*истории семьи*» – семейная ячейка, взятая в единстве ее внутрисемейных связей.

Конечно, выделение этих типов достаточно условно и предположительно: «*младой возраст*» качественной социологии, да и ее «*зонтичный*», мозаичный характер создают значительные трудности для структурирования, четкого «*раскладывания по полочкам*» всего реального богатства конкретных исследовательских практик. Не случайно не умолкают споры о соотношении этнографического типа социологического исследования и исследования типа «*кейс-стади*»: ряд авторов говорят об этнографическом типе «*кейс-стади*», другие – о «*кейс-стади*» как разновидности этнографического. В любом случае, я полагаю, что попытка упорядочивания реального разнообразия этих исследований, стремление выделить основные элементы, создающие специфичность, «*особость*» той или иной разновидности качественного исследования, всегда полезна и плодотворна.

Не имея возможности рассмотреть *каждую* из выделенных исследовательских практик (сегодня уже есть обширная литература по ним) [7], [10]–[18] и др., попробую проанализировать *три последних*, руководствуясь следующими обстоятельствами: *во-первых*, grounded theory, «*история жизни*» и *особенно автоэтнография* несмотря на значительный опыт их использования прежде всего в западной социологии, все же *наиболее проблематичны*, вызывают наибольший огонь критики, фокусируя на себе все главные претензии к качественной социологии, но одновременно и

демонстрируя возможные контуры ее развития; *во-вторых*, эти исследовательские стратегии весьма *слабо представлены* и *тем более проанализированы* в социологической литературе на русском языке (исключение составляет, пожалуй, «история жизни», анализу познавательных возможностей которой посвящен ряд статей российских социологов [19]; [20]; [21] и др.; *в-третьих*, именно эти исследовательские практики *были использованы* в наших исследованиях процесса социально-экономической адаптации населения постсоветской России, и поэтому *их познавательные горизонты* могут быть не только *теоретически* осмыслены, но и эксплицированы из «живой жизни» – нашего реального исследовательского опыта их реализации в эмпирических исследованиях.

Общая характеристика. Grounded theory как тип качественного социологического исследования *практически не осмыслена* в отечественной социологии – исключение составляют лишь две публикации Т.С. Васильевой [22, с.56–65]; [23, с.226–246], первого (и единственного) переводчика одной из версий этой практики, представленной в работе А. Страусса и Дж. Корбин «Основы качественного исследования» («The Basics of Qualitative Research»)¹. Вместе с тем сегодня на Западе (преимущественно в Англии и США) «grounded theory» – одна из популярнейших исследовательских практик, которая успешно используется для изучения различных областей социального: образования для взрослых [24], сферы организации социальной работы, медицинского обслуживания [25]; [26], культуры корпорации [27] и т. д. Существует своеобразная «*граундиада*», где grounded theory осмысливается и развивается. В частности, рефлексии подвергаются ее основные принципы [28]; [29], исследовательские проекты, где в рамках этой стратегии используются нехарактерные для нее методы сбора (доку-

¹ Отдельные элементы этой практики анализировались М. Малышевой, И. Девятко.

менты, включая и архивные материалы) [27], компьютерные программы работы с данными: «Атлас», «Nvivo»¹.

Рождение *grounded theory* обычно связывают с совместным трудом известных американских социологов Ансельма Страусса и Барни Глейзера «Открытие обоснованной теории» («The Discovery of Grounded Theory»), вышедшем в 1967 г. Вслед за первой работой вышли еще несколько основных книг, развивающих идеи этого типа исследования. Это работы Б. Глейзера «Теоретическая чувствительность» («Theoretical Sensitivity»), и «Основы анализа с помощью Grounded theory» («Basics of grounded theory analysis»), «Качественный анализ для социальных исследователей» А. Страусса («Qualitative Analysis for social scientists») и работа А. Страусса совместно с Д. Корбин «Основы качественного исследования» («Basics of Qualitative Research»). Начав работу над созданием и представлением grounded theory социологическому сообществу в качестве *соавторов, единомышленников*, Б. Глейзер и А. Страусс затем в процессе дальнейшей рефлексии и приобретения нового опыта исследований стали *различным образом* представлять должную (идеальную) *логику осуществления* исследования этого типа². Именно поэтому сегодня в методологии качественного социологического исследования *параллельно* существуют фактически *две версии grounded theory*, создавая тем самым возможность выбора для социоло-

¹ Следует сказать, что освоение grounded theory в последние годы начинается и в исследованиях российских социологов: например, изучение практик исключения детей-инвалидов (См.: Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов, 1997); анализ процесса социально-экономической адаптации населения постсоветской России (См.: Готтлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: факторы успешности-неуспешности // СоцИс. 2001. №7) и др.

² Момент разрыва связывается исследователями с датой выхода книги Б. Глейзера «Основы анализа с помощью grounded theory», вышедшей в 1992 году, где Глейзер предъявил 129 поправок (претензий) к версии Страусса и Корбин, представленной в работе «Основы качественного исследования», опубликованной в 1990 году.

га-эмпирика. Стоит подчеркнуть особо, что разногласия между страуссовской и глейзеровской версиями grounded theory носят, на мой взгляд, *не столько методический* (как делать исследование), *сколько методологический характер* (почему надо делать именно так) и потому достаточно принципиальны. Вместе с тем, в *основаниях, базовых положениях grounded theory*, как показывает анализ их работ, американские авторы солидарны.

Я полагаю, что *основная идея* качественного исследования этого типа (и здесь нет разногласий между Глейзером и Страуссом) состоит в том, чтобы за счет *использования определенных процедур индуктивным путем* (от «сырых» данных – «наверх») *«вывести» теорию изучаемого явления*. Эта теория должна быть *укоренена в первичных данных*, не терять с ними связи. Термин «Grounded theory» переведен на русский язык Т.С. Васильевой как *обоснованная теория* [22, с.56], хотя, на мой взгляд, правильнее было бы перевести его как *«укорененная теория», или «почвенная теория», корнями уходящая в первичные данные, «вырастающая» из них, как из почвы*. Первичными данными здесь считается информация свободного интервью или наблюдения, выступающих в этой исследовательской стратегии основными методами сбора социологической информации.

Важнейшая черта, составляющая специфику этой стратегии – внутренняя организационно-логическая связь между этапами исследования: *здесь каждый этап влияет на последующий, определяет его*. Это означает, что анализ данных начинается по мере проведения *первых интервью или наблюдений*, так что *каждый последующий сбор данных* зависит от гипотез, выдвинутых на этапе обработки информации *предыдущих интервью и наблюдений*. Таким образом, этот тип исследования предполагает *постоянное движение от сбора данных к концептуализации и обратно: от концептуализации к сбору данных*. На каждом этапе исследования проверяются и корректируются гипотезы, *каждый этап задает направление последующим*. Основная ор-

ганизационно-логическая идея качественного исследования – отсутствие четкой временной и организационной *разделенности* между этапом сбора информации и этапом ее обработки – здесь, кажется, достигла своего *максимального* воплощения. Не случайно сам А. Страусс называет grounded theory не типом, но *стилем* качественного исследования [30].

Этот тип исследования принадлежит к *научному или тяготеющему к научности направлению* качественных исследований в рамках предложенной мной типологии. Может быть, это *самый научный тип из всех возможных в качественной социологии*, хотя, конечно, это – иная, нежели нововременная форма научности¹ Следует сказать, что научность grounded theory (точнее, ее мера) выступает одним из *предметов разногласий* между Глейзером и Страуссом. С одной стороны, и в этом у американских социологов нет расхождений, так называемая *научность* проявляется в *образе результата*, как он видится американским авторам: итогом исследования такого типа *всегда* выступает *теоретическое толкование реальности, «которое заслуживает доверия и помогает понять данную область исследований»* [31, с.22]. С другой стороны, Б. Глейзер подвергает критике страуссовские критерии научности, в соответствии с которыми выстраивается логика grounded theory, называя их *позитивистскими* [32]. В самом деле, А. Страусс полагает, что *процедуры* такого качественного исследования должны быть разработаны таким образом, чтобы *соответствовать канонам «хорошей» науки*, хотя и несколько *подправленным, модифицированным* применительно к качественному исследованию, а также к сложности изучаемых социальных феноменов.

Следуя этому принципу, А. Страусс и Д. Корбин выделяют 4 критерия, по которым можно отличить «хорошую» «обоснованную теорию» [31, с.21]: она должна *соответствовать изучаемому фрагменту реальности*, быть «по-

¹ А. Страусс и Дж. Корбин называют grounded theory научным методом.

нимающей», обобщающей, контролируемой. Остановимся на этих критериях подробнее.

1. Американские авторы полагают, что «обоснованная теория» как тип исследования должна быть направлена на *как можно более адекватную репрезентацию изучаемого явления*. Вместе с тем, и здесь Страусс и Корбин правы, на каждом новом уровне абстракции процесс интерпретации в определенной степени подпадает под влияние *представлений* исследователя, его *ценностей* и *предпочтений*, что с точки зрения веберовской ценностной нейтральности знания недопустимо. Для повышения *обоснованности* выводимой теории здесь качественный анализ (обработка данных интервью, наблюдений) проводится группой. Исследователи обсуждают свои идеи, которые *путем совместного анализа интерсубъективно* верифицируются (подтверждаются). Эти совместные поиски смыслов фактически представляют собой *исследовательскую триангуляцию* (хотя Страусс об этом и не говорит), способ повышения обоснованности результатов качественного исследования, о котором я говорила ранее. В то же время А. Страусс подчеркивает, что в групповом обсуждении содержится важная аналитическая предпосылка – *создание разнообразия*, которое учитывало бы разнообразие социальной жизни. *Горизонт смыслов* исследуется с помощью так называемого «мысленного эксперимента»¹. В процессе дальнейшего анализа это «поле» смыслов изучается, т.е. соотносится с последующими полевыми данными, с возникающими теоретическими гипотезами до тех пор, пока не появится возможность формулировки «самой значимой и близкой к реальности интерпретации» [30, с.6]. Эту принципиальную для «обоснованной теории» характеристику – создание разнообразия смыслов, А. Страусс называет «*комплексностью*».

¹ Термин «мысленный эксперимент» здесь означает совокупность мысленных процедур, проводимых над идеализированными объектами (понятиями).

2. *«Понимающий» характер теории* означает, что в ней *верно «схвачено» понимание* исследователями изучаемой ситуации. Важнейшим условием такой адекватности, по мнению американских социологов, является *понятность* полученной теории теми, кто изучается, и теми, кто будет использовать полученное знание¹. На мой взгляд, требование понятности, выделенное американскими социологами в качестве важного критерия «хорошести», в определенной мере расходится с другим требованием: теория должна быть сформулирована в понятиях, а не в общеупотребительных словах [31, с. 211] (прочь от здравого смысла – А.Г.). Видимо, это, и я уже об этом говорила, – *принципиальное противоречие качественного исследования*, которое стремится быть научным (а значит, и «говорить» на языке теоретических понятий) и в то же время, не имея возможности использовать математические средства доказательства своих выводов, вынуждено апеллировать в поисках правдоподобия к людям, которых изучает. К людям, которые, как правило, *не понимают теоретического языка*.

3. *«Обоснованная теория» претендует на создание обобщающей теории*. Это означает, что условия, которые объясняют изучаемый социальный феномен, не должны быть «микроскопическими», т.е. только непосредственно «прилегающими» к этому феномену. Скорее наоборот: изучаемое социальное явление должно «вписываться» в *широкий социальный контекст*. Это означает, что теория, получающаяся как результат такого типа исследования, *должна включать в себя в качестве элементов объяснения и макроскопические явления*: экономические условия, социальные движения, тенденции, культурные ценности и т.д. [31, с.212]. По мнению А.Страусса, любая *обоснованная теория*, упускающая эти более широкие условия, теряет в своем качестве. В этом смысле быть *обобщающей теорией*

¹ Я уже говорила ранее, в главе 3, что критерий понятности – излюбленный параметр оценки «хорошести» исследования в качественной методологии.

– значит объяснить социальное явление в *широкой перспективе* и по возможности, в разных контекстах его существования. *Контролируемый характер* теории как результата такого типа исследования означает здесь, что теория *должна контролироваться «сырыми» данными*, которые являются *базисом* анализа. К ним нужно постоянно обращаться в процессе анализа, независимо от того, на каком уровне анализа находятся исследователи.

Наибольшей критике среди приведенных выше критериев Б. Глейзер подвергает требование, чтобы *теория была обобщающей*. На мой взгляд, критика Б. Глейзера именно этого критерия достаточно убедительна [32]. В самом деле, попытка Страусса и Корбин вписать получающееся теоретическое описание в широкий социальный контекст, в макросоциальные условия *не характерна* для качественного исследования с его *отказом от создания «больших нарративов»* и сосредоточенностью на анализе *микроуровня* социальной жизни. Позитивистские «замашки» американских социологов здесь действительно налицо. Наряду с этим критике подвергаются и другие признаки научности страуссовской версии grounded theory, выхолащивающие, по мнению Б. Глейзера, специфику качественного социологического исследования: точность, необходимость *верификации* гипотезы в противовес ее непосредственному созданию из эмпирических данных [32].

Он напоминает Страуссу и Корбин, что верификационная модель была как раз тем элементом, от которого они старались уходить в своей первой работе «Открытие обоснованной теории». Б. Глейзер в целом не приемлет черты *классического исследования*, которые, конечно, «проступают» в страуссовской версии. Так, он полагает, что проблема не может быть сформулирована исследователем *до сбора данных*, как это делается в *классическом исследовании*, и как предлагают это Страусс и Корбин. Напротив, по его мнению, исследовательская проблема получается как *естественный побочный продукт* открытого кодирования, самой первой процедуры обобщения эмпирических данных

[32]. В идеале, по его мнению, исследователь, работающий в стратегии *grounded theory*, начинает исследование с абстрактного вопроса: «Что здесь происходит, в чем проблема?»).

Еще один упрек Глейзера Страуссу – сосредоточение в большей степени на «культурной сцене» (культурных реалиях), нежели на самом внутреннем мире информантов, вытекающем, по его мнению, из того факта, что Страусс вводит слишком *много правил* производства знания вместо *гибкости и творчества* исследователя.

Недовольство Глейзера вызывает и заявление Страусса и Корбин, что «даже обычный исследователь сможет построить *grounded theory*» [31, с.23], усматривая, видимо, в таком подходе проявление некоего инструментализма, безличности, свойственных скорее классическому исследованию в противовес уникальности импровизации исследователя и исследовательского чутья, особо востребованных в качественном исследовании. В целом, можно согласиться с американским исследователем В. Бебчуком [24, с.7], полагающим, что Б. Глейзер «более предан принципам и практикам, которые трактуются как качественная парадигма», за отступление от которых он и подвергает критике своего бывшего соавтора и друга. Парадоксальность ситуации, на мой взгляд, состоит в том, что на большей «качественности» настаивает именно Б. Глейзер, выпускник Колумбийского университета с его идущими от П. Лазарсфельда новациями в области «количественных» методов, в то время как строгость и некоторую «жесткость» отстаивает А. Страусс, окончивший Чикагский университет с его «качественными» устремлениями в области социологических исследований.

На мой взгляд, обе эти версии имеют равное право на существование. Более того, версия Страусса при всех ее «количественных тяготениях», как мне кажется, более предпочтительна, в силу своей большей демократичности: срывая с *grounded theory* некий покров сакральности, она дает возможность *любому исследователю*, даже малоопытному, шаг за шагом освоить ее «премудрости». Именно по-

этому я далее анализирую логику исследовательского поиска *grounded theory* в ее *страуссовской версии*.

Логическая последовательность исследования (логика исследовательского поиска). В самом общем виде она может быть представлена следующим образом: на основе «сырых» данных, которые в идеале не включают интерпретации исследователя, *выделяются коды* (понятия), представляющие собой *первый уровень интерпретации*. Как правило, на этом уровне обобщается *один из аспектов* данных о конкретном явлении. От кодов, поднимаясь по лестнице абстракции, генерируются *категории, центральные категории* и, наконец, *теория*: исследователь, двигаясь от кодов «вверх», устанавливает *взаимосвязи* между кодами, обобщает их в более абстрактные понятия (категории), категории «уплотняются» в еще более абстрактные понятия (центральные категории) и в конце концов оформляются в теорию как общее описание конкретного социального феномена (см. рис.1). *Более подробно* логика исследовательского поиска в этом типе качественного исследования может быть представлена, как полагает А.Страусс, следующими элементами [30, с.23]:

- концептуально-индикаторная модель кодирования,
- сбор данных,
- кодирование,
- центральная категория,
- теоретическая выборка,
- сравнение,
- теоретическое насыщение,
- интеграция теории,
- аналитические мемос,
- теоретическая классификация.

В целом, и я уже говорила об этом, логика этого типа исследования направлена на создание *«комплексной, сотканной из понятий, целостной теории»*, которая формулируется в тесной связи с напряженным анализом данных. А. Страусс выделяет некоторые «правила большого пальца» (общие правила) в качестве методических директив.

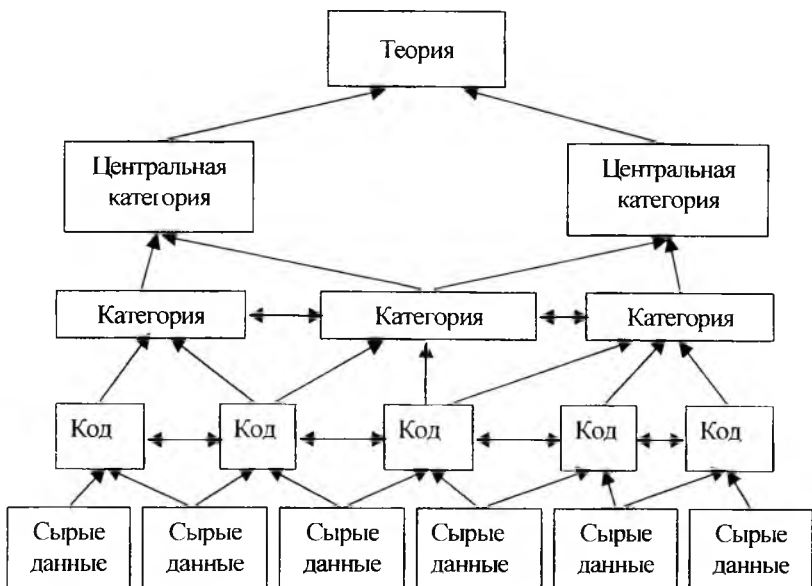


Рис. 1. Логика производства теории

Так, по мере получения самых первых данных, *начинается процесс их кодирования и продолжается в течение всего исследования*. Результаты кодирования служат основой для формирования *теоретической выборки*. Принцип теоретической выборки заключается в следующем: *последующий сбор данных зависит от теоретического осмысления феномена, от результатов аналитических построений исследователя на предыдущем этапе*.

Продолжается такое выборочное исследование данных до тех пор, пока не достигается *теоретическое насыщение*, т.е. пока полученные данные не перестают нести новых теоретических элементов, лишь подтверждая то, что уже было обнаружено ранее. Как только выявляется *центральная категория* или категории, исследователь начинает искать связь между ними, постепенно насыщая теорию.

Параллельно с кодированием идет написание аналитических мемов (письменных комментариев исследователя в виде небольших эссе) относительно исследования, чувств

исследователя, его идей, кодов, осмысления теоретической литературы.

Исследователь постоянно должен задавать «генерирующие» (термин А. Страусса – А.Г.) вопросы:

- Что происходит в поле, чем отличается данный случай от другого?
- Что означает данное слово или предложение, или действие в «нормальном» понимании?
- Что оно еще может означать?
- Где еще можно обнаружить подобные явления?

Генерирующие вопросы играют значимую роль в этом типе исследования: с их помощью *выдвигаются гипотезы, проводятся сравнения, формируется теоретическая выборка* и т.д. По ходу развития исследования решается вопрос о том, какие категории становятся самими значимыми, центральными, достигается *интеграция всего процесса*. Первые, предварительные попытки интеграции начинаются на начальных стадиях исследования за счет поиска связей между кодами и категориями. По мере продолжения исследования *процесс интегрирования* занимает все больший удельный вес в комплексе действий исследователя. Это касается и работы с мемос. В процессе развития исследования ученые приходят к необходимости *сортировки (классификации) мемос*, что делает их концептуально более «плотными», насыщенными. При этом первые мемос являются в гораздо меньшей степени интегрированными (т.е. содержат меньше обобщенной информации). На последних же стадиях значимость сортировки возрастает: здесь мемос должны суммировать предыдущие, быть более обобщенными и абстрактными одновременно.

Взаимосвязь трех важнейших элементов логики исследовательского поиска – сбора данных, кодирования и написания мемос – не может быть однозначной. Кодирование только что собранных данных может подвигнуть исследователя как к написанию мемос, так и к сбору новых данных. Сбор данных и кодирование, с другой стороны, могут привести к дополнительному кодированию уже соб-

ранных (и, возможно, уже проанализированных) данных. Рисунок 2 дает представление о взаимосвязи этих этапов.

В концептуально-индикаторной модели, направляю-



Рис. 2. Вариации последовательности этапов сбора данных, кодирования и написания мемос [30, с.24]

щей кодирование данных, поведенческие акты, события, наблюдаемые, описываемые в документах или полученные из интервью – выступают *индикаторами* концепта (понятия), которые аналитик выводит из них. В основе такой модели – постоянное *сравнение* индикаторов-данных между собой. Затем аналитик обозначает их как *индикаторы определенного класса событий или поведенческих актов*, т.е. кодирует их. Давая классу индикаторов название, он тем самым обозначает их как *категорию*, поднимает на более высокую ступень абстракции. После того, как получена категория, индикаторы-данные *сравниваются* уже с возникающим концептом. Проводя сравнение между дополнительными индикаторами-данными и кодами, категориями, аналитик оттачивает последние, чтобы они в наибольшей степени соответствовали данным.

В целом, в рамках каждого исследовательского проекта, и это подчеркивает А. Страусс [30, с.24], будет *особая*,

своя *собственная последовательность* шагов, которая зависит от:

- того, какие типы данных имеются в наличии, к каким можно получить доступ, и какие необходимы;
- характера интерпретаций, которым их подвергнет исследователь;
- опыта исследователя или исследователей;
- множества различных случайностей, которые влияют на исследователя;
- характера целевой аудитории, которой адресуются публикации;
- широты охвата и уровня обобщения, достигаемых в теории и требуемых исследователями.

Важнейшие операции «обоснованной теории». Важнейшей процедурой такого типа исследования является *кодирование данных*. Основу этой процедуры составляет так называемая *парадигма кодирования*, представляющая собой *спектр аспектов жизненных практик изучаемых людей*, которые исследователь должен учитывать при кодировании. Это своего рода *напоминание*, «подсказка» исследователю, *что важного, значимого* следует «искать» в данных, *каким образом их структурировать*. Парадигма кодирования, согласно А. Страуссу, включает в себя:

- условия,
- взаимодействия между акторами (деятелями),
- стратегии и тактики,
- последствия.

Найти *условия* чаще всего бывает достаточно легко, иногда даже сами интервьюируемые на них указывают, — нужно искать намеки в использовании таких слов, как «потому что», «так как», «как», «из-за». Сходным образом *последствия действий* могут быть выделены фразами типа «в результате», «из-за этого», «результатом было», «впоследствии оказалось». *Стратегии и более детальные тактики*, связанные со стратегиями, обычно не представляют трудностей даже для неопытного аналитика.

Взаимодействия также легко находить – они представляют собой те взаимодействия, которые происходят между и среди информантов и других людей. А. Страусс полагает, что при игнорировании элементов парадигмы кодирования проводимый процесс обобщения данных назвать кодированием в строгом смысле нельзя.

В целом, *процедура кодирования* в исследованиях этого типа представлена 3 своими составляющими:

- открытое кодирование,
- осевое кодирование,
- селективное (выборочное) кодирование.

Открытое – это самый *первый тип кодирования* данных, которое производит исследователь. В самом названии его заключена и основная организационная цель: *начать, приоткрыть исследование*. Открытое кодирование производится в процессе детального *тщательного анализа* полевой заметки, интервью или другого документа – *строка за строкой* (line by line), *слово за словом*. Такое подробное скрупулезное кодирование здесь – база, основа, «заземление» будущей обобщающей теории. Можно проводить кодирование по предложениям или параграфам или даже по всему документу наблюдения или интервью. Правда, такое кодирование лучше проводить тогда, когда уже есть несколько категорий и необходимо кодировать «окрестности». Интерпретации, полученные в процедуре открытого кодирования (коды), всегда – пробные, предварительные. Поэтому часть из них может быть признана ошибочной и отброшена на дальнейших этапах исследования.

Содержательная цель – *производство концептов*, которые кажутся адекватными собранным ранее. Концепты здесь – *называние, «наклеивание ярлыков»* слову, фразе, фрагменту текста. Несмотря на то, что эти концепты являются предварительными, они все же являются *толчками к выделению других элементов парадигмы кодирования*, дальнейшему структурированию данных. А. Страусс подчеркивает, что неопытные аналитики «вместо того, чтобы заниматься *выведением концептов*, делают простые помет-

ки на полях, которые не слишком отличаются от высказываний самих акторов» [30, с.30]. Он приводит следующий пример: «Медсестра говорит исследователю: «Когда пациент начал кричать, я, чтобы сохранить самообладание, покинула комнату». Данная фраза *аналитическим путем* может быть преобразована в «*профессиональное самообладание*» с добавлением примечаний и указанием *структурных условий*, угрожающих ее спокойствию, а также *тактик*, которые она использует для поддержания самообладания. Это может привести исследователя к написанию *мемос*, в которых немедленно поднимаются вопросы о *других* имеющих место условиях и тактиках, а также о *ситуациях*, когда тактика медсестры не приводит к успеху или когда нет возможности воспользоваться этой тактикой.

«Правила большого пальца» здесь следующие:

- ищите «априорные» (*in vivo codes*) коды, т.е. те, которые используют сами информанты. «Пыталась сохранить самообладание» – прекрасный пример априорного кода;
- дайте названия каждому коду (априорному или сконструированному). Вначале не заикливайтесь слишком на вопросе, подходящий ли это термин? – просто назовите код как-нибудь;
- при построчном анализе (*line by line*) задавайте как можно больше конкретных вопросов о словах, фразах, предложениях, действиях.

Процедура осевого кодирования предполагает *тщательный анализ*, проводимый *вокруг одной категории* (а не нескольких одновременно), и поиск элементов парадигмы кодирования. Термин «осевой» здесь означает «*вращение вокруг оси*» *одной категории*. Проводя такую операцию, исследователь начинает выстраивать плотную «ткань» из взаимосвязей вокруг «оси абсцисс» категории, которая является объектом его внимания. При этом аналитик должен прилагать все усилия, чтобы двигаться только к поставленной цели и не позволять «соблазнам» в виде различных кодов вмешиваться в данный процесс в высшей степени целенаправленного кодирования. В результате у исследовате-

ля происходит накопление знания о взаимосвязи между «осевой» категорией и другими.

Осевое кодирование начинается в период открытого кодирования, который обычно затягивается (хотя и не с первых интервью) и сохраняет значимость вплоть до того момента, когда аналитик сосредоточивается на центральных категориях и переходит к селективному (выборочному) кодированию.

Селективное (выборочное) кодирование есть систематическое кодирование в рамках центральной категории. Кодировать селективно означает, что аналитик сводит процесс кодирования *только к тем кодам*, которые связаны достаточно существенными связями с центральными категориями. Именно *центральная категория* теперь направляет дальнейший сбор данных в соответствии с теоретической выборкой. Селективное кодирование, как правило, происходит после того, как исследователь определил, какая категория или категории являются центральными в исследовании, т.е. после открытого и осевого кодирования.

Процедура написания мемос предполагает, что *первичные ориентировочные мемос*:

- должны носить организационный характер (сбором каких данных заниматься, где это делать и т.д.);
- или выступать в качестве напоминаний (не забыть сделать это...);
- или представлять из себя некоторую совокупность разрозненных идей;
- или содержать какие-то размышления с целью стимулирования воображения.

Процедура написания *дальнейших аналитических мемос* сводится к объединению результатов открытого или осевого кодирования, фиксированию взаимосвязи между крупными категориями, суммированию и интегрированию предыдущих мемос. Известный английский социолог Томас Флет рекомендует организовывать мемос следующим образом:

- указывать на каждом из них дату написания;

- писать отдельное мемо для каждой идеи или темы;
- озаглавливать их заголовками, которые бы помогали отнести мемос к разным уровням обобщения: код, категория [30, с.31].

Он предлагает также разделить структуру мемо на 3 уровня: сначала ответить на вопросы «Где источник кода?» и «Почему код возник в данном месте?» Затем найди смыслы кода. И наконец, указать, какой из многообразных смыслов кода можно выбрать для анализа. Для этого лист необходимо разделить на 2 колонки, в первой написать, *что код может означать*, во второй – *на что может указывать*.

Процедура выделения центральной категории сводится к поиску аналитиком такой категории, которая была бы связана с большинством других и соотносилась бы со всеми кодами (в идеале). Именно ей принадлежит основная роль в процессе интегрирования теории. Для этого аналитику нужно постоянно искать «основную тему», которая связана с главной проблемой изучаемой группы людей: «Что здесь происходит?» Таким образом исследователь быстро учится «чувствовать» центральную категорию.

В исследованиях типа «обоснованная теория» большое внимание уделяется процедуре построения *интегрирующих диаграмм*. Эти диаграммы используются на самом трудном, *итоговом этапе* процесса исследования, когда необходимо «собрать все в кучу», интегрировать результаты работы группы. Назначение таких диаграмм в следующем:

- они дают представление о том, *куда зашло исследование* по итогам сбора данных, кодирования и написания мемос;
- способствуют росту психологической уверенности исследователей в значимости своих результатов;
- помогают наглядно прояснить связи между кодами, а значит, обладают и аналитической пользой.

Интегрирующие диаграммы, как правило, изменяются в процессе развития исследования. Исследователи должны время от времени обращаться к такой диаграмме, чтобы за-

даться вопросом: «Что еще я не включил в нее?» По мере накопления знаний в процедуре исследования переделывается и диаграмма как *определенный зримый итог исследования*.

2. «История жизни» (life story) как тип качественного исследования

Общие положения. «История жизни» как целостная исследовательская стратегия направлена *на сбор и анализ рассказов о жизни, автобиографий*, вне зависимости от того, какими методами эти рассказы получены. Это могут быть и интервью (нарративное, лейтмотивное, свободное), взятое социологом у рассказчика-информанта (устная традиция), и личная автобиография, написанная самим рассказчиком (письменная традиция).

В центре этого типа исследования всегда стоит *индивидуальная жизненная траектория* от детства до старости, *индивидуальная судьба* во всем уникальном сочетании ее поворотов и изгибов. Рассказчик здесь в отличие от oral history описывает *свою собственную историю, свои этапы жизненного пути*, соотнося себя с другими людьми, социальными группами, *отождествляя себя с ними и выделяя одновременно*. Рассказ о жизни – это всегда особая доверительная информация о такой стороне человеческого мира, которая недоступна другим познавательным средствам.

Для социолога история жизни информанта – всегда «два реально существующих полюса человеческой жизни, индивидуальный и социальный» [33, с.125], всегда *связь между этими полюсами*. Социология, ориентированная на *познание типического в социальном*, рассматривает течение жизни конкретного человека *в обязательном соотношении с социальной жизнью*: ее событиями, писанными и неписанными правилами, причудливой взаимосвязью ее мозаичных элементов. Задача социолога в life story – *понять социальный контекст* индивидуальной жизни, т.е. «идентифицировать основные игры, в которые люди игра-

ют в рамках этого социального контекста, скрытые правила и ставки, внутренние механизмы и конфликтную динамику власти в этих играх» [34, с.15].

Важнейшей чертой рассказов о жизни, создающей «особость» этой стратегии, является их *темпоральность, вписанность во время*. Это создает уникальную возможность рассмотрения социальных явлений во *временной перспективе, в их процессуальности*, когда происходящие в них изменения (*социальная динамика*) соотносятся с *временными* рамками. При этом масштаб этих временных рамок может быть достаточно большим, включая и время жизни целого поколения.

Еще одна важная черта – это *укрупненный взгляд на действительность*, характерный для здравого смысла и обыденного языка. Именно этим, магией жизни без литературных украшений, человеческие документы завораживают. Н.Н. Козлова, изучая «плохопись» крестьянки Киселевой, пишет о соблазнительности такого материала для исследователя: «Они порождают искушение просто плыть по течению материала, ...трудно дистанцироваться и остановиться» [35, с.17].

Встроенность индивидуального в социум в исследованиях типа *life story*, на мой взгляд, может изучаться в *нескольких направлениях*:

1. *Изучение социальной обусловленности жизненных путей.*

Это прежде всего исследования профессиональных биографий социо-демографических когорт. Здесь в центре внимания – *социальные механизмы регулирования жизненных траекторий*, увязывающие возрастную дифференциацию, социально-классовое расслоение с кризисами в обществе и просто крупными историческими событиями.

2. Исследования, ориентированные на *реконструкцию личного опыта людей* (понимание смыслов их поведения), а также *способов их объяснения, толкования социальной реальности*. В исследованиях этого типа реализуется попытка «схватить» систему ожиданий и норм, предъявляе-

мых человеку (социальному актору) конкретной социально-исторической ситуацией. Здесь жизнь человека интерпретируется как некий ответ на вопросы, порождаемые ситуацией, в которую человек «заброшен». В каждой индивидуальной жизни, по мысли немецкого социолога М. Коли, осуществляется своего рода *отбор, селекция индивидуальной стратегии* из существующего спектра «типических правил». В этом ключе исследователя в истории жизни интересует, *при каких условиях* индивид «примеряет», перенимает типичную жизненную конструкцию, внося в нее индивидуальное своеобразие, *каким образом вообще складывается тот или иной социальный тип* (например, «советский человек», «диссидент», «мужчина»). К исследованиям этого рода можно отнести исследование сознания рабочего класса (Д. Берто), коллективного исторического сознания (Нитхаммер), исследование советского общества, предпринятое Н.Н. Козловой.

Сегодня считается, что «история жизни» как *социологическая исследовательская стратегия* «вышла» из знаменитого исследования иммиграции крестьян в Европу и США из Польши, произведенного американскими социологами У Томасом и Ф. Знанецки в 1920-е годы: один том из пятитомного труда «Польский крестьянин в Европе и Америке» целиком посвящен автобиографическим мемуарам, написанным по просьбе социологов польским крестьянином-иммигрантом Владеком Висневским. Заслуга исследователей состояла в том, что они подняли истории жизни до *серьезнейшего социологического* материала, сформулировав при этом соответствующую *методологическую* позицию: «Мы уверены, что личностные сообщения о жизни – полные, насколько возможно, *представляют лучший тип социологического материала*» [36, с.57]. Вместе с тем, в 30-е годы в США эта стратегия не выдержала конкуренции с классической методологией и прекратила свое существование.

Возрождение методологического интереса к этому типу исследования, на мой взгляд, следует связывать с рабо-

той Д. Берто «Биография и общество», вышедшей в 1981 году. Эта работа сделала «историю жизни» предметом дискуссии в мировом социологическом сообществе, поставив на обсуждение методологические проблемы этой стратегии и качественного исследования в целом.

Методологические подходы к историям жизни. Исторически (хотя это и совсем недавняя история) можно выделить несколько методологических подходов к анализу историй жизни.

В рамках *первого, близкого к классическому*, история жизни – это идеальный материал для того, чтобы выяснить, что *существует на самом деле*, и что *на самом деле произошло в обществе*. Здесь рассказы о жизни – это правдивый материал о том, «что люди сделали, где, когда, с кем, и в каких локальных контекстах, с какими результатами и что из этого последовало» [34, с.14]. Современный финский исследователь Й.П. Руус иронично называет этот подход «обретенным раем» для социолога [37, с.7]. Этот подход, по его мнению, был характерен для конца 70-х – начала 80-х годов XX века.

Уже с середины 80-х социологическим сообществом начинает осознаваться, что ничто в мире из того, что мы видим и описываем, *не предстает перед нами таковым, каким оно существует на самом деле*: наше восприятие всегда опосредовано через то, *как мы видим мир* в настоящее время. Это означает, что история жизни – *это и репрезентация автора, его видения ситуации*. В *экстремальном постмодернистском* варианте это означает, что не существует фактов, есть только лишь интерпретации: «факты» уже не являются фактами, но лишь фигурами текста («означающие» – слова потеряли связь с «означаемым» – реальностью).

Эта проблема *разрыва между жизнью и историей жизни*, рассказанной или написанной, очень точно обозначена П. Бурдые в его работе «Биографическая иллюзия», написанной в 1986 году [38, с.75–81]. Само сочетание «история жизни» предполагает, по мнению П. Бурдые, рас-

смотрение *жизни как истории*, то есть как «неразрывной совокупности событий некоторого индивидуального существования» [38, с.75], которое одновременно и история, и рассказ об истории. С этим нельзя не согласиться. Французский социолог полагает, что такое понимание жизни характерно для *здорового смысла* с его метафорами дороги, пути, перекрестков, начала, конца применительно к жизни. Незаконно проникнув в науку, по его мнению, и став научным термином, *история жизни* как исследовательская стратегия базируется на некоторых имплицитных допущениях, которые, с его точки зрения, *иллюзорны*. Прежде всего иллюзорно идущее от философии экзистенциализма представление, что жизнь составляет *некое целое, связную и направленную совокупность*, некий изначальный *проект*. Напротив, тут Бурдьё, солидаризируясь с А. Роб Грийе, полагает, что «реальность *прерывна*; она состоит из произвольно наложенных друг на друга элементов...», которые «появляются *неожиданно, без объяснений, случайно*» [38, с.77].

Рассказанная история жизни, и здесь Бурдьё прав, – это всегда *конструирование жизни*, «*иллюзия*», «*артефакт*» (термины Бурдьё – А.Г.), всегда попытка *связать воедино* разрозненные элементы своей жизни, найти в ней смысл, увидеть (сконструировать) причины и следствия тех или иных ее поворотов (слово «поворот» как будто само соскочило у меня с языка, еще раз подтверждая правильность мысли о представлении в повседневном сознании жизни как дороги – А.Г.). Правда, с общим пафосом этой статьи, скорее «настоенном» на недоверии к «истории жизни», вряд ли можно согласиться: искусственность, «иллюзионность», сконструированность истории жизни, которая так смущает П. Бурдьё, «обговоренность» мира в целом – это и есть та *социальная реальность, в которой мы живем, и другой не дано*.

Для теоретического анализа этой проблемы, мне кажется, уместно использовать принцип «*объективной ошибки*», впервые обозначенный М. Мамардашвили и А. Пяти-

горским в работе «Символ и сознание», и детально проанализированный Ю. Разиновым в работе «Я как объективная ошибка». Он «означает принцип определения объектов, функционирующих *посредством высказывания о самих этих объектах* и существующих в качестве фактов языка, то есть объектов с *особым онтологическим статусом*» [39, с.130]. Объективная ошибка состоит в том, что мы оперируем *представлениями о сознании* как объектами с наблюдаемыми характеристиками (на самом же деле, с *квазиобъектами*). При этом мы совершаем ошибку *намеренно*, понимая, что таковы правила игры: «когда мы говорим, что какая-то часть сознания нами приравнивается к действительному положению вещей ... мы допускаем в качестве универсального позитивного принципа, что возможна ошибка, но *мы должны и будем ей верить*» [40, с.30]. Нарочитая двусмысленность термина «*объективная ошибка*», его «кентавричность» призвана описывать такие объекты, «внутренняя природа которых не схватывается в дихотомическом членении на «субъект» и «объект», «бытие» и «сознание» ... и может быть описана только путем *парадоксального смещения терминов*» [39, с.133]. Объективная ошибка возникает как *необходимый элемент* общественной связи, *структурирующий саму эту связь*. Ее объективность состоит в том, что она задает *форму объекта до самого объекта, форму отношения до самого отношения, форму мысли до самой мысли*. В то же время это ошибка, действующая на уровне самой социальной действительности, когда субъект «работает» с квазипредметами, иллюзиями, фикциями, *как будто они являются настоящими*, причем само это оперирование имеет для индивида *прагматический смысл*, значимо для него.

Применительно к «истории жизни» для информанта это означает, что *рассказанная жизнь*, воспринимается в естественной установке сознания как *изначальная и самодовлеющая реальность*, связывающая человека с обстоятельствами его жизни, как объективная и необходимая форма, имеющая своим следствием *структурирование са-*

мой жизни, придание ей целостности, связности. Для исследователя, на мой взгляд, использование принципа «объективной ошибки» означает принятие тезиса о невозможности противопоставления реальной жизни рассказу о ней, признание того факта, что история жизни и сама жизнь тесно переплетены, накладываются друг на друга, создавая ту самую социальную реальность, в которой мы живем, совершаем поступки и много не дано.

Кроме того, недоверие П. Бурдые к «истории жизни» основано еще и на том его убеждении, что рассказ о жизни, по его мнению, стремится приблизиться к *официальной модели самопредставления*, зависит от *господствующего дискурса биографий* и поэтому мало что дает социологу. На мой взгляд, этот тезис *верен лишь отчасти*. Мой исследовательский опыт показывает, что все эти моменты могут до известной степени быть минимизированы за счет искусства (техники) исследователя. Да и опыт других исследователей – Н.Н. Козловой, например, – убеждает, что *власть господствующего дискурса биографий не абсолютна*: она скорее проявляется в текстах автобиографий образованных людей, знакомых с литературной нормой, и практически отсутствует в «наивных» документах [35].

В целом, к середине 80-х годов в социологическом сообществе все более начинают осознаваться следующие принципиальные для «истории жизни» моменты:

1 – текст первичен, т.е. исследователь имеет дело с текстом, а не с реальной жизнью;

2 – нарративность, понимаемая как ориентация на понимание слушателем, читателем, является чрезвычайно важным фактором автобиографии;

3 – между автором, его «Я» и текстом существуют напряженные отношения;

4 – существует проблема идентичности «Я» рассказчика (множественность идентичностей, углов зрения и т.д.);

5 – существует множественность уровней авторов и аудиторий.

Так сформировался принципиально *другой методологический подход – интерпретативный*. В рамках такого подхода собственная биография, рассказанная автором, – это *конструирование реальности «здесь и сейчас» в процессе рассказывания*, которое одновременно – и *представление себя другим* (вспомним И. Гофмана – А.Г.), демонстрация себя, и *поиск смысла* собственной жизни, связей, ее упорядочивающих.

В рамках интерпретативного методологического подхода можно выделить *три типа «конкретизации субъекта»* в «истории жизни» [33, с.124]:

- субъект в *качестве реально интервьюируемого*, как участник процесса взаимодействия с интервьюером, или субъект коммуникации (письменная автобиография), ориентированный на подразумеваемого читателя;

- субъект – *герой, персонаж рассказа*;

- субъект – *рассказчик истории*, которую он рассказывает *сегодня*.

При этом каждая из этих конкретизаций относится в истории жизни к *одному и тому же лицу*, но каждая, тем не менее, занимает *особое место* в структуре повествования.

Сегодня интерпретативный подход к историям жизни является общепризнанным. В то же время, внутри него наметились тоже *два подхода*.

Сторонники *первого*, назову его, вслед за Д. Силверменом, *реалистическим* (см. главу 3), полагают, что через *субъективные* жизнеописания все-таки можно получить «если не полностью объективное описание и объяснение социальных феноменов, то, по крайней мере, их «плотные описания». Здесь налицо интенция увидеть *гомологию, соответствие* между жизнью и рассказом о ней. Й.П. Руус, например, реализуя эту линию, полагает, что «тексты автобиографий ничего не представляют собой до тех пор, пока мы не предоставим им *кредит реальности*, чего-то существующего вовне, что эти тексты стараются описать более или менее адекватно, и что мы пытаемся понять и сделать понятным другим в коммуникации» [37, с.8]. Финский со-

циолог считает, что анализ историй жизни в этом ключе можно производить, исходя из 4 базовых понятий, тесно связанных друг с другом: *контекст*, *аутентичность*, *референциальность* (соотнесенность) и *рефлексивность*.

Контекст здесь означает *условия* и *структуру значений* автобиографии, как она явно (чаще неявно) выражена автором. Главная проблема здесь – в обозначении *уровня той ситуации*, которая может считаться *контекстом* конкретной автобиографии: является ли контекст только *конкретными* условиями, субкультурой группы, в рамках которой только и можно понять автобиографию? Или контекст следует понимать *широко* как «знание прошлого или вариантов и репертуаров действия, мысли и чувства в окружающей среде, в серии повторяющихся ситуаций, институциональных условий» [41, с.73]. Фактически здесь контекст выступает *синонимом культуры* в целом.

Могут ли в качестве контекста рассматриваться крупные социальные события: войны, революции, трансформации социума? Как соотносятся между собой социальный и культурный контексты? Или проще искать «социально-культурный контекст», понимая под этим *сплав социально-культурных условий*, выступающих *условием понимания* отдельной конкретной судьбы? Видимо, права Г. Андреева, что внятного ответа на этот вопрос сегодня нет [42, с.21], хотя и существует верная, на мой взгляд, позиция, что отождествление контекста с культурой возможно лишь в слабо дифференцированных сообществах [41, с.73]. Следует сказать, что сами авторы могут не осознавать контекст своих повествований. *Задача социолога – создать (сконструировать) контекст, чтобы понять сказанное, придать ему значение*. При этом *уровень* этих контекстных условий в конкретном исследовании задает, выбирает *сам исследователь*.

Аутентичность представляет собой попытку автора представить свою жизнь наиболее реалистическим способом. Эта характеристика предполагает, что автор знает о событиях и отношениях прошлой жизни и хочет о них рассказать. Аутентичность в конечном итоге – это правдопо-

добность рассказа. Исследователь, анализируя текст рассказа, должен прежде всего выбрать наиболее аутентичные его части. Точно так же следует отбирать наиболее аутентичные рассказы из всех анализируемых¹.

Референциальность (отнесенность) означает отнесенность к определенным событиям, действиям в социальной реальности, что, как правило, повышает правдоподобие рассказа. *Рефлексивность* означает, что в рассказе следует выделять автора как *рассказчика истории*, который *смотрит на себя со стороны*, меняя угол зрения, уровень рассмотрения. Вот, например, как выражается рефлексивность в рассказе: «Я могу сказать теперь задним числом, что то-то было плохо», или «Если бы я знал тогда то, что знаю сейчас». Рефлексивность – это еще и мотивация рассказчика: почему он рассказывает историю так, а не иначе. В тексте она может быть выражена так: «Это важно для меня, потому что...».

На мой взгляд, в рамках такого «объективистского» подхода «возможны варианты»:

1. Анализируется *одна история жизни конкретного человека*, где реконструируется его личный опыт проживания, «переживания» жизни, «встроенный» в социальное время, в социальный контекст². В отечественной социологии примером подобного рода может служить исследование истории жизни бомжа, осуществленное В. Журавлевым [43], а также исследование Е. Здравомысловой истории жизни петербургского социолога Э. Фомина [44, с.24].

Применительно к *истории семьи* прекрасным примером может быть известное исследование Д. Берто, посвященное *анализу социальной мобильности*: через историю одного рода на протяжении четырех поколений, записанную в одном маленьком городке в центре Франции в 1987

¹ Конечно, существуют приемы, делающие рассказ более аутентичным, правдоподобным, однако, как правило, в автобиографиях они практически не применяются – это делают чаще всего профессиональные писатели.

² Это может быть и история одной семьи.

году, исследователь пытается понять механизмы трансляции социального статуса во французском обществе [45, с.119].

2. Анализируется *ряд историй жизни, или семейных историй*, принадлежащих к одной и той же социальной среде. По мнению исследователей, в подобного рода исследованиях *за счет сравнения разных жизненных историй* достигается *большая обоснованность выводов*. Как правило, количество историй жизни, необходимое для этого, колеблется в пределах от 20 до 50. В отечественной социологии к исследованиям *историй жизни* такого плана можно отнести исследование маскулинности, проведенное Е. Мещеркиной в 1995 году [46], а также исследование Е. Фотеевой, посвященное анализу социальной адаптации состоятельных семей в России после революции 1917 года [47].

В рамках *второго подхода – нарративного* (см. главу 3) – акцент делается на том, *каким образом* рассказчик объясняет те или иные свои поступки, на *схемы объяснения*: известно, что любой рассказ ориентирован на слушателя, и потому рассказчик использует схемы, *понятные* слушателю, т.е. присутствующие в культуре и потому понятные. Отсюда по «решеткам» объяснения можно реконструировать и «большие нарративы», т.е. представления, распространенные в обществе в той или иной культурно-исторической ситуации.

3. Автоэтнография как тип качественного социологического исследования

Общая характеристика. Автоэтнография как целостная исследовательская практика совсем не анализировалась в отечественной социологической литературе: нет ни одной публикации, где бы просто звучал этот термин. Вместе с тем, в последние годы в западной социологии, и прежде всего американской, познавательные возможности качественного исследования этого типа активно обсуждаются [48]; [49]; [50]. Более того, сегодня именно автоэтнография,

являясь, на мой взгляд, *самой радикальной* качественной исследовательской практикой, выступает мишенью для «ударов» со стороны критиков качественной методологии: проблемы качественного исследования, так или иначе «сглаженные» в этнографии или «истории жизни» (прежде всего за счет, видимо, Куновской нормальности, большей привычности к ним социологического сообщества), здесь выступают *вытукло, зримо*. Автоэтнография, может быть, единственная из практик, самым своим существованием поставившая принципиальнейший вопрос: куда идет социология? Каковы должны быть ее контуры в XXI веке?

На мой взгляд, сегодня можно выделить ряд основных признаков автоэтнографического исследования. Прежде всего, как «*дитя*» этнографии, автоэтнография наследует «родительские» черты, лишь перекраивая некоторые из них, и создавая тем самым свою особость, непохожесть. В частности, в автоэтнографии (по крайней мере, в значительной части автоэтнографических исследований) остается неизменной этнографическая ориентация на *познание культур* самых разнообразных общностей (типических смыслов, ожиданий, норм) через изучение *единичного*, конкретных повседневных практик. Вместе с тем единичным здесь выступает *сам исследователь*, его опыт, чувства, мысли, его повседневная жизнь в целом. Главный лозунг этнографического подхода, так точно выраженный М. Хаммерсли, – «*сделать знакомое неизвестным*» [11] здесь обнаруживает еще большее напряжение: исследователь должен рассмотреть «себя любимого» в качестве неизвестного, другого, чужого, удивиться, «остранить» себя, если воспользоваться термином В. Шкловского. Вместе с тем автоэтнография – это всегда *сопряжение личности исследователя и культуры*, к которой он принадлежит, всегда соотнесение индивидуального опыта с социальным контекстом, попытка заглянуть *внутрь себя*, чтобы сделать обобщения. Социолог здесь «внимательно вглядывается в себя через широкие этнографические линзы, чтобы сосредоточиться в

конечном итоге на социальных и культурных аспектах личного опыта» [48, с.738].

Остается в автоэтнографии и стремление к более *подробной, детальной, всесторонней* репрезентации реальности, только здесь тщательно и скрупулезно изучается *собственный мир* исследователя, момент за моментом конкретизируются *детали его* жизни. Для этого есть два пути: *первый* – вести полевые заметки, касающиеся собственной жизни. Это могут быть ретроспективные записи, относящиеся к прошлому, когда текст организовывается хронологически вокруг главных жизненных событий. Здесь автор из своей *сегодняшней ситуации* (текущей перспективы) оценивает прошедшее, пережитое. Вот как об этом пишет один из исследователей автоэтнографии американский социолог А. Бочнер: « Я пытаюсь писать ежедневно, перечитывая то, что я написал днем раньше, потом переживая новые воспоминания [48, с.752]. Возможен и другой вариант: исследователь рассказывает свою историю жизни, как будто берет *нарративное интервью у самого себя*. В любом случае нюансы, детали прошлого «всплывают», если исследователь способен совершить так называемый *эмоциональный вызов*, то есть эмоционально перенести, «включить» себя в то время и в то место, о котором рассказывает. Главная проблема здесь – как *выйти* из этого состояния, чтобы проанализировать написанный текст или транскрипт интервью и тем самым вписать свой собственный эмоциональный опыт в культурные координаты (если, конечно, социолог ставит перед собой такую задачу).

Акцент на методе *включенного наблюдения*, характерный для этнографического исследования, когда социолог «включается» в изучаемую ситуацию в качестве ее участника, стремящегося понять других в естественных условиях, в автоэтнографии преобразуется в *самонаблюдение, самоанализ*. В отличие от традиционного включенного наблюдения исследователь погружается здесь в *свой собственный мир естественных установок*. Идея возвращения исследователя в изучаемый процесс как принципиальная

идея качественного исследования здесь, кажется, достигла своего предельного выражения: субъект и объект исследования *физически сосуществуют в одном лице*. При этом исследователь как *объект исследования* интересен прежде всего своим *дореклексивным опытом*, «жизненным миром», «конструктами первого порядка», в терминологии А. Шюца, с помощью которого он, как и другие люди, совместно с другими людьми, конструирует окружающий мир как само собой разумеющийся, непроблематичный. Здесь все психические переживания как бы сплетены с вещами мира. В этой ситуации эмоциональный опыт не «видит» себя. Язык выражения такого опыта – повседневный, обыденный язык нормального человеческого общения.

Вместе с тем в качестве *субъекта* исследовательского процесса социолог, изучающий *самого себя в социальном контексте*, обречен на положение *вне собственного эмоционального опыта*, на рефлексивность, «говорящую» на языке исследовательского комментария или мини-теории. Как возможно такое соединение, кажется, несоединимого, как возможна саморефлексия, разговор с собой одновременно в двух регистрах?

Надо сказать, что феномен саморефлексии как особый процесс проблематизации сознанием *собственных установок*, стереотипов начал изучаться еще в античную эпоху, в тот ее период, «осевую» эпоху истории (VIII–II вв. до нашей эры), когда традиционное, мифологическое сознание стало подвергаться критике. Именно тогда, по мнению К. Ясперса, «сознание осознавало сознание, мышление делало своим объектом мышление. В эту эпоху были разработаны категории мышления, которыми мы мыслим по сей день» [51, с.33]. Джон Локк, впервые сделавший рефлексией самостоятельным объектом исследования, под рефлексией понимал «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности» [52, с.155]. Рефлексия, по Локку, составляет сферу так называемого «внутреннего опыта», существующего на основе опыта

«внешнего». Вслед за Локком Э. Гуссерль, считавший рефлексию «фундаментальной особенностью сферы переживания» [53, с.160], доказал, что эмоциональный опыт, психические переживания содержат *принципиальную возможность* рефлексии, при которой «внутреннему созерцанию» становится доступен чистый поток переживаний со всем многообразием его содержания. Вслед за феноменологической философией целый ряд крупнейших социально-философских течений добавили в «копилку» доказательств этой возможности.

Во-первых, прагматизм, а вслед за ним и символический интеракционизм убедительно показали, что социальная жизнь – это непрерывно творимый продукт повседневных взаимодействий людей друг с другом, с необходимостью включающий в себя и *интеракцию с самим собой*, производство самосознания: *все, что человек говорит другому, он говорит и самому себе*. Более того, как я уже говорила, анализируя символический интеракционизм как теоретический источник качественной методологии, осознание самого себя потому и возможно, что в сознании каждого из нас присутствуют *воображаемые Другие*, глазами которых мы вглядываемся в себя, формируем критерии оценки собственной персоны. Как формулирует Дж. Г. Мид, «только принимая роли других, мы способны возвращаться к себе» [54, с.253].

Во-вторых, этнометодология, феноменологическая и драматургическая социологии (И. Гофман) убедили нас в том, что каждый человек строит свое взаимодействие, ориентируясь на *ожидания Другого*, реального или виртуального участника коммуникации (или Других), стараясь *быть понятным* ему. Применительно к предмету нашего разговора это означает, что именно эти *воображаемые Другие* (в нашем случае это будущие читатели) в значительной степени определяют и то, *что рассказывается*, и то, *как рассказывается*. Так, стремясь быть понятым «человеком с улицы», погруженным в ту же самую ситуацию, что и он сам, исследователь становится рассказчиком соб-

ственной истории на *обыденном языке*, интуитивно используя «решетки объяснений» (frames of explanations) [55, с.124], распространенные в культуре (или субкультуре) той общности, к которой принадлежит и он, и будущий рядовой читатель. В то же время ориентация на ожидания и оценки *собратьев по цеху* соответственно требует рефлексии, а точнее саморефлексии, выраженной на языке *теоретических понятий* и использующей *иные* схемы объяснения.

Такие разные автоэтнографии. Сегодня автоэтнографическая исследовательская практика существует под разными именами: личностный нарратив (personal narrative) [56, с.165–172], нарратив себя (narrative of the self) [57, с.516–529], самоистория (self story) [58], персональная этнография (personal ethnography) [59, с.158–170], самонаблюдение (auto-observation) [60, с.377–392], жизненный опыт (lived experience) [59], побуждающий нарратив (evocative narrative) [62, с.307–324], эмоционализм (emotionalism) [63], исповедальный рассказ (confessional tale) [64] и т.д.

Анализ представленных в литературе под этими именами исследовательских практик позволяет сделать вывод, что за *различиями* в названиях стоят не только и не столько лингвистические предпочтения авторов, сколько их *разные методологические установки* относительно *смысла и назначения* качественного исследования, его *языка и образа* результата. Попытка *реконструкции* этих оснований – достаточно сложная, но тем не менее важная, на мой взгляд, задача исследователя, дающая возможность хоть какого-то упорядочивания всего того многообразия автоэтнографий, которые сегодня используются в практике социологических исследований.

Я полагаю, что все реальное богатство автоэтнографий может быть «уложено» в плоскость, определяемую, в большинстве своем, *двумя континуумами*, связанными друг с другом: континуумом *цели исследования* с полюсами «простое описание» – «аналитическое описание» и конти-

нуумом уровня обобщения с полюсами «индивидуальный опыт исследователя» – «культура».

Установка социолога на *аналитическое* описание, на *рефлексию* предполагает вписывание его индивидуального опыта в *культуру, социальный контекст*, соответственно определяя и результат такого исследования в виде комментария или мини-теории. Образно говоря, здесь исследователь *изучает себя*, чтобы *изучить других*. При этом он рассматривает себя скорее в качестве *типичного* объекта, одного из «носителей» изучаемой проблемы при всей уникальности его личностного опыта. Главная цель такого исследовательского процесса – *анализ, объяснение* изучаемого социального явления: через *субъективно значащий мир*, через смыслы, которыми исследователь как *рассказчик истории* наделяет те или иные события *своей жизни*, создается мини-теория (или комментарий), объясняющая социальный феномен в терминах *внешних социальных структур*. Результат такого рода исследования, как я уже говорила ранее, – равновесный сплав двух позиций (голосов), сочетающихся здесь, правда, в одном лице: *рассказчика истории и аналитика собственной истории*, ее интерпретатора. Автоэтнографическое исследование такого плана следует отнести, видимо, к *научному или тяготеющему к научности* направлению качественной социологии в рамках предложенной мной типологии, хотя это и не нововременная форма научности. Главная направленность подобного рода исследований – *приращение знания* о малоизученных или вовсе неизученных социальных явлениях.

Популярна сегодня и принципиальна другая направленность автоэтнографического исследования, которую, я полагаю, надо назвать *поддерживающей, помогающей*¹. Установка исследователя на *помощь читателю*, который погрузившись в сходный опыт переживания исследовате-

¹ Многие авторы используют термин «терапевтическая», который мне кажется неудачным, так как ассоциируется с психотерапевтическим воздействием, не имеющим ничего общего с качественным исследованием.

лем той или иной ситуации, получает своего рода *эмоциональную поддержку*, обуславливает и образ результата такого исследования. Итогом здесь выступает сама *история исследователя, простое описание* им пережитого, прочувствованного «куска жизни», т.е., простое описание его личностного, эмоционального опыта. При этом акцент делается именно на воспроизведении прежде всего эмоций, страстей, лежащих в глубинах опыта. Здесь исследователь изучает себя, чтобы *пригласить читателя в авторский мир*, вызвать у него те или иные чувства, помочь ему соотнести себя с другими.

В отличие от научной или тяготеющей к научности автоэтнографии, для которой характерна метафора К. Гиртца «*обобщение сквозь случай*», в «помогающей» автоэтнографии обобщение происходит *внутри случая*. История, рассказанная исследователем, здесь *принципиально свободна от научного жаргона и абстрактной теории*. Здесь сознательно поощряется альтернативность прочтения и множество интерпретаций. История исследователя «скорее *продолжается читателем*, чем анализируется, скорее *рассказывается и пересказывается*, чем теоретизируется, скорее происходит «*приглашение к разговору*, продолжение темы, чем ее конец, завершение» [48, с.744]. Читатель здесь – *соавтор, соучастник диалога*, который в интерпретации «вписывает» историю исследователя в свой эмоциональный опыт. На мой взгляд, ярче всего «помогающий» характер такого этнографического исследования выражен в одном из названий этой исследовательской практики: *побуждающий нарратив* (evocative narrative). Речь идет о побуждении читателя к эмоциональному отклику, в конечном итоге оказывающему на него благотворное воздействие, помогающему ему. Нарративы болезни, например, как одна из распространенных автоэтнографических практик, написанных, как правило, людьми, *победившими* болезнь, направлены на ослабление стигматизации и маргинализации больных людей [65]; [66]. Их главное назначение – сопротивление идентичности жертв, беспомощных людей, столь

характерной для больных. Такие нарративы больше о том, *как жить, нежели о том, как знать*, как точно выразился американский исследователь М. Джексон [67]. Цель такого рода автоэтнографии – не столько познание, сколько *определенный эмоциональный отклик*, и как следствие – *переопределение ситуации*, стимулирующее и иное поведение. Такую разновидность автоэтнографии, на мой взгляд, можно отнести к *гуманистическому* направлению качественной социологии в предложенной мной типологии.

«Побуждающая», «помогающая» автоэтнография фактически ломает границы, сложившиеся между литературой и социальным знанием. Неслучайно споры о том, литература это или социология, практически не стихают. Вместе с тем различия между этими формами знания, видимо, связаны с тем, что беллетристика прежде всего имеет дело с *вымыслом*, в то время как в автоэтнографии представлена *подлинная реальная история* исследователя (конечно, так, как она им переживается). Кроме того, литература добивается эмоционального отклика специальными средствами, искусными приемами: сюжетной линией, конструированием художественных образов, авторским стилем, в то время как автоэтнография, как правило, безыскусна. Конечно, *побуждающий эффект* может присутствовать и в автоэтнографии *научной ориентации*: теоретический текст, описывающий или объясняющий тот или иной феномен, так же способен подтолкнуть рядового читателя к осмыслению или переосмыслению своего видения, вызвать определенные чувства, мысли (правда, если текст будет ему понятен). В то же время «помощь» читателю здесь *второстепенна*, она скорее незапланированное действие, чем сознательно поставленная цель.

Возможен сегодня и еще один, так называемый *постмодернистский* вариант автоэтнографии в типологии, предложенной мной. В *постмодернистских* автоэтнографических текстах собственная история осмысливается исследователем на художественном, поэтическом языке с его образностью, ассоциативностью, метафоричностью, мгно-

венными откровениями инсайта: считается, и я уже об этом говорила, что ни теоретические понятия, опирающиеся на формальный аппарат логики, ни обыденный язык повседневного общения не способны «схватить» ускользающее, хаотическое, бессмысленное, фрагментированное с точки зрения постмодернизма бытие. Здесь грань между литературой и социологией делается, видимо, еще тоньше. Назначение таких текстов – не только эмоциональное включение читателя в исследовательский мир, побуждение его к эмоциональному отклику, но, видимо, и ответ на *экзистенциальную потребность автора* в творчестве, познании самого себя, придании смысла собственной жизни¹.

К автоэтнографии в целом сегодня есть немало претензий, раздающихся прежде всего из «стана» «количественников». Первая сводится к тому, что самоистория дает жизнь структурам, которых нет в жизни и потому *«сочиняет» жизнь, конструирует* ее вместо того, чтобы правильно отражать. Вторая – в том, что автоэтнография представляет собой *«романтическое конструирование себя»* [68, с.335], приукрашивание, и потому не может быть отнесена к сфере строгой социальной науки. Фактически оба этих направления критики, на мой взгляд, демонстрируют *тоску по достоверности*, т. е. по *правильному, точному отражению* изучаемого социального явления, тоску по тому, чего *принципиально лишена качественная социология* как стоящая на *радикально иных, нежели классическая социология, методологических основаниях*. Вместе с тем, реализация *реалистического* подхода к автоэтнографическому тексту предполагает, что в нем все-таки *правдоподобно* «схватывается» социальное явление². При этом *правдоподобие* (а значит, и качество), *убедительность* исследовательской рефлексии самоистории повышается, если социолог ис-

¹ Подробно эта *экзистенциальная* сторона автоэтнографии, как и вообще качественного исследования будет проанализирована в главе 7.

² Я уже говорила о различиях в терминах «достоверность» и «правдоподобие» в главе 3.

пользует характерные для *любого* качественного исследования способы повышения его «хорошести»: триангуляцию, стремление к непротиворечивости и внутренней логичности теоретического описания¹.

Литература

1. Белановский С. А. Метод фокус-групп. М.: Изд. «Магистр», 1996.
2. Debus Mary. Handbook for Excellence in Focus Group Research. Academy for Educational Development, New York, 1997.
3. Ермакова Е.Е., Пацирковский В.В., Шереги Ф.Э. Повторные исследования в прикладной социологии // Социологические исследования 1982, №1.
4. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998.
5. Герчиков В.И. Социальное планирование и социологическая служба в промышленности. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1984.
6. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М.: Наука, 1986.
7. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Самара: Самарский университет, 2002.
8. Creswell J. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. London: Sage Publications, 1998.
9. Семенова В.В. Качественные методы: Введение в гуманистическую социологию. М.: Добросвет, 1998.
10. Hammersly M. and Atkinson P. Ethnography Principles in practice. London and New York, 1993.
11. Hammersly M. What is wrong with ethnography? The myth of theoretical description // Sociology. 1997. V.2 4.

¹ Следует заметить, что круг этих процедур здесь заметно снижен по сравнению с другими типами качественного исследования.

12. Романов П.В., Ярская-Смирнова Е.Р. «Делать знакомое неизвестным»: этнографический метод в социологии // Социологический журнал. 1998. №1–2.

13. Романов П.В. Социологические интерпретации менеджмента. Саратов: СГТУ, 2000.

14. Robson C. Real World Research: a Resource for Social Scientists and Practitioner- Researchers. Oxford: Blackwell, 1993.

15. Jin R.K. Case- study Research: Design and Methods. USA: Sage Publications, 1989.

16. Козина И.М. Особенности применения стратегии «исследование случая» при изучении производственных отношений на промышленном предприятии // Социология: 4М. 1995. №5–6.

17. Хоффман А. Достоверность и надежность в устной истории // Биографический метод. История, методология, практика. М.: Институт социологии, 1994.

18. Newman W.L. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Methods. Allyn and Bacon, 1994.

19. Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал, 1995.

20. Мещеркина Е.И. Жизненный путь и биография: преемственность социологических категорий (анализ зарубежных концепций) // СоцИс. 2002. №7.

21. Здравомыслова Е., Темкина А. Анализ биографического нарративного интервью в исследовании идентичности // Социальная идентичность: способы концептуализации и измерения. Краснодар: Изд-во Краснодарского университета, 2004.

22. Васильева Т.С. Основы качественного исследования: обоснованная теория // Методология и методы социологических исследований. М.: Институт социологии РАН, 1996.

23. Васильева Т.С. Обоснованная теория в поле качественного исследования // Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001.

24. Babchuk W. Glaser or Strauss? Grounded theory and adult education. // www.anrecs.msu.edu/research/gradp-96.html.
25. Strauss A. Social organization of medical work. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
26. Wuest J. Feminist grounded theory: An exploration of the congruency and tensions between two traditions in knowledge discovery. // *Qualitative Health Research*, 1995, №5.
27. Pandit N. The Creation of Theory: A Recent Application of the Grounded Theory Method. // www.nova.edu/ssss/QR/QR2-4/pandit.html.
28. Haig B.D. Grounded Theory as Scientific Method. // www.ed.uiuc.edu/eps/pes-Yearbook/95-docs/haig.html.
29. Annels M. Grounded Theory Method: Philosophical perspectives, paradigm of inquiry and postmodernism // *Qualitative Health Research*, 1996. №6. Aug.
30. Strauss A. Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: University Press, 1987.
31. Страусс А., Корбин Дж. Основы качественного исследования. М.: УРСС, 2001.
32. Glaser B. Basics of grounded theory analysis. Mill Valley. CA: Sociological Press, 1992.
33. Бургос Мартина. История жизни. Рассказывание и поиск себя // *Вопросы социологии*. 1992. № 1–2.
34. Берто Даниэль. Полезность рассказов о жизни для реалистичной и значимой социологии // *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ*. Материалы Международного семинара. Санкт-Петербург, 14–17 ноября 1996 г. СПб., 1997.
35. Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). М.: Институт философии, 1996.
36. Цит. по: Томпсон П. История жизни и анализ социальных изменений // *Вопросы социологии*. 1993. №1–2.
37. Руус Й.П. Контекст, аутентичность, референциальность, рефлексивность: назад к основам автобиографии // *Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ*. Материалы Международного семинара. Санкт-Петербург, 14–17 ноября 1996 г. СПб., 1997.

38. Бурдые П. Биографическая иллюзия // Inter. 2002. №1.
39. Разинов Ю. Я как объективная ошибка. Самара, Самарский университет, 2002.
40. Мамардашвили М.К., Пятигорский А.М. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. Иерусалим: Малер, 1982.
41. Голофаст В.Б. Ветры перемен в социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. №4.
42. Андреева Г.М. О «социологизации» социальной психологии в XX столетии // Социологический журнал. 2003. №2.
43. Журавлев В. История жизни бомжа // Судьбы людей: Россия XX век. М.: Институт социологии РАН, 1996.
44. Здравомыслова Е. «Земной свой путь пройдя до половины...» Судьба поколения на примере одной биографии // Невидимые грани социальной реальности. СПб.: «Стиль», 2001.
45. Берто Д., Берто-Вьям И. Наследство и род: трансляция и социальная мобильность на протяжении пяти поколений // Вопросы социологии. 1992. № 1–2.
46. Мещеркина Е. Введение в антологию мужской жизни // Судьбы людей: Россия XX век. М.: Институт социологии РАН, 1996.
47. Фотеева Е. Социальная адаптация после 1917 года: жизненный опыт состоятельных людей // Судьбы людей: Россия XX век. М.: Институт социологии, 1996.
48. Ellis C. and Bochner A.P. Autoethnography, personal narrative, reflexivity. // Denzin N. and Lincoln Y. (eds.). Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
49. Denzin N. K. Interpretive ethnography: Ethnography practices for 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage 1997.
50. Cohen A. Self-conscious anthropology. Okeely J and Callaway (Eds.) // Anthropology and autobiography. London: Routledge, 1992.
51. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
52. Локк Д. Сочинения: В 3 т. М., 1985. Т.1.

53. Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999. Т. 1.

54. Мид. Дж. Г. Аз и Я // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994.

55. Silverman D. Doing Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 2000.

56. Bochner A. Ellis C. Personal narrative as a social approach to interpersonal communication // Communication theory. 1992. №2.

57. Richardson L. Writing: a method of inquiry // Denzin N.K. and Lincoln Y.S. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

58. Denzin N.K. Interpretive biography. Neubury Park, CA: Sage, 1989.

59. Clauford L. Personal ethnography // Communication monographs. 1996. №63.

60. Adler P. A. and Adler P. Observational Techniques // Denzin N. K. And Lincoln Y. S. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

61. Van Maanen M. Researching lived experience: Human science for an action sensitive pedagogy. Albany: State University of New York Press, 1990.

62. Bochner A.P., Ellis C. and Tillman-Healy L. Relations as stories // Duck S. (Ed.) Handbook of personal relationships: Theory, research interventions. New-York: John Villy, 1998.

63. Gubrium J.F., Holstein J.A. The New Language of Qualitative Method. New York, Oxford: Oxford University Press, 1997.

64. Van Maanen. Tales of the field: on writing ethnography. Chigago: Chicago University Press, 1998.

65. Bulter S. and Rosenblum B. Cancer in two voices. San Francisco Sprenter, 1991.

66. Frank A. The wounded storyteller: Body, illness and ethnics. Chicago: Chicago Unniversity Press, 1995.

67. Jacson M. At home in the world. Durham: Duke University Press, 1995.

68. Atkinson P. Narrative turn in a blind alley? // *Qualitative Health Research*. 1997. №7.

МЕТОДЫ КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод означает способ видения и выговаривания действительности в такой же мере, в какой он конкретизирует техники и процедуры.

Дж. Габриум, Дж. Холстейн
Новый язык качественного метода

Метод – это не только путь, но и взгляд, и чувство

Н.Н. Козлова

Горизонты повседневности
советской эпохи (голоса из хора)

1. Интервью в качественном исследовании

Социологическое исследование, в каких бы методологических координатах оно ни осуществлялось как вид *познавательной деятельности*, с необходимостью включает в себя *методы сбора первичной информации*: способы, пути, дороги (если вернуться к исконному смыслу термина «метод»), ведущие к цели. Как известно, основные «универсальные» методы сбора социологической информации – это *интервью, анализ документов и наблюдение*. Универсальность их проявляется в том, что они применяются и в классическом, и в качественном социологическом исследовании, правда, чаще всего в *своих различных модификациях*.

Общая характеристика метода интервью. Сущностная характеристика этого метода, как, впрочем, и других опросных методов, используемых в социологическом исследовании, – *целенаправленное, «заданное»* социально-психологическое общение интервьюера (анкетера) и респондента (информанта). При этом для интервью характер-

но *непосредственное общение* интервьюера и респондента (информанта) [1, с.127–128]. Эта целенаправленность, заданность ситуации общения, на мой взгляд, проявляется в нескольких смыслах.

Во-первых, это общение продиктовано необходимостью сбора информации, и потому – это «*навязанное*» общение. Инициатором его всегда выступает интервьюер, в определенном смысле принуждающий к общению (побуждение, создание мотивации к участию можно рассматривать как «мягкий», деликатный вариант принуждения). В любом варианте – количественное ли оно или качественное – интервью всегда *псевдообщение*, фактически отбрасывающее общепринятые нормы житейского человеческого общения¹. Очень точно об этом сказала Элизабет Ноэль, современный немецкий социолог: «Интервьюер, как уличный торговец, ...отнимает время у опрашиваемого, прерывает его занятия, нарушает планы проведения свободного времени... Он, как правило, чужой человек, ...начинает задавать вопросы о сугубо личных делах, о состоянии здоровья, доходах, о планах на будущее, политических взглядах, о пережитом в молодости..., всю беседу ведет по «схеме», нарушая при этом все нормы общения между культурными людьми» [2, с.50]. *Во-вторых*, *содержательно* ситуация общения здесь задается целями и задачами исследования (исследовательскими вопросами), выстраивается в соответствии с ними. *В-третьих*, такое общение предполагает наличие *определенных ролей* в его процедуре, хотя их содержание может и меняться в различных видах интервью: роль коммуникатора (сообщающего информацию) и реципиента (воспринимающего информацию).

Метод интервью сегодня очень популярен в социологической практике. Это объясняется прежде всего его *универсальностью*: с его помощью можно получить информа-

¹ Конечно, прежде всего это касается интервью, используемого в *классическом* социологическом исследовании. Качественное интервью стремится преодолеть эту искусственность, «сгладить» ее, хотя не может ее преодолеть в принципе.

цию о прошлом, настоящем и будущем изучаемых людей (в качественном интервью – это переживание прошлого, настоящего и будущего), субъективную и поведенческую информацию. Конечно, изучать поведение людей можно и целенаправленно наблюдая за ними, т.е. используя метод наблюдения. Вместе с тем, наблюдая в качестве стороннего наблюдателя, очень трудно «проникнуть» в субъективный мир человека, мир его переживаний, чувств, оценок, планов, мотивов тех или иных поступков, стереотипов. Только опросные методы, и прежде всего интервью, дают исследователю такой шанс.

Кроме того, в интервью, *в отличие от анкетного опроса*, в живом общении «лицом к лицу» с респондентом (информантом) интервьюер *имеет возможность наблюдать его отношение к опросу*, его поведение в процедуре интервью. Здесь, по мнению известного исследователя этого метода Г.А. Погосяна, «каждое интервью может одновременно стать *исследовательским актом*, в котором интервьюер предоставляет дополнительную информацию» [3, с.50]. В частности, оценивая поведение респондента по шкале искренности, можно сделать вывод о достоверности получаемой информации, что очень важно, если исследователь работает в классической методологии. Оценивая поведение информанта *в качественном интервью*¹, можно фиксировать в заметках на полях текста невербальные проявления отношения к рассказываемому, недомолвки, умолчания, эмоции. Все эти «фигуры отношения» помогут исследователю потом при обработке текстов интервью лучше понять информанта, легче «пробиться» за завесу видимого, часто контролируемого различного рода табу, к тому, что российский исследователь В. Голофаст называет «третьим слоем повествования» – к тайной, открыто не манифестируемой стороне его жизни [4].

¹ Термин «качественное интервью» здесь используется как обобщающий, собирательный, заменяющий собой все разнообразные виды интервью, используемые в качественном исследовании.

Виды интервью. В социологической практике используется широкий спектр интервью, которые «укладываются» исследователями в десятки классификаций, сконструированных по самым разным основаниям. Причем довольно часто практически одни и те же виды интервью маркируются разными терминами, создавая «головоломки» для начинающего социолога. Вместе с тем, сегодня, на мой взгляд, можно выделить ряд «бесспорных» классификаций, созданных по следующим критериям:

- 1) *способ организации интервью.* Здесь выделяются *индивидуальное* интервью, где источником информации выступает *индивид*, и *групповое*, когда одновременно опрашивается *группа людей*;
- 2) *характер общения.* Здесь выделяются *непосредственное «очное»* интервью, и *телефонное* интервью, где общение опосредовано техникой [5, с.207–223]; [6, с.141–159];
- 3) *специфика источника информации.* Здесь можно выделить интервью с *массовым респондентом* и *интервью с экспертом*: специалистом, компетентным человеком, знатоком в определенной области знания или сфере деятельности;
- 4) *особенности процедуры* интервью. По этому критерию выделяется интервью *интенсивное* (глубинное) [7] и *фокусированное* [8];
- 5) *степень формализации, стандартизации и структуризации* интервью как *комплексный критерий*.

Остановлюсь подробнее на *комплексном критерии* как, на мой взгляд, наиболее *методически значимом и практически полезном* основании классификации видов интервью. В литературе встречается *синонимичное* употребление терминов, входящих в этот критерий: «стандартизация», «формализация», «структурирование» [9, с.85]; [10, с.101–102]. Вместе с тем, и здесь я согласна с Н.В. Веселковой [11], их следовало бы разделить.

Стандартизация представляет собой *унификацию параметров* интервью в рамках конкретного исследования,

что обеспечивает возможность сопоставления его результатов: унифицируется перечень вопросов, который задается респондентам. Опросник – *стандартный*, одинаковый для всех участников исследования. *Формализация* – это придание вопросам определенной формы, облика. Прежде всего, высокая степень формализации означает использование закрытых вопросов с готовыми ответами. *Структурирование* – это установление связи между элементами интервью: вопросами, темами. Высокая степень структурирования означает *жесткую последовательность* этих элементов, реализуемую исследователем в процедуре интервью, т. е. *директивность стратегии* интервью. Впервые термин «директивность» (от англ. to direct – управлять) применительно к практике интервью ввел американский социолог В. Донахью [12], понимая под директивностью максимальную *управляемость* процедурой интервью *интервьюером*. Напротив, низкая степень структурированности интервью, его *недирективность* означают *свободу перехода* от одних вопросов к другим, *незапланированность* переходов, совершаемых, как правило, «по вине» респондента (информанта).

Различное сочетание этих составляющих *комплексного критерия* и определяет облик конкретного вида интервью. Все (или почти все) разнообразие видов интервью, используемых в социологическом исследовании по этому *комплексному критерию*, на мой взгляд, можно представить в виде континуума, шкалы, на одном полюсе которой расположено *стандартизованное (формализованное) интервью*, на другом – *свободное*. Сама идея представления различных видов интервью в качестве континуума принадлежит американской исследовательнице К. Панч [13], правда, шкала, предлагаемая ею, выглядит по-другому, т.к. в основе ее конструирования лежат другие признаки. В соответствии с основанием сконструированной шкалы *полярные виды* интервью, расположенные на *полюсах шкалы*, отличаются друг от друга:

• *степенью формализации опросника*. Формализованное интервью (потому оно так и названо) максимально формализовано; свободное – минимально;

• *степенью директивности стратегий интервьюирования*. Здесь директивность, как уже говорилось, понимается как *жесткая заданность структуры* интервью интервьюером. В этом ключе стандартизованное (формализованное) интервью – это директивное интервью, а свободное – недирективное;

• *мерой унификации параметров интервью* внутри конкретного исследования. Стандартизованное (формализованное) интервью максимально унифицировано: все бланки интервью – «близнецы-братья». Напротив, в свободном интервью фактически каждое интервью уникально: могут возникать неожиданные, незапланированные повороты и темы.

Все остальные виды интервью занимают *свое* место на этой шкале, характеризуясь определенным сочетанием *меры формализации, директивности и унификации*. На мой взгляд, такая шкала могла бы выглядеть следующим образом:

Стандартизованное (формализованное) интервью

Полуформализованное интервью, фокус-групповое интервью

Свободное интервью

Эта шкала может быть и более дробной, если учесть, что «промежуточные» маргинальные виды интервью: полуформализованное [11, с.14; с.190–213] и фокус-групповое [15, с.65]; [16, с.39–43]; [9, с.137–142] используются в социологической практике по меньшей мере в двух форматах: директивном и недирективном.

Сегодня можно выделить еще один вид – *нарративное интервью*. Ему не нашлось места на этой шкале только потому, что один из компонентов комплексного критерия – мера директивности стратегии интервьюирования – здесь «не работает»: в этом виде интервью *процедурой управляет*

скорее не интервьюер, а информант. В то же время, этот вид интервью, так же, как свободное, максимально неформализован и неунифицирован.

Оппозиции «мягкое» – «жесткое», «качественное» – «количественное» интервью. Сегодня в литературе часто используется оппозиция терминов метафор: «жесткие» – «мягкие» методы (правда, Ю.Н. Толстова не считает их оппозицией, разделяя по разным основаниям [17, с.118.], что, на мой взгляд, совсем запутывает дело). Вместе с тем, *однозначного толкования этой оппозиции нет.* Ряд социологов полагает, что эти понятия воспроизводят противопоставление качественного и количественного подходов на *методическо-инструментальном уровне* [18, с.13]. Это означает, что термин «мягкие» методы является синонимом качественных методов, а соответственно «жесткие» – синонимом количественных методов. На мой взгляд, такой подход является *определенным упрощением* реальных исследовательских ситуаций: невозможно убедительно объяснить, как могут качественные методы использоваться в классическом социологическом исследовании и наоборот. Я полагаю, что терминологические пары «мягкие» – «жесткие» методы и «качественные» – «количественные» *следует развести.* В этом случае в основе разделения методов на *жесткие и мягкие*, на мой взгляд, должны лежать *различия в особенностях их процедур: степени их директивности, формализованности и унифицированности.* При таком подходе формализованное интервью – *жесткий* метод, а свободное, нарративное, лейтмотивное – *мягкие* методы. Фокусированное групповое и полужформализованное интервью могут быть отнесены к *полумягким* методам.

В основе деления методов на *качественные и количественные*, на мой взгляд, должны лежать *методологические различия*, включающие в себя не *только и не столько* различия в *особенностях процедур*, сколько *нечто большее*: прежде всего принципиально разные подходы к пониманию *природы социального*, различия в *исследовательских ориентациях*, *характере* получаемой информации.

критериях оценки качества исследования и т. д.. В этом смысле качественные методы – это методы, используемые в качественном исследовании, где в рамках той или иной целостной исследовательской стратегии реализуются методологические идеи парадигмы социальных дефиниций (в Ритцеровской терминологии). В таком контексте мягкий метод свободного интервью, используемый в классическом социологическом исследовании, не является качественным: исследовательские задачи его использования, и как следствие, способы его обработки здесь совсем другие. Это же касается и полуформализованного интервью, которое используется как в классическом, так и в качественном исследовании. Этот полумягкий метод становится качественным только будучи использованным в качественном социологическом исследовании.

В самом деле, мягкие интервью только в качественном исследовании приобретают черты «качественности», становятся качественными интервью: здесь неформализованность, недирективность и отсутствие унификации означает не только особенности процедуры, но прежде всего способ реализации других, методологически важных характеристик качественного исследования. В частности, это:

- представленность точки зрения «действующего субъекта» на его языке вместо преимущественно языка исследователя, на котором «говорит» классическое, количественное интервью (прежде всего формализованное, где методологические посылки классического социологического исследования выражены наиболее полно);

- определенный *не иерархический, не властный, диалоговый, субъект-субъектный* (или точнее, стремящийся к неиерархичности, невластности, диалогичности, субъект-субъектности) характер отношений между интервьюером и информантом в отличие от властного, иерархического, субъект-объектного отношения в классическом интервью;

- производство знания в процедуре интервью как *совместного конструирования реальности*: интервью здесь действительно как «между-взгляд» (буквальный перевод с

английского: *inter-* между, *view* – взгляд). Строго говоря, на практике это положение реализуется лишь в феминистском исследовании, выступающем, как уже говорилось, особой ветвью качественного исследования. Впрочем, на этом тезисе следует остановиться особо.

Для понимания этой специфики качественного интервью (интервью как *между-взгляд*), интересна, на мой взгляд, метафора С. Квале [19, с.14], описывающего интервьюера в качественном интервью как *путешественника*, странника в пути, который странствует вместе с местными жителями, задает вопросы, подводящие собеседника к рассказу о его собственном мире: не случайно английское слово *conversation* происходит из латинского значения этого слова – «странствие вместе с». Метафора *путешественника* у датского исследователя противостоит контрастной метафоре *шахтера*, призванной обозначить способ получения знания в *классическом интервью*, где интервьюер, подобно шахтеру в руднике, добывает полезные ископаемые знаний. Здесь знание, как богатства земли, *уже пребывает внутри собеседника* как данность, и «его нужно добыть в чистом виде, не запачкав шахтерским прикосновением» [19, с.13] (вспомним об эффекте интервьюера). Напротив, метафора *путешественника*, по мысли С. Квале, призвана продемонстрировать *конструируемость* знания в качественном интервью, его *отношенческий, интерсубъективный, диалоговый* характер.

На мой взгляд, метафора *путешественника*, верная для *методологии качественного* исследования в ее *противостоянии классической*, то есть верная в *методологическом* отношении, тем не менее не является точной для *процедуры качественного интервью*, не преследующего *преобразовательных целей*: в таком качественном интервью, и я покажу это дальше, подлинная диалоговость, подлинные межличностные, субъект-субъектные отношения, а значит, и знание как *результат равного партнерства* все-таки не устанавливаются. На мой взгляд, С. Квале как психолог здесь практически отождествляет *терапевтическое* интер-

вью, имеющее место в психотерапии, где действительно знание получается как продукт партнерских диалоговых отношений, и *исследовательское* интервью. Тем более, сам он пишет, что «трудно провести достаточно четкую линию, разделяющую терапевтическое и исследовательское интервью» [19, с.25], хотя на мой взгляд, граница между этими видами интервью для социолога очевидна. В то же время идея *со-конструируемости знания*, его делаемости «здесь и сейчас» в качественном интервью как противостоящая идее *знания данности* в классическом интервью, конечно же, верна.

Кроме того, качественному исследованию присущ *качественный характер* получаемой информации, которую принципиально нельзя представить в количественной форме¹.

Конечно, есть мягкие методы, которые *всегда качественные*: они *никогда* не используются в классическом социологическом исследовании. Речь идет о нарративном, лейтмотивном или фокус-групповом интервью. Вместе с тем, такая однозначность характерна не для всех мягких видов интервью.

Нарративное интервью. Не имея возможности сколько-нибудь подробно рассмотреть специфические особенности *всего спектра* интервью, используемых в качественном исследовании, остановлюсь лишь на *нарративном интервью*, руководствуясь следующими соображениями. Прежде всего, на мой взгляд, нарративное интервью – *самый яркий* вариант качественного интервью, где методологические посылки *качественной социологии* выражены наиболее *полно и отчетливо*. Немаловажным является и то обстоятельство, что несмотря на растущую популярность этого метода в западной и отечественной социологической практике [20]; [21]; [22]; [23], *методологическая рефлексия* его различных граней, на мой взгляд, *недостаточна*, явно не соответствует потребностям социологов, по крайней мере,

¹ Здесь это означает невозможность использования контент-анализа в качественном исследовании.

российских, только начинающих осваивать познавательное пространство качественного исследования. Кроме того, именно этот вид интервью использовался преимущественно в наших исследованиях процесса социально-экономической адаптации населения постсоветской России, что дает мне возможность *«поверить» собственным конкретным эмпирическим опытом* методологические рамки этого метода.

Термин «нарратив» («*narration*») переводится с английского как «повествование». Лингвист В. Лабов, один из первых исследователей, осмысливающих возможности нарративного анализа применительно к *литературному тексту*, определяет нарратив как совокупность *специфических лингвистических средств*, превращающих прошлый опыт в *хронологически упорядоченные и эмоционально оформленные события*: нарратив – это «способ репрезентации прошлого опыта при помощи последовательности упорядоченных предложений, отражающей *временную последовательность событий*» [24, с.3]. В социологии применительно к специфике *метода нарративного интервью* существует ряд его определений, в разной степени удачных, на мой взгляд. Так, Н.В. Веселкова определяет нарративное интервью весьма широко и потому неточно: «способ организации человеком своего восприятия и осмысления внешнего и внутреннего мира» [11, с.103–104]. Определение, данное Е. Ярской-Смирновой, на мой взгляд, предпочтительнее, методически точнее: «Разговор, специально организованный вокруг последовательности событий» [21, с.158–159]. В этом определении зафиксированы, по моему мнению, два важных момента:

- 1 – этот вид интервью так же, как и все другие, *специально организован* для реализации исследовательских задач, т.е. выступает *методом* исследования;
- 2 – последовательность событий означает здесь последовательность *событий жизни* информанта. В идеале, информант начинает свое повествование с

детства, с того момента, как он себя помнит, а заканчивает описанием событий своего настоящего.

Этот метод основан на нашей страсти к рассказам о своей жизни, с помощью которых мы общаемся друг с другом, конструируя в диалогических мирах свои «повседневные теории», помогающие нам определять себя в мире и действовать в нем.: «...беседа не есть лишь *одна* из форм нашей активности в мире. Напротив, мы конституируем и самих себя, и наши миры в нашей разговорной активности. Для нас они являются основополагающими. Они образуют обычно не замечаемую основу, в которой берут начало корни нашей жизни»[25, с.VI]. В этом смысле рассказы о событиях жизни, о пережитом являются «элементарным институтом человеческой коммуникации, ...повседневной, привычной формой коммуникации» [26, с.35].

Цель нарративного интервью – в максимальной представленности жизненного опыта информанта, в представлении *событий жизни так, как они были пережиты*. Рассказы информантов – *не прямое отражение объективных событий*. Напротив, это всегда *конструирование мира и конструирование человеком самого себя*, когда информант выстраивает перед исследователем реальность своей жизни так, как он ее видит на данный момент. Сегодня этот метод получил признание социологов во всем мире: пришло осознание, что с помощью нарративного интервью с его *максимально выраженной субъектностью* исследователь может получить глубокий доступ к субъективному миру информанта, что это ценнейший источник информации о социальных процессах, в которые «встроена» жизнь каждого человека.

На мой взгляд, можно выделить ряд *специфических черт* этого вида интервью. Прежде всего – нарративное интервью *максимально неформализовано*. В то же время, рассказ о жизни имеет свою внутреннюю структуру и логику: каждый человек в повседневной жизни обладает *интуитивной компетентностью* относительно правил построения рассказа (неважно, касается он какого-то кон-

кретного случая или целой жизни). Эта компетентность служит гарантом того, что повествование *будет понято* слушателем. Интуитивная компетентность здесь – имплицитные правила, которые Ф. Шютце называет *цуцвангами*, и в соответствии с которыми человек выстраивает свое повествование [26, с.37]. При этом он, как правило, может и не подозревать об их существовании: любой человек стремится сделать свой рассказ доступным пониманию и воспроизведению со стороны других людей, т.к. «в осмысленности, линейности и целостном представлении человеческой жизни равно заинтересованы как авторы автобиографических повествований, так и интервьюеры и исследователи» [4, с.76]. При этом, по мнению Ф. Шютце, эти правила коммуникации, эти ее внутренние требования чаще всего возникают тогда, когда рассказчик не имеет возможности *предварительно планировать и подготовить свое повествование*, т.е. если его рассказ – экспромт (отсюда вытекает и соответствующее требование к технике интервьюирования).

Само это положение об интуитивной компетентности рассказчика, о *выборе схем объяснения, понятных* слушателю, базируется на методологических постулатах символического интеракционизма, этнометодологии, феноменологической социологии, «объясняющих», *как возможно понимание*. Речь идет о знаменитом тезисе А. Шюца, называемом «тезисом взаимных перспектив», с помощью которых преодолеваются различия «индивидуальных перспектив» [27]. В этнометодологии, как я уже говорила, эти имплицитные правила называются «фоновыми ожиданиями», и представляют собой *образы действий безо всякой рефлексии*, существующие в сознании и одинаковые для всех членов общности.

Ф.Шютце выделяет такие имплицитные правила:

- целостность и законченность. Все важные и существенные для жизненного опыта рассказчика события излагаются в их *целостной взаимосвязи*, каждый конкретный эпизод получает законченный вид;

- сгущение. Поскольку рассказчик понимает, что в его распоряжении ограниченное количество времени, он вынужден останавливаться только на самых существенных (в его понимании) событиях своей жизни.

- детализация. Детализация здесь рассматривается как частный аспект целостности: вводя новую тему или новые имена, рассказчик чувствует необходимость уточнять, прояснять конкретные обстоятельства.

Еще раз подчеркну, что эти нарративные правила вытекают из логики *нарративного жанра*, воспроизводящего жизненный опыт рассказчика (опыт переживания жизненных событий), и всегда рассчитанного на понимание слушателя.

Еще одна значимая черта: нарративное интервью *максимально недирективно*. Это означает, что оно кардинально снимает проблему «заданности», несвободы информанта, предоставляя ему возможность самому в процедуре опроса конструировать реальность своей жизни или ее фрагмента. Интервьюер здесь утрачивает роль ведущего, управляющего процедурой интервьюирования – *происходит реверсия ролей*, и ведущим становится информант. Можно сказать, что в нарративном интервью воплотилась тоска социолога по «живому слову» во всех его красках и оттенках, тоска как результат усталости от часто безуспешных попыток найти слова, которыми говорит народ¹. В нарративах сам народ заговорил «во весь голос», получив возможность, может быть, *впервые* в социологическом исследовании говорить *на своем языке*. Да и слово «народ» здесь можно употреблять только метафорически. В тексте нарратива в полный рост встает индивидуальное во всей своей неповторимости и уникальности. В этом смысле нарративы – всегда *«голоса из хора»*, если использовать удачную метафору Н.Н. Козловой.

¹ При разработке стандартизованного опросника социологу порой долго и мучительно приходится «отрабатывать» язык опросника, чтобы он был понятен респондентам.

Можно выделить и еще одну особенность – нарративное интервью, может быть, единственный метод, где социолог может «схватить» *процессуальность* жизни, обычно ускользающую от исследователя. Конечно, внутренние изменения в объекте, «встроенные во временные координаты», можно изучать и другими способами: используя стратегию «кейс-стади» или проводя лонгитюдные исследования как особый тип в рамках классической методологии [28]. Вместе с тем, в исследовании типа «кейс-стади» временной интервал, как правило, очень узкий и редко переваливает за год. Лонгитюдное исследование, хотя и может охватывать значительные по величине «куски» жизни, само по себе является скорее *экзотикой в социологии*, нежели распространенной исследовательской практикой, что, впрочем, вполне объяснимо: наша нестабильная, калейдоскопическая жизнь слишком «плохо оборудована» для подобного рода исследований.

Ориентированность нарративного интервью на «схватывание» *процессуальности* жизни особенно востребована в эпоху перемен, когда социальное время спрессовывается, уплотняется, делается более насыщенным значимыми событиями. Мой исследовательский опыт использования этого метода для изучения *социально-экономической адаптации* россиян как процесса поведенческого и субъективного освоения того реального социального пространства, которое сегодня формируется, подтверждает это. В самом деле, вряд ли можно было бы *понять*, что происходит с людьми в период «резкого поворота руля» без анализа их собственных повествований об этом.

Одна из особенностей *техники нарративного интервью*, как ее представил основатель этого метода Ф. Шютце, заключается в том, что тема беседы сообщается информанту непосредственно *перед началом, а не заранее: рассказ должен быть экспромтом* [26, с.36]. Вместе с тем необходимость получения *рассказа-экспромта* носит у Шютце, на мой взгляд, не столько технический, сколько *методологический* характер, поскольку объясняется двумя моментами:

- в таком рассказе, как правило, уменьшается вероятность появления пространных рассуждений, оценок вне связи с непосредственным жизненным опытом, с событиями жизни;

- содержание рассказа-экспромта в меньшей степени определяется особенностью *ситуации взаимодействия* с интервьюером: неподготовленный к рассказу информант будет меньше стараться произвести впечатление на интервьюера. В этом случае, как полагает Ф. Шютце, содержание рассказа будет в большей степени соответствовать жизненному опыту рассказчика, будет аутентично ему. На мой взгляд, *рассказ-экспромт*, если и способен минимизировать те *сознательные произвольные приемы*, которые информант мог бы использовать для *управления впечатлениями*, в терминологии И. Гофмана, все же принципиально не может устранить «Я» рассказчика *как субъекта коммуникации*, которое *интуитивно* ориентируется на слушателя, стремясь быть *понятым ему*. Рассказ-экспромт не может отменить производства текста интервью как *результата совместной «здесь и сейчас» коммуникации* информанта и интервьюера. Именно поэтому, я полагаю, Шютцевское методическое требование *неподготовленности* рассказчика к предстоящему нарративу, требование рассказа-экспромта не имеет *особого смысла, методически не особенно значимо*.

Отношения интервьюер–информант в нарративном интервью. В отличие от методологии классического социологического исследования, устанавливающей *монологичные, субъект-объектные* отношения между исследователем и исследуемым, методология качественного социологического исследования, возвращая исследователя как личность в исследовательский процесс, декларирует установление принципиально другого характера этих отношений: они *становятся диалоговыми, субъект-субъектными*. На уровне *процедуры интервью* это означает, что в качественном интервью в целом и в нарративном как его наиболее «ярком» виде, отношения между интер-

вьюером и информантом также должны быть субъект-субъектными.

Однако действительно ли эти отношения являются *межличностными отношениями двух субъектов общения*, можно ли их назвать подлинно *субъект-субъектными*? На мой взгляд, методологический посыл качественной социологии в ситуации *реальных взаимоотношений* в процедуре интервью «дает сбой». Следует сказать, что межличностные *субъект-субъектные* отношения предполагают некоторое *равенство* партнеров в процессе общения, потому что реализация человека именно *как субъекта общения*, наделенного своим внутренним миром, возможна только при отношении к нему как к *равному партнеру*. При этом отношения в процедуре общения (а интервью – это всегда общение) только тогда могут быть *действительно равными*, как полагает М.С. Каган, когда *его участники выступают «как равно активные и равно свободные партнеры, ориентирующиеся друг на друга именно как на инициативно самодействующих субъектов»* [29, с.128–129]. Вместе с тем, на мой взгляд, в нарративном интервью (как и в качественном вообще) интервьюер и информант все же не могут рассматриваться *ни как равно активные, ни как равно свободные партнеры*.

Они – *не равно активные* партнеры в процедуре интервью, если рассматривать термин «активность» в двух наиболее представленных в социологии значениях: активность как *мера деятельности* и активность как *характеристика внутренне мотивированной деятельности*, как *самодеятельности*, в отличие от «вынужденной» пассивной деятельности.

Интервьюер и информант – не равно активные партнеры в *первом* значении понятия активности прежде всего потому, что *по-разному вовлечены в процесс общения*, при этом разная вовлеченность задана *различиями в выполняемых ими ролях*. Здесь, несомненно присутствует *большая вовлеченность информанта*, в «свободном полете» рассказывающего историю своей жизни или ее фрагмента. Ак-

тивность информанта практически ничем не ограничивается. Более того, ощущение возможности самому конструировать правила игры в процедуре интервью *раскрепощает* информанта, подпитывая его активность. Вовлеченность интервьюера же здесь в соответствии с его профессиональной ролью минимальна. Она обусловлена самим императивным требованием его *невмешательства* в повествование информанта и сводится лишь к демонстрации знаков заинтересованности, призванной максимально раскрепостить информанта, стимулировать его повествовательное поведение, и к задаванию немногочисленных вопросов на последнем этапе интервью. Сами эти вопросы также вызваны к жизни не столько его интересом как личности, общающейся с другой личностью, *сколько целями и задачами исследования*, ради которых и проводится интервью.

Интервьюер и информант – не равно активные субъекты общения и во *втором* значении активности: у них – *совершенно разная мотивация к участию* в интервью. Для информанта – *это всегда навязанная деятельность*, общение здесь в большей или меньшей степени – *вынужденно*. Конечно, в нарративном интервью эта вынужденность несколько *сглаживается*: рассказ о себе, своей жизни – это обычная повседневная практика. В процедуре интервью информанты часто оказываются увлеченными самим процессом, да и «проговаривание жизни» нередко выступает *экзистенциальной потребностью поиска ее смысла*: рассказывая свою историю жизни, человек зачастую «избавляется от неудобной жизненной ситуации, изживает неприятности» [30, с.129]. Поэтому навязанная «обязательность» повествования нередко уходит на второй план для информанта, хотя *принципиально все-таки остается*.

Интервьюер и информант – и *не равно свободные субъекты общения*, если под свободой понимать отсутствие жесткой регламентации процедуры общения, ее неформальный характер. Действительно, подлинно свободное неформальное межличностное общение предполагает, что партнер *есть сам по себе* – цель общения, это фактически

бескорыстное общение, в процессе которого партнер воспринимается как уникальная личность. В процедуре нарративного интервью (и качественного в целом) – *другая ситуация*. Жизненный мир информанта интересен исследователю *прежде всего в контексте познавательной задачи*, в горизонте его пусть интуитивного, смутного, но все же содержательного образа результата. Само поведение интервьюера в процедуре интервью не есть проявление его личной заинтересованности, проявление его субъективности, но всегда скорее *имитация непринужденной беседы, всегда искусственный и искусный способ «разговорить»* информанта, *чтобы его понять*: вопросы, которые интервьюер в соответствии с техникой нарративного интервью задает на втором и третьем этапе, скорее направлены на *достижение целостности и завершенности рассказа*, то есть реализуют познавательную задачу, нежели выступают проявлением подлинного бескорыстного интереса к Другому. Да и общение это – достаточно «одностороннее»: сам интервьюер не «раскрывает», как правило, себя, свой внутренний мир.

Исключения составляют современные феминистски ориентированные качественные исследования, пытающиеся «вписать опыт женщин в сферу научного рассуждения», и потому вынужденные «продвигаться к созданию новых методов, пригодных для описания женских жизней и их активности, не покидая при этом границ социологии» [31, с.121]. Для них характерна попытка изменить эти отношения, сделать их «более гуманными», *неиерархическими*, осуществить реальное равноправное партнерство в процедуре интервью. Такое «переделывание» типичных для качественного интервью отношений обусловлено прикладной направленностью феминистских исследований: стремлением преобразовать положение женщин, «просветить» их как группу, находящуюся в подчиненном положении в мужском мире. Фактически такие исследования – сплав *исследовательской и преобразовательной деятельности*. Не случайно К. Панч выделяет особый тип исследования – «*action research*» [13, с.143] (исследование с акцентом на

преобразовательной деятельности), в ходе которого исследователь целенаправленно старается *одновременно производить сбор данных и изменять поведение женщин*. Оба участника в таком интервью равны в том плане, что *они не только могут, но и должны активно взаимодействовать*, апеллировать к своему личному опыту и опыту других, отвечать на вопросы друг друга. Интервьюер получает полное право активно оказывать влияние на ход мыслей собеседницы путем объяснения, убеждения. Чаще всего участники такого интервью становятся друзьями, между ними устанавливаются близкие, дружеские отношения. Отношения, складывающиеся в таком интервью, – это практически неформальное межличностное общение, если под этим термином понимать общение, при котором различные события (даже самые значимые) интересны не сами по себе, но лишь « в той мере, в какой они становятся содержанием внутреннего мира партнеров и могут быть презентированы в общении» [32, с.243–245].

В качественном интервью и в нарративном как в его виде, *не преследующем феминистских целей*, иная ситуация: отношения интервьюер-информант все-таки иерархичны, и в этом смысле – *не подлинно субъект-субъектные*. В то же время здесь гораздо *большая степень субъектной выраженности информанта*, гораздо *меньшая степень регламентации процедуры общения* в сравнении с классическим интервью. И потому эти отношения – *не субъект-объектные*. Очевидно, здесь имеет место *особый тип субъект-субъектных отношений*, основанных на сохранении определенной дистанции, когда четко различаются интервьюер и исследуемый субъект, с одной стороны, и в то же время эти роли не исчерпывают всего богатства общения, с другой стороны. Можно даже сказать, что у *исследуемого субъекта остается «объектная» сторона*: ведь он интересен интервьюеру в первую очередь не как уникальная личность с набором уникальных характеристик, но как носитель *именно тех характеристик, которые значимы с точки зрения целей и задач исследования*. Такое субъект-субъектное отно-

шение мы, исследователи, *строим искусственно*, хотя искусственность может и снижаться по мере развертывания интервью, принципиально все же оставаясь.

Контекст анализа взаимодействия интервьюера и информанта (или шире: познающего и исследуемого субъектов) предполагает, на мой взгляд, выделение *еще одной проблемы*, имеющей не только теоретическую (эпистемологическую), но прежде всего *практическую: методическую и этическую* – значимость. Речь идет об эмпатии, сочувствии, сострадании исследователя к информанту в процедуре интервью. Теоретический аспект этой проблемы уходит корнями в герменевтическую концепцию понимания, идущую еще от В. Дильтея и рассматривающую «вчувствование», эмпатию как *обязательное условие понимания Другого*. Удар по этой позиции, и здесь совершенно прав К. Гиртц [33, с.89], был нанесен публикацией Дневника известного английского антрополога Б. Малиновского. Он, ратуя в своих научных публикациях за эмпатию, психологическую близость социального исследователя с изучаемыми «туземцами», в то же время по отношению к ним «не был ярко выраженным хорошим парнем» и «нашел для них гадкие слова», выражаясь языком Гиртца. Публикация скандального Дневника имела эпистемологическое значение: был разрушен миф о связи «*хорошести*» исследования и эмпатии. Целый ряд других концепций понимания, разработанных в XX веке, представленных М. Вебером, символическим интеракционизмом, феноменологической социологией (я уже об этом говорила – см. главу 3), не считают эмпатию *необходимым условием понимания* чужого опыта.

Означает ли это, что *сочувствие, сопереживание, эмоциональная близость* вообще должны быть исключены из процедуры качественного интервью, как нет их в формализованном интервью, наиболее полно воплощающем методологические посылки классического исследования? На мой взгляд – конечно, не означает. Более того, ряд социологов обосновывают гуманистическую перспективу каче-

ственного социологического исследования именно этим обстоятельством – возможностью установления гуманных человеческих отношений в процедуре интервью, что, как мне представляется, не вполне правильно. На мой взгляд, сама *возможность* (не необходимость) такого рода отношений в процедуре нарративного (или шире – качественно-го) интервью задается тем, что в *качественном* социологическом исследовании, в отличие от классического, реализуется все-таки *субъект-субъектное отношение*, хотя и в *особой его форме*.

Здесь исследователь *как личность* в ситуации встречи с *другой личностью* легко «поддается порыву» и часто начинает переживать вместе с информантом все перипетии его, может быть, нелегкой жизни. Кроме того, эмпатийные навыки, сочувствие нередко выполняют и инструментальную функцию, побуждая рассказчика к нарративу о своей жизни. Вместе с тем, мой исследовательский опыт показывает, что *«растворение»* исследователя в рассказчике, своеобразная *исследовательская «капитуляция»* часто побуждают его забыть «правила игры» в процедуре интервью и, как следствие, снижают информационную полезность метода. Словом, исследователь в качественном интервью, как Одиссей между Сциллой и Харибдой, должен ухитриться пройти между сочувствием, стремлением эмоционально откликнуться на боль информанта, «пойти» за ней и познавательными задачами, ради которых, собственно говоря, и затевалось интервью.

Проблема истины в нарративном интервью. Я уже говорила, что рассказ информанта в нарративном интервью – это всегда *и результат коммуникации интервьюера и информанта*, их совместного «здесь и сейчас» конструирования реальности. Реальное взаимодействие (вспомним прагматизм – А.Г.) – это всегда и процесс производства *самосознания субъектов общения*. Важный элемент этого взаимодействия – *ожидания и оценки Другого*, на которые каждый участник взаимодействия обязательно ориентируется. Отсюда и принципиальная драматургическая *множе-*

ственность идентичностей индивида: взаимодействие, по И. Гофману, всегда происходит не столько между индивидами как субъектами, целостными личностями, сколько между *разными социальными ликами индивидов*, как бы между изображаемыми ими персонажами [34, с.51]. Вот эту *делаемость «Я»* в процессе коммуникации, вот этот *«Я-нарратив»*, который всегда задан в определенном контексте взаимодействия в отличие от традиционного *«Я как данности»*, рассматриваемого классической *«Я-концепцией»*, подчеркивают и известные английские социальные психологи Р. Харре и В. Девайс [35, с.46]. По их мнению, при различных обстоятельствах будут фиксироваться *разные характеристики Я*, значимые для той среды или той ситуации взаимодействия, в условиях которой повествование предьявляется.

Применительно к нарративному интервью это означает, что нарратив как продукт взаимодействия, сотворчества исследователя и информанта в значительной мере зависит от «лика» интервьюера, и прежде всего от того, к какой группе в результате процесса стереотипизации в процедуре интервью он отнесен информантом. Для того, чтобы эмпирически доказать эту принципиальную теоретическую посылку, мной был проведен *методический эксперимент* (он проводился в 2002 году в рамках исследования социально-экономической адаптации населения). Он предполагал опрос каждого информанта – участника эксперимента *двумя интервьюерами*, существенно различающимися по возрасту¹ Эксперимент показал, что отнесение, например, молодым информантом интервьюера к группе «юных, не знающих жизнь» порождает повествование, которое *существенно отличается* от нарратива как результата взаимо-

¹ Для чистоты эксперимента, чтобы проанализировать именно процедуру совместного конструирования нарратива, я постаралась исключить влияние других граней ситуации интервью; в частности, одному и тому же информанту задавался одинаковый нарративный импульс – легенда о цели исследования, о том, как эти результаты будут использованы и т. д.

действия между ровесниками: жизненные истории, рассказанные 50-летней женщиной интервьюеру-студентке социологического факультета и через короткий период (1,5 недели) – опытному социологу с 30-летним стажем, были практически разными¹. То есть, один и тот же человек-информант может «выдавать» достаточно разные нарративы, зависящие от контекста, от того, *как он определяет ситуацию общения с интервьюером*. Фактически это означает появление *нарративов-черновиков*, равнозначных нарративов, *принципиально не имеющих «чистовиков»*, т.е. *единственно «правильных» повествований* [36].

Но что делать с этим социологу, пытающемуся сквозь индивидуальное «прозреть» типическое? Возвращаться несколько раз к одному и тому же информанту в надежде «ухватить» как можно больше его идентичностей, что сделать невероятно трудно, и рассматривать каждый такой нарратив как самостоятельный? Или оставить эту пустую затею, довольствоваться получившимся нарративом и успокаивать себя тем, что полученное после анализа таких нарративов теоретическое знание – всего лишь исследовательская интерпретация, не претендующая на «истину в последней инстанции»? Впрочем, есть еще один выход: триангуляция, т.е. использование дополнительных методов, повышающих «обоснованность» теоретических выводов нарративного анализа (если, конечно, социолог работает в рамках тяготеющего к научному направления качественных исследований).

2. Наблюдение в качественном исследовании

Основные положения. Термин «наблюдение» используется в научном знании в двух смыслах: *широком* и *узком*. В *широком смысле* наблюдение понимается как любая полевая процедура, связанная с получением эмпирической информации. В этом своем значении наблюдение как спо-

¹ Эта же ситуация оказалась характерной для всех 8 информантов, участвовавших в методическом эксперименте.

соб *эмпирического познания* противостоит методам *теоретического* косвенного «кабинетного» познания и является потому, по мнению М. Мамардашвили, «одним из решающих и первичных (независимых) понятий» классической науки, классической рациональности [37, с.3]. Отголоском такого понимания в социологии является термин «*единица наблюдения*», используемый в теории выборочного метода. Напомню, что единицами наблюдения выборочной совокупности выступают люди, которых предполагается *опрашивать*. В узком смысле наблюдение – *специфический метод сбора первичной информации*. Наблюдение в этом своем значении представляет собой *целенаправленное непосредственное восприятие определенной ситуации (события)*, а также *регистрацию результатов этого восприятия в соответствующих документах*.

В этом определении, на мой взгляд, заложено несколько идей, характеризующих *специфику* метода. Прежде всего, это идея *целенаправленности*. *Целенаправленность* здесь означает принципиальное отличие такого наблюдения от обыденного, имеющего место в повседневной жизни, которое всегда *непреднамеренно, произвольно* и потому «вплетено» в «жизненную ткань» каждого человека. Обыденное наблюдение считается каждым человеком, его использующим, *само собой разумеющимся* и потому *не выделяется* в качестве способа повседневного познания. Напротив, в европейской культуре, и прежде всего в *научном* познании в его нововременной форме, наблюдение всегда рассматривалось как *инструмент познания*: с целенаправленного эмпирического созерцания, как правило, начинается любое научное изучение выделенного объекта [38, с.188].

Еще одна черта – *непосредственность восприятия*, которая означает одновременность, синхронность события и его наблюдения, прямую регистрацию этого события. Наблюдение позволяет увидеть или понять наблюдаемое событие в *его целостности*, во всех красках и оттенках, в его «живом настоящем», творящемся «здесь и сейчас», в при-

сутствии исследователя. Правда, это «живое настоящее» *по-разному* «схватывается» в количественной и качественной методологиях. В количественной – через *визуальную количественную фиксацию* выделенных исследователем *переменных* – элементов поведения; в качественной – через *понимание нерасчлененного, целостного* перед исследователем данного поведения, в том числе и речевого. В то же время непосредственность восприятия события, творящегося на глазах наблюдателя, означает, что события и ситуации невозможно повторить, они *принципиально неповторимы*: в другое время и событие, и наблюдатель будут другими. В целом, эта черта метода наблюдения *по-разному* оценивается в классической и качественной методологиях.

В *классическом социологическом исследовании* с его нацеленностью на достоверное описание реальности, на поиск закономерностей, на широкие обобщения, *локальность наблюдения*, его частный характер, *принципиальная невозможность повторения события* считается серьезным недостатком этого метода [39, с.96]. Классическая социология находит два выхода из этой ситуации, взаимодополняющих друг друга. Для повышения достоверности информации она делает ставку на *систематичность* наблюдения, пытаясь «схватить» типическое, наблюдая событие (ситуацию) много раз с определенной регулярностью и по возможности в разных условиях: обыденных, экстремальных и т.д. [40, с.204–206]. Не случайно некоторые учебники даже вводят термин «систематическое визуальное восприятие» в теоретическое определение метода наблюдения [41, с.150], что на самом деле неверно: модификация этого метода в классической социологии выдается за определение сущности этого метода.

Кроме того, может быть, понимая определенную тщетность этих усилий, классическая социология отказывается признать наблюдение в качестве «полноценного» метода, считая его *дополнительным* к другим методам сбора первичной социологической информации. Наблюдение в этой методологии рассматривается как метод, способный рабо-

тать только на *разведывательном этапе* (как, впрочем, и в качестве *уточняющего* данные массового опроса на *последнем этапе исследования*) [40, с.209]. Второе также означает его маркирование в качестве *неосновного*: на этой стадии не создается никаких обобщений, могущих быть распространенными. Результат разведывательного исследования сам по себе не имеет *никакого самостоятельного статуса*: он только начало, только точка отсчета, только преддверие будущего полноценного социологического исследования, произведенного по всем научным канонам [42, с.222–223].

Напротив, *качественное социологическое исследование*, нацеленное на изучение частного, частного, и не претендующее на широкие обобщения, не видит в локальности выводов, полученных этим методом, ничего предосудительного и часто делает ставку на этот метод *как на основной, ведущий* (вспомним, например, этнографическую стратегию качественного исследования – А.Г.).

Сегодня в литературе представлено несколько классификаций метода наблюдения по разным основаниям [41, с.154–162]: по способу организации наблюдения (полевое и лабораторное наблюдение)¹, по степени формализованности (структурированное и бесструктурное наблюдение)², по степени включенности наблюдателя в изучаемый процесс (невключенное и включенное – «участвующее» наблюдение). При невключенном наблюдении исследователь не является участником изучаемой ситуации, наблюдает ее со стороны. При этом пространственно исследователь находится рядом с людьми, чье поведение он изучает. Позиция

¹ В рамках качественного исследования, с его стремлением изучать людей в *естественных условиях*, лабораторное наблюдение не используется.

² Структурированное наблюдение, предполагающее четкое выделение и количественную фиксацию элементов наблюдаемого поведения, в наибольшей степени воплощает идеи классической методологии и потому используется только в классическом исследовании, в то время как бесструктурное может использоваться как в классическом исследовании (разведывательный этап), так и в качественном.

исследователя здесь – отсутствие совместных действий, каких бы то ни было отношений с участниками наблюдаемой ситуации. Исследователь здесь – *чужой, который и не пытается стать «своим»*, четко обозначая свое положение Другого. При включенном наблюдении – принципиально другая картина. Исследователь здесь – *чужой, который под разными предлогами становится своим*, т.е. делается равноправным участником той ситуации, которую изучает. В идеальном варианте такого наблюдения изучаемые люди даже не догадываются о его исследовательской роли¹.

По степени контроля результатов выделяются контролируемое и неконтролируемое наблюдение. *Контролируемым* называется наблюдение, при котором осуществляется контроль за результатами. Главная идея такого контроля данных – *повышение их достоверности*, близости к реальности. Это достигается двумя способами: одна и та же ситуация наблюдается *несколькими наблюдателями*, после чего полученные результаты перепроверяются, или происходит *интенсификация наблюдений* за одним и тем же объектом: резко увеличивается их количество. Перепроверка может происходить и в рамках *бесструктурного наблюдения*, когда разные исследователи «сверяют» свои впечатления, свое видение наблюдаемой ситуации с целью выявить «сухой остаток», т.е. общее, присутствующее в ряде исследовательских интерпретаций. Это может происходить как на *разведывательном этапе традиционного социологического исследования*, так и в *качественном исследовании*, в том его направлении, которое *тяготеет к научному*, и, следовательно, ориентируется на нормы и стандарты научного исследования, адаптированные к реальности качественного исследования. *Чаще всего* перепроверка характерна для *структурированного наблюдения*: не случайно в

¹ Выделяются и *промежуточные* виды, характеризующиеся разным уровнем включенности наблюдателя в изучаемый процесс, и находящимся между выделенными полюсами. Эти промежуточные виды характеризуются ролями: участник-наблюдатель и наблюдатель-участник.

учебнике В.А. Ядова «Социологическое исследование: методология, программа, методы» термины «структурированное наблюдение» и «контролируемое наблюдение» употребляются как синонимы¹.

Включенное бесструктурное наблюдение. Этот вид наблюдения сегодня в социологии рассматривается в двух значениях: широком и узком. В *широком смысле* включенное наблюдение отождествляется либо с качественной методологией вообще [43, с.15], либо с одной из качественных исследовательских практик – этнографическим подходом [44, с.25]. В *узком*, (наиболее распространенном) значении включенное наблюдение рассматривается как *метод сбора* социологической информации.

Мягкий метод включенного наблюдения, в отличие от *жесткого, невключенного*, с наибольшей полнотой выражающего методологические установки *классического* социологического исследования и потому используемого *только там*, может «работать» как в *классическом, так и в качественном исследовании*. В классическом исследовании включенное наблюдение чаще всего применяется на разведывательном этапе как *эвристическая процедура*, позволяющая *уточнить проблему*², сформулировать теоретическую гипотезу, которая потом, на основном этапе исследования, будет проверяться уже с помощью других жестких методов. Цели использования включенного наблюдения в *качественном исследовании* принципиально другие: здесь социолог стремится *понять* точку зрения тех, кого исследует, реконструировать субъективный смысл, который лю-

¹ В.А. Ядов выделяет еще один вид наблюдения – так называемое *стимулирующее наблюдение*. В рамках такого метода исследователь сознательно *вносит возмущение в наблюдаемую ситуацию*, чтобы потом наблюдать следствия такой «провокации». Стимулирующее наблюдение «вписывается» в принципиально другую методологию социологического исследования – активно-преобразовательную (action research) и потому мной подробно не описывается.

² «Уточнить проблему» означает, что социолог даже на этапе разведки все-таки имеет некоторое представление о проблеме, которую собирается изучать.

ди вкладывают в свои поступки, для того, чтобы в совместном конструировании создать *мини-теорию* или *исследовательский комментарий*, «схватывающие» социальный контекст изучаемого социального феномена, также, как, впрочем, и для того, чтобы представить «живой», не подвергнутый исследовательской рефлексии, опыт изучаемых людей, *их* видение ситуации в гуманистическом и ситуационном направлениях.

Важнейший вопрос, неизменно встающий перед *исследователем-качественником*, «изнутри» включенным в ситуацию, – *что наблюдать, что фиксировать из потока впечатлений, событий, слов*, в который он сознательно погружается? Я уже говорила ранее, что в качественном исследовании, в отличие от классического, исследователь может не иметь четких гипотез относительно изучаемого явления: они могут возникнуть и в процессе сбора и анализа информации. Тем не менее, отсутствие гипотез «до того» не означает, что исследователь наблюдает «вслепую»: как в любом исследовании, лучом, высвечивающим направление поиска, здесь выступают *исследовательские вопросы*. Именно в них, как правило, закладывается «образ результата» исследования, хотя и довольно смутный, неясный. Сама постановка таких вопросов предполагает, как уже было отмечено, некоторое понимание изучаемой ситуации, или точнее, *определенное предпонимание*.

В помощь наблюдателю сегодня делаются попытки как-то структурировать *контекст наблюдаемой ситуации*, накрепко спаянный с теми смыслами, которые социолог пытается уловить. Фиксация элементов этого контекста в *полевых заметках*, как правило, помогает исследователю лучше понять наблюдаемое явление. Один из вариантов такого структурирования предложен американским исследователем Дж. Спрэдли [45, с.78]. По его мнению, социолог должен фиксировать:

- пространство, физическое местоположение;
- людей–участников ситуации: их социально-демографические характеристики, содержание деятельности, офици-

альный статус в группе, неофициальное положение в группе (дружеские связи, авторитет, неформальное лидерство);

- действия людей в изучаемой ситуации: их интенсивность, практические результаты;
- цели действия: степень их одобрения, согласованность целей участников или их конфликт;
- время: временное упорядочивание происходящего;
- чувства: осязаемые и выражаемые эмоции.

Включенное наблюдение, в отличие от невключенного, преимущественно визуального, предполагает прямую регистрацию событий с помощью *разных источников информации*. Наблюдатель «явно и неявно соучаствует в повседневной жизни людей в течение достаточно продолжительного времени, наблюдая за происходящим, прислушиваясь к сказанному, задавая вопросы. В сущности, он собирает любые доступные данные, которые могут пролить свет на интересующие вопросы» [44, с.2]. Документом такого вида наблюдения, как известно, выступает *Дневник наблюдения*, в котором исследователь в свободной форме записывает наблюдаемые события, реплики, обрывки разговоров, фрагменты интервью, а также свои впечатления, размышления, аналитические пометки.

Уже было отмечено, что результат качественного исследования в большинстве своем – исследовательская интерпретация повседневных интерпретаций изучаемых людей, всегда попытка «на равных» увязать эти два вида интерпретаций в конечном продукте исследования. Применительно к нашему разговору это означает, что с *одной стороны*, Дневник должен сохранять «естественный словарь» участников, то есть, реальный ситуативно-привязанный язык, которым участники наблюдаемой ситуации пользуются: это дает возможность исследователю понять, как изучаемые люди категоризируют социальную реальность, какие они используют ярлыки, конструируя ее. С *другой стороны*, записывая фрагменты услышанного, исследователь всегда осуществляет отбор (это может происходить и неосознанно), всегда «подправляет», «подчищает» их, т. е.

так или иначе подвергает их интерпретации. Даже транскрибируя тексты, записанные на диктофон, социолог вольно или невольно *неизбежно интерпретирует их*. Фактически интерпретация социолога, его конструирование наблюдаемой ситуации *всегда так или иначе* присутствуют в полевых заметках, фиксируемых в Дневнике. Вместе с тем, на мой взгляд, глубина понимания изучаемой ситуации, видимо, может быть большей, если в Дневнике наблюдения будут четко разделены *первичный «естественный» текст и исследовательские интерпретации*. Для этой цели пространство Дневника должно быть так организовано, чтобы *эти два вида интерпретации не накладывались друг на друга*, не поглощались одна другой.

Включенное наблюдение – может быть, единственный из социологических методов, «в полную мощь» поставивший *проблему этики социолога*. В самом деле, корректно ли в «чужой маске» проникать в ту или иную социальную общность, становиться в ней своим, только для того, чтобы изучать ее? Ответ на этот вопрос не так прост. Установление дружеских отношений, порой «привязывание» к себе некоторых участников группы с корыстной познавательной целью, может быть, не самое благородное дело. В конце концов, как говорил Маленький Принц Антуана-де-Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». В то же время, если полученное таким образом знание не используется *против изучаемых людей*, не способствует усилению контроля над ними, уменьшению их свободы, не ухудшает их социального самочувствия в целом, – в этом случае, видимо, использование включенного наблюдения вполне оправдано.

В западной и отечественной социологии есть немало примеров использования включенного наблюдения в качественном исследовании [46]; [47]; [48]; [49]. Можно назвать знаменитое исследование У.Ф. Уайта, описавшего структуру отношений, а также неписанные правила, организующие повседневную жизнь бедного итальянского района одного из крупных американских городов. В отечественной социоло-

логии заметен крестьяноведческий проект под руководством Т. Шанина [50].

Вот как говорит об этом один из участников проекта В.Г. Виноградский: «В один прекрасный момент я заметил за собой и своими коллегами, что мы, основательно вработавшись в деревенскую повседневность, вдруг превратились в некоторых роботов с полностью включенными механизмами и приборами тотального наблюдения за реальностью. Мы стремились фиксировать каждый наблюдаемый нами элемент реальности на диктофон, видеоленту, в дневник, который мы назвали «бортовым журналом». Для нас не было неких незначимых или второстепенных фактов. Из этого тотального отслеживания как-то самопроизвольно начинают появляться некие обобщения» [51, с.131]. Главным открытием этой исследовательской группы, более двух лет работавшей на Кубани, было обнаружение микросхем повседневного взаимодействия людей, *неформальной экономики*. Именно благодаря таким отношениям, *не отражаемым в официальной отчетности и не фиксируемым в формальных контрактах*, и осуществляется рутинная повседневной жизни, обеспечивается «полнота органического существования» людей.

3. Анализ документов в качественном исследовании

Общая характеристика метода. В *повседневной жизни* понятие «документ» фигурирует в своем *узком значении* – как официальная бумага. Такой документ должен обладать видимыми признаками официального статуса: печатями, штампами организации и т.д. В *социологии* термин «документ» используется в *предельно широком значении* – как любой носитель информации о социальных явлениях и процессах [40, с.210]. Вместе с тем, и этот момент очень важен для качественного исследования, любой документ – всегда и *репрезентация самого автора* (или авторов), выраженная в содержании документа, его стиле и средствах

выражения. Отсюда и определенная *вторичность этого метода*: здесь исследователь не имеет *прямого контакта* с той реальностью, которую изучает, как это имеет место при наблюдении, опросе. Любой документ – всегда *кодированная информация*, вбирающая в себя *цели и намерения коммуникатора*, его видение, интерпретацию реальности [52].

Метод анализа документов практически так же универсален, как и опросные методы. С его помощью можно получить информацию о *прошлом, настоящем и будущем*: реконструировать давно ушедшие, но значимые для живущих сегодня людей социальные явления и процессы; описать образы будущего страны, поколения, отдельной социальной группы. Кроме того, документы содержат информацию о *поведении и результатах деятельности* людей, так же как и об их *сознании*: мотивах, жизненных планах, ценностных ориентациях. Этот метод дает возможность не только реконструировать событие, социальное явление, но еще и понять *образ мыслей, ожидания, надежды и разочарования* тех или иных социальных общностей. С его помощью можно понять, какие «*большие нарративы*» (*культурные модели*) были в ходу в стране на конкретном витке ее истории, какие *нормы, «правила игры»* тогда существовали, как они принимались и одновременно конструировались людьми.

В частности, анализ аттестационных характеристик рядовых инженеров-проектировщиков, осуществленный в рамках известного в отечественной социологии исследовательского проекта «Социально-психологический портрет инженера», проведенного в семидесятые годы под руководством В.А. Ядова, позволил сделать вывод о нормах, действовавших тогда в проектных организациях: более всего здесь ценились (конечно, наряду со знанием и опытом) исполнительность и добросовестность, и менее всего оказались востребованными инициатива и творчество, умение самостоятельно мыслить [53].

Метод анализа документов дает возможность изучить явление не только в его статике, «точечно», но и в его *динамике, изменении*. В самом деле, даже довольно по-

верхностный «импрессионистский анализ»¹ двух официальных документов: Закона о государственном предприятии от 1987 г. и Закона о предприятии от 1991 г., дает возможность оценить судьбу производственной демократии в постсоветской России. Первый закон вводил в действие *новые демократические социальные институты в организациях*: Совет трудового коллектива (СТК) как коллегиальный орган, призванный ограничить единоличную власть руководителя; выборность руководителя. Второй закон их фактически отменял.

Еще один пример из российской ситуации. Анализируя письма «простых людей» в прессу в первые перестроечные годы (1987–1991 гг.), выстраивая их во временной последовательности, Н.Н. Козлова смогла увидеть крушение *«революции надежд»* для части россиян: проследить переход от чувства оптимизма, радости по поводу расставания с ужасами прошлого к чувству разочарования, к ощущению одиночества и распада мира [54, с.29].

Метод анализа документов представлен в социологическом исследовании *двумя своими разновидностями: неформализованным* (традиционным) и *формализованным* анализом. При этом *мягкий неформализованный* анализ может использоваться как в классическом, так и в качественном исследовании, в то время как *жесткий формализованный* анализ во всех своих формах: анализе содержания [55], анализе статистической информации [56], информационно-целевом анализе текстовой информации [57]; [58] применяется *только в классическом социологическом исследовании*.

Неформализованный анализ основывается на «понимающем» восприятии текста²: выделении блоков идей, со-

¹ Термин «импрессионистский анализ» принадлежит А. Страуссу и обозначает способ анализа документальной информации, основанный на понимании текста без использования специальных процедур обработки качественной информации: кодирования, сравнения и т.д.

² С помощью этого же вида анализа можно изучать и другие, не письменные документы: фото- и видеоматериалы, радио- и магнитофонные записи и т.д.

ответствующих целям анализа. Такое понимание текста достигается за счет усилий ума: использования логических операций синтеза, анализа, сравнения, оценивания и т.д. С позиции методологии количественного подхода, этот вид анализа *недостаточно хорош*, т.к. «страдает» субъективизмом исследователя, а значит, и возможностью *смещения информации*, отклонением от «истинного положения дел». В самом деле, понимание текста зависит не только от степени владения исследователем мыслительными операциями (а с этим у каждого человека «свои отношения»), но и от его психофизиологических особенностей: утомляемости, способности концентрировать внимание, памяти и т.д. На восприятие текста большое влияние оказывают и неосознаваемые психические феномены, в частности, механизм психологической защиты, когда неприятные для исследователя моменты «сами собой» пропускаются в тексте, а приятные – напротив, сразу бросаются в глаза. Существенна здесь и роль интуиции, знания предмета изучения, а также ценностных ориентаций, мировоззрения исследователя, выступающих своеобразной базой оценки, платформой, с позиции которой воспринимается анализируемый текст.

Следует сказать, что такой вид анализа документальной информации принципиально отличается от *простого понимания тех или иных текстов*, с которыми каждый человек «имеет дело» в повседневной жизни: мы читаем и понимаем газетные статьи, книги, учебники. Неформализованный анализ *как метод исследования* предполагает восприятие текста *в контексте исследовательской задачи*. Это означает, что в *классическом исследовании* в соответствии с логикой *научного* исследования социолог выдвигает исследовательские задачи, формулирует гипотезу и только потом ищет в тексте подтверждение или опровержение выдвинутой гипотезе. В *качественном исследовании*, когда предварительная гипотеза может отсутствовать, *линзой*, сквозь которую социолог анализирует текст, чаще всего выступают *исследовательские вопросы или некото-*

рый, хоть и нечеткий, но все же образ результата исследования.

Практика социологических исследований показывает, что неформализованный анализ документальной информации в *классическом исследовании* используется довольно редко именно в силу названных выше недостатков. В то же время, на *разведывательном (формулятивном)* этапе роль его достаточно велика: вкупе с другими методами (свободным интервью, индивидуальными или групповыми формами экспертного опроса) он помогает социологу выделить грани проблемы, более других нуждающиеся в изучении, определить предмет исследования, сформулировать гипотезу. В *качественном* же исследовании традиционный анализ – *полноправный, «законный»* вид анализа документов, дающий возможность исследователю ответить на исследовательские вопросы.

Традиция изучения «человеческих документов». В качественном социологическом исследовании могут использоваться *любые документы*¹. В то же время, особой любовью здесь пользуются *личные*, прежде всего так называемые «человеческие документы» как их особая разновидность: письма, дневники, воспоминания, автобиографии и т.д. К документам такого рода следует отнести такие, где человек «сам рукой водит», т.е. не *пропущенные сквозь чью-либо интерпретацию, «живые»*. Транскрипт интервью, тоже личный документ, с этой позиции не может быть отнесен к «человеческим документам» по той причине, что «прошел» сквозь стадию транскрибирования, т.е. определенной обработки и потому неизбежной интерпретации «живого» языка интервью.

Новый всплеск интереса к личным документам и особенно к «документам жизни» происходит в 80-е годы. В

¹ В социологии, как известно, существует целый ряд классификаций документов, выделенных по разным основаниям: статусу документа, степени персонификации, характеру ситуации, в которой документ создавался и т.д. См.: Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998.

этот период начинает остро осознаваться *плюральность социальной жизни*, разнообразие ее форм, традиций, жизненных стилей, языковых игр. Новая культурная и познавательная ситуация в гуманитарном познании побуждает обратить внимание исследователей на «цветущую сложность культуры», когда рядом с вполне современными *модернистскими* формами жизни соседствуют *немодернистские, традиционные*, столь же ценные и важные и отнюдь не должны «отмирать», уступив место современным. В рамках такого умонастроения среди социологов возникает мощная потребность восстановить неведомую, замалчиваемую историю, «дать голос» «маленьким» людям, чьи наивные тексты «забивались» «большими нарративами», создаваемыми учеными, политиками, интеллектуалами в целом. Можно сказать, что внимание к таким документам стало своего рода *знаком эпохи* и превратилось в *особую традицию* использования метода анализа документальной информации. С недавнего времени и в российской социологии начинается освоение опыта анализа такого рода документов [59]; [60].

Погружение в «человеческие документы» дает возможность исследователю проникнуть в незаметность повседневной жизни «простого человека», в которую так или иначе «вписана» история, понять *социальный контекст* одной-единственной человеческой судьбы: события, «правила игры», идеологемы, представления и ожидания. Сегодня начинает четко осознаваться, что такого рода документы «конденсируют социокультурную ткань повседневности» [61, с.81] и потому к ним «нельзя относиться только как к знакам индивидуальной психологии или как к психоаналитическому пространству. Они становятся *окном в социокультурный мир*» [61, с.82]. Понять этот социальный фон социолог может, используя так называемые *реалистический и нарративные подходы* (я об этом говорила в 3 главе).

Кроме того, очень большое значение здесь имеет и *анализ языка текста*. Язык пишущего – это выражение и производство его статуса, его «места» в социальной струк-

туре, характеристика его символического капитала [62]. Сами по себе эти «документы жизни» – достаточно разнообразны. *Одни из них написаны* на «нелитературном языке», без точек и запятых, с орфографическими и стилистическими ошибками. Это так называемое «ручное», «наивное» письмо. Чтение таких текстов, по мнению Н.Н. Козловой, блестяще анализировавшей такое «наивное письмо», большей частью подобно переходу в «мир иной», не похожий на мир литературного языка, субъектности и рационального мышления, в котором привык жить интеллеktуал [62]. Это тексты, в которых ощущается присутствие живого тела и живого голоса. В других – сплошные клише, как будто в человека заложена машинка, которая пишет «за него». Самые уникальные события своей жизни здесь описываются одинаковым официальным, «газетным» языком. В третьих – обе эти разновидности письма смешаны, переплавлены, дополняя и конкурируя друг с другом. Особый интерес для социологов представляют такие «человеческие документы», которые люди ведут всю жизнь: меняется сам пишущий, вместе с ним меняется и язык текста – ручное «самодельное» письмо постепенно превращается в «нормальный», литературный язык.

Как правило, «документы жизни» анализируются методом *традиционного (неформализованного) анализа, «внимательного взглядывания»*. Результатом такого изучения чаще всего выступает комментарий, в котором теоретические понятия «переплетены» с метафорами, аналогиями, фрагментами «живого» текста.

Способы обработки документальной информации в качественном исследовании. Методология качественного исследования, ее собственно социологическая составляющая предполагает использование наряду с традиционным анализом *целый ряд аналитических процедур, техник (методов)*, с помощью которых анализируется документальная информация. В качественном исследовании, ориентированном на производство *теоретического знания* (мини-концепции), для обработки документальной информации

могут использоваться методы «grounded theory» и «аналитической индукции». О технологии осуществления grounded theory я уже говорила в главе 5. Там «обоснованная теория» рассматривалась прежде всего как *особый тип* качественного социологического исследования, предполагающий специфическую *организацию сбора и анализа* полученной информации. Между тем, «обоснованная теория» – это и *определенный способ обработки уже готовой собранной информации*, содержащейся в документах – транскриптах интервью¹.

Метод аналитической индукции также направлен на описание «процесса разработки и верификации гипотез и определения новых понятий в качественном исследовании» [63, с.93]. Я уже говорила ранее, что в качественном исследовании реализуется *индуктивная логика* получения знания: *от частного* – конкретной первичной информации, содержащейся в документе, *к общему* – мини-теории, общей для некоторой совокупности случаев (в нашем случае документов). Одним из вариантов ее (наряду с grounded theory) и является аналитическая индукция как *определенная логика получения теоретического знания из частных случаев, «сырых данных»*. Кратко эту логику можно проиллюстрировать следующим образом. Есть некоторый набор случаев (документов – транскриптов интервью), например, А, В, С, D, E, F. Берем документ А и изучаем его характеристики. Ему присущи признаки P, R, S. Кратко это можно записать так: А (P, R, S). Исследуем другие документы таким же образом:

В (Q, R, S)

С (Q, P, S)

D (K, R, S)

E (K, P, S)

F (K, Q, S).

¹ В частности, именно в этом качестве мной использовалась grounded theory в исследовании социально-экономической адаптации населения постсоветской России: с ее помощью анализировались тексты нарративных интервью – подробно об этом будет рассказано в главе 8.

Сравнивая эти случаи (документы), можно сделать вывод: общим и повторяющимся будет признак S. Остальные признаки либо специфичны *только для отдельного случая*, либо исследователь не сумел выделить нечто существенное, что *объединяло бы эти разные признаки*. Во втором случае, а у нас – именно он, для признаков K, P, Q, R, ищутся *обобщающие их объяснения*, которые могли бы быть применимы для каждого случая из исследуемых. В конечном итоге вывод может быть следующим: для существования феномена N необходимым и достаточным является наличие признака S и *любых других, общих для изучаемых случаев*. Отсутствие этих признаков свидетельствует и об отсутствии самого феномена. Метод аналитической индукции, таким образом, направлен на выявление *типического, общего* для совокупности изучаемых элементов. Американский социолог Д. Тернер назвал эту логическую процедуру *поиском универсального* [64, с.95], т.е. эмпирически установленных *общих причин*, основанном на тщательном изучении каждого из отобранных случаев, хотя, на мой взгляд, это поиск *не столько универсального, сколько обобщающего*: методология качественного исследования в принципе не ориентирована на производство универсального знания.

О. Ключкина, анализируя аналитическую индукцию так, как она была представлена ее первым исследователем Робинсоном, выделяет шесть этапов с точки зрения техники ее осуществления [63, с.94]:

- 1) приблизительное определение изучаемого феномена;
- 2) формулирование гипотез, его объясняющих;
- 3) исследование *одного* случая с целью определения соответствия гипотезы реальным данным;
- 4) пересмотр гипотезы, если она не соответствует данным, либо переосмысление самого феномена, либо исключение случая как не соответствующего изучаемому явлению;
- 5) исследование нескольких случаев, чтобы была достигнута некоторая определенность.

В качестве шестого этапа Робинсоном была выдвинута идея необходимости продолжения анализа случая до тех пор, пока не будут установлены достаточно надежно «универсальные взаимосвязи». Таким образом, в этой процедуре зафиксированы два важнейших процедурных момента, характерные для логики качественного исследования: *пересмотр гипотезы*, если имеются данные, противоречащие ей, и *возможность изменения* самого определения изучаемого феномена.

В качественном исследовании для поиска *типических паттернов поведения и сознания*, а также их интерпретации на *теоретическом языке* могут использоваться достаточно разнообразные методы. Л. Ньюман [64, с.93–100] выделяет пять из них: иллюстративный, поступательную аппроксимацию, аналитическое сравнение (техники согласия и различия), анализ доменов и построение идеальных типов. *Иллюстративный метод* используется для того, чтобы проиллюстрировать или «привязать» теорию. При помощи такого метода исследователь примеривает теорию к конкретной социальной ситуации или организует данные, содержащиеся в документах, в соответствии с предшествующей теорией. Существовавшая ранее теория предоставляет «*открытые ящики*» (белые пятна), а исследователь смотрит, в какой мере информация, содержащаяся в документах, может заполнить эти «ящики». Эта новая информация подтверждает или не подтверждает теорию, которую исследователь использует как инструмент для интерпретации изучаемых документов.

Поступательная аппроксимация предполагает возобновляемые итерации (повторения) или циклические возвраты при прохождении шаг за шагом сквозь текстовую информацию к результату – мини-концепции. Социолог начинает с исследовательских вопросов, а также с некоторых предположений (гипотез). Затем он апробирует их на данных, содержащихся в первых документах массива. Это позволяет увидеть, насколько предварительная гипотеза соответствует данным, раскрывает их характеристики. При

несоответствии создается новая гипотеза, в *большей степени* соответствующая текстовой информации. Затем исследователь анализирует *следующий документ*, чтобы проверить уточненную гипотезу на предмет ее *соответствия данным второго документа*. На этой стадии все повторяется сначала. Гипотеза может уточняться или быть отброшенной вовсе. Тогда исследователь формулирует новую гипотезу. На каждой такой стадии эмпирические *свидетельства и теория* оформляют друг друга. Этот процесс называется *аппроксимацией*, сближением, так как «модифицированные концепции приближаются к более полным свидетельствам и модифицируются снова и снова, пока постепенно не становятся более аккуратными» [64, с.94.]. Каждое прохождение через «сырые» данные здесь принципиально *предварительно и неполно*, выступает лишь этапом в циклическом движении к адекватной мини-концепции.

Логические процедуры *согласия и различия*, составляющие суть *метода аналитического сравнения*, были разработаны английским философом Дж. Ст. Миллем как возможные логические основания эксперимента (логика «единственного различия» и «единственного сходства»). Вместе с тем они могут успешно применяться и при анализе информации в качественном исследовании. В отличие от иллюстративного метода, где нужно в готовой теории только заполнить «пустые ящики», исследователь здесь в *полном соответствии с логикой качественного* исследования ищет *повторяющиеся образцы «внизу»*, в текстовой информации, чтобы противопоставить их альтернативным объяснениям и *теоретически описать*. Используя *логический прием согласия*, социолог акцентирует свое внимание на том, *что является сходным* во всех текстах. Он устанавливает *тождественный результат*, а затем пытается найти общие черты, которые можно было бы квалифицировать как *причины*. При этом типические черты ищутся путем исключения (элиминирования) тех возможных причин, которые не являются общими для всех анализируемых текстов. Затем те сходные моменты, которые могут быть причинами

одинакового результата, могут объединяться в более общие термины. Смысл такой логики заключается в том, чтобы доказать, что в изучаемых документах, несмотря на некоторые различия, *есть сходные типические черты*, которые могут быть квалифицированы социологом как некоторые *причины и их следствия* (результаты).

Логический прием различия состоит в том, что социолог классифицирует документы как по *сходным чертам*, так и по *противоречащим им*. При этом он как фиксирует тождественные причины и результаты в документах, так и ищет сходства (общие причины и результаты) в *альтернативных случаях*. Определенная симметрия в анализируемых документах в этой логике усиливает доказательность предположительной гипотезы. Обобщение, получаемое с помощью такой логики (в том числе и логики согласия), *не носят универсального характера*, то есть не являются законом, но тем не менее, теоретически описывают явление в *определённом социальном контексте* (время, место, условия).

Анализ доменов как метод обработки информации в качественном исследовании был разработан американским исследователем Дж. Спрэдди [45]. Доменом Спрэдди называет *единицу культурного окружения*, организующую концепцию. Домены включают в себя три части: *покрывающий термин* или фразу, *семантическое отношение* и *включенный термин*. *Покрывающий термин* – это просто название домена. *Включенные термины* – это подтипы или части доменов. *Семантическое отношение* показывает, каким образом включенный термин *логически встраивается* внутрь термина. В качестве семантического отношения могут быть использованы такие суждения: «такой стиль жизни, как», «человек подобного рода», «товары этого вида» и т.д.

Л. Ньюман как пример домена приводит исследование В. Зелицер, которая изучала изменение ценности «дети» в американском обществе, анализируя документы, так или иначе относящиеся к детской смертности в конце XIX-го века. В этом исследовании в качестве домена выступало отношение к детской смертности (*покрывающее сужде-*

ние). Суждения о различных представлениях по поводу этого явления, которые были обнаружены в текстах, – это *включенные термины*. Семантическое отношение здесь, включающее эти термины в домен, «является примером чего-либо». Такого рода домены называют *аналитическими*: покрывающие термины идут от исследователя, из его предварительных гипотез, предпонимания в целом. Они – *конструкция исследователя*, пытающегося таким образом структурировать анализируемый текст. В то же время покрывающий термин «*вырастает из текста*», соответствует ему. Исследователь, использующий этот метод, «продвигаясь по тексту», создает *аналитические заметки*, из которых потом и черпает покрывающие термины, формируя домены. После того, как домены созданы, осуществляется *организация доменов* путем установления различия и сходства между ними. Исследователь затем объединяет домены, где это возможно, в *типы* как более общую конструкцию, куда домены входят уже в качестве включенных терминов. Так происходит *индуктивное восхождение от «сырых данных» к некоторым обобщающим категориям*, к построению *типологии* социального явления, «*вырастающей*» из текстовой информации.

Метод идеальных типов, предложенный М. Вебером, предполагает использование *моделей*, ментальных образований, описывающих то или иное социальное явление, в качестве базы для сравнения с «живой» социальной реальностью. Модель представляет собой «*чистый*» образец, *идеальную умозрительную конструкцию*, созданную исследователем. Сравнение ее с конкретным «случаем», как правило, далеким от идеала, помогает исследователю понять специфические черты изучаемого объекта, его «особость», увидеть сходство или различие с подобными явлениями, подчеркнуть уникальность контекста. В этом смысле идеальный тип выступает своеобразным инструментом, организующим текстовую информацию в определенном направлении для реконструкции социального явления.

Литература

1. Журавлева И.В. Особенности интервью как разновидности метода опроса // Методы сбора информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1990. Кн. 1.

2. Ноэль Э. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии. М.: Прогресс, 1978.

3. Погосян Г.А. Метод интервью и достоверность социологической информации. Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1985.

4. Голофаст В. Три слоя биографического повествования // Биографический метод в изучении постсоциалистических обществ. Материалы международного семинара. СПб., 1997.

5. Андреенков В.Г., Сотникова Г.Н. Телефонный опрос // Методы сбора социологической информации. М.: Наука, 1990. Кн. 1.

6. Исупова О.Г. Телефонное интервью: заметки организатора опроса // Социология: 4М. 1996. Т.7.

7. Handbook of Interview Research: Context and Method. London, New Delfi, Thousand Oaks: Sage Publications, 2001.

8. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью. М., 1990.

9. Белановский С.А. Метод фокус-групп. М.: Магистр, 1996.

10. Социологическое исследование: методы, методика, математика и статистика: Словарь-справочник. М.: Наука, 1991. Т.4.

11. Веселкова Н.В. Методические принципы полужформализованного интервью // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

12. Donaghy W.C. The interview: Skills and applications. Dallas: Skott, Foresman and Jo, 1984.

13. Punch K. Introduction to Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 1998.

14. Пэнсон М., Пэнсон-Шарло М. Социальная дистанция и специфические условия полужформализованного ин-

тервью. Практика исследования аристократии и крупной буржуазии // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

15. Krueger A.R. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1988.

16. Debus Mary. Handbook for Excellence in Focus Group Research. Academy for Educational Development, New-York, 1997.

17. Толстова Ю.Н. Кризис социологического измерения в начале нашего века и пути выхода из него // Социология: 4М. 1996. Т.7.

18. Маслова О.М. Количественная и качественная социология: методология и методы (по материалам Круглого стола) // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

19. Квале С. Исследовательское интервью. М.: Смысл, 2003.

20. Riessman C.K. Narrative Analysis. Newbury Park, London, New Delfi: Sage Publications, 1993.

21. Ярская-Смирнова Е.Р. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: Саратовский гос. техн. университет, 1997.

22. Расскажи свою историю. СПб.: На дне, 1999.

23. Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: факторы успешности-неуспешности // СоцИс. 2001. №7.

24. Labov W. Some Further Steps in Narrative Analysis // Special Issue of the Journal of Narrative and Life History, 1997.

25. Shotter J. Conversational realities. Thousand Oaks: Sage, 1993.

26. Журавлев В.Ф. Нарративное интервью в биографических исследованиях // Социология: 4М. 1993–1994. Т.3–4.

27. Шюц А. Аспекты социального мира // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.

28. Артемов В.А., Ростовцев П.С., Артемова О.В. Опыт лонгитюдного исследования использования времени // СоцИс. 1999. №2.

29. Каган М.С. Мир общения. Проблема межсубъектных отношений. М.: Политиздат, 1988.

30. Бургос М. История жизни. Рассказывание и поиск себя // Вопросы социологии. 1992. №1–2.

31. Клименкова Т. Феминистские стратегии интервьюирования и анализа данных // Возможности использования качественной методологии в гендерных исследованиях (материалы семинаров). М., 1997.

32. Бобнева М.И. Нормы общения и внутренний мир личности. М.: Наука, 1991.

33. Гиртц К. С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования. М.: Институт социологии РАН, 1996.

34. Гофман И. Представление себя другим. М.: Канон-Пресс-Ц, 2000.

35. Devies B., Harre R. Positioning the discursive production of selves // Journal for the Theory of Social Behavior. 1990, vol. 20, n.1.

36. Лехциер В.Л. Апология черновика или «Пролегомены ко всякой будущей...» // Новое литературное обозрение. 2000. №4.

37. Мамардашвили М. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.: Лабиринт, 1994.

38. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М. А. Философия науки и техники. М.: Контакт-Альфа, 1995.

39. Практикум по социологии. М.: Московский университет, 1992.

40. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет, 1998.

41. Петров Э.П. Понятие наблюдения в социологии // Методы сбора информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1990. Кн. 2.

42. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология, исследовательские практики. Самара: Самарский университет, 2002.

43. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1998.
44. Hammersly M. Ethnography: Principles in Practice. L: Tavistock, 1983.
45. Spradley J.P. Participant observation. N.-Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
46. Aborlaphia M. Creating the markets Yoll-Street opportunism and restraint MIT, 1998.
47. Горяновский А. Украсть можно все (результаты включенного наблюдения) // СоцИс. 1999. №2.
48. Ивлева И. Уличный рынок: среда петербургских торговцев // Невидимые грани социальной реальности. СПб, 2001.
49. Гладарев В. «Для нас работа – перерыв между рыбалкой» (субкультура рыбаков-любителей) // Там же.
50. Виноградский В.Г. Крестьянские семейные хроники // Социологический журнал. 1998. №1–2.
51. Виноградский В.Г. Как определять и наблюдать факты неформальной экономики домохозяйств // Методологический потенциал качественной социологии и способы его реализации в социологических исследованиях. Самара, 2000.
52. Исупова О. Г. Различные подходы к анализу текстов и возможность их применения в социологических исследованиях // Методология и методы социологических исследований. Программа магистерского обучения. М., 1996.
53. Социально-психологический портрет инженера. М.: Наука, 1977.
54. Козлова Н. Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора). М.: Институт философии РАН, 1996.
55. Федотова Л.Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой информации. М.: Научный мир, 2001.
56. Гафт Л. Г., Игитханян Е. Д. Использование статистических источников в социологических исследованиях //

Методы сбора информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1990. Кн.2.

57. Дридзе Т.М. Информационно-целевой анализ содержания текстовых источников // Методы сбора информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1990. Кн. 2.

58. Киселева И.П. Информационно-целевой анализ текста свободного интервью // Социологический журнал. 1994. №3.

59. Козлова Н. Документы жизни: опыт социологического чтения // Sociologos, М.: Sociologos, Институт экспериментальной психологии, 1996.

60. Киблицкая М. Дневники как метод гендерной социологии: стратегии выживания одиноких матерей // Женщина не существует: современные исследования полового различия. Сыктывкар: Сыктывкарский университет, 1999.

61. Голофаст В. Б. Ветры перемен в социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2000. №4.

62. Козлова Н., Сандомирская И. «Наивное письмо» и производители нормы // Вопросы социологии. 1996. Выпуск 7.

63. Ключкина О.Б. Построение теории на основе качественных данных // Социс. 2000. №10.

64. Neuman L.W. Social methods. Quantitative and Qualitative approaches. Allan and Bacon, 1994.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Большинство из нас лишь в редкие моменты ясно осознает тот факт, что они так и не извлекли тайны саморелизации, что существуя, они проходят мимо истинного существования

Мартин Бубер
Я и Ты

...мы действительно не решаемся вести разговоры о бытии. Это слишком откровенно, слишком интимно, слишком эмоционально. Прячась от бытия, мы теряем как раз то, что больше всего ценим в жизни

Ролло Мэй
Открытие бытия

1. Экзистенция, экзистенциалы и качественное социологическое исследование

Еще раз об отношениях между познающим и исследуемым субъектами. Ранее я уже говорила, что методология качественного социологического исследования, выросшая на теоретической почве антипозитивизма с его критикой нововременной формы научного знания, декларирует субъект-субъектное отношение в процессе познания в отличие от субъект-объектного, «картинного» (в терминах М. Хайдеггера), характерного для классического социологического исследования, классической рациональности в целом. Такое отношение предполагает диалог сознаний [1], ко-

гда «чужое сознание» рассматривается не как вещь, объект в его предметной противопоставленности познающему субъекту, но прежде всего как участник диалога с сознанием исследователя. Правда, в качественном исследовании¹ это *принципиальное отношение* на уровне *конкретного взаимодействия* исследователя и информанта в рамках, например, интервью, принимает (я уже говорила об этом в главе 6) *особую форму*: у *познаваемого субъекта* остается *объектная сторона*. Видимо, это тот случай *познавательных практик*, когда, по мнению Л.А. Микешиной, возникает необходимость признать *сложный* характер отношений между исследователем и исследуемым, что, на мой взгляд, очень точно названо ею *субъект-объектным взаимодействием в контексте субъект-субъектных отношений* [2, с.54].

Декларирование субъект-субъектного отношения одновременно означает и другое: *отказ* от фигуры «частичного» анонимного исследователя, абстрактного Субъекта познания, чей «чистый» (мыслящий всегда правильно) Разум производит универсальные истины. В самом деле, в методологии классической науки «частичный» (*то есть только мыслящий*) гносеологический субъект, очищенный от идолов познания (вспомним Ф. Бэкона), максимально разумный, владеющий правилами «рассуждающего ума» [3, с.180], не ошибающийся, не заблуждающийся, всегда находящийся «за кадром», выступает *гарантом, условием* достоверного истинного знания. Такой субъект познания фактически является *наблюдающим сознанием вообще*, он – внеэмпирический, виртуальный, идеально мыслящий и действующий когнитивный феномен. *Реальный же эмпирический* познающий субъект, в единстве его пред-рассудочной и рассудочной деятельности, способный чувствовать и впадать в заблуждение, в методологии классической науки *изгоняется* из исследовательского процесса, *выносится за его пределы*.

¹ Исключение составляют лишь феминистские исследования как особая ветвь качественных исследований.

Сегодня все больше осознается, что «очищенный мир Разума», абстрактный, теоретизированный мир классической науки весьма далек от *«живого»* познания («живознания»), как говорил известный русский философ А. Хомяков), осуществляемого *конкретным эмпирическим субъектом* во всей *целостности* его ипостасей и проявлений. Становится ясно, что там, где человек *присутствует*, он всегда *значим* и не может быть выведен за скобки без последствий для видения и понимания изучаемого процесса [2, с.18].

Идея возвращения исследователя как *целостного человека*, «воляще-чувствующе-представляющего существа» в терминологии В. Дильтея [4, с.62], в познавательный процесс порождает применительно к качественному исследованию ряд *новых гносеологических проблем*, о которых фрагментарно я уже говорила ранее: необходимость поиска *новых (иных) средств* доказательности выводов в ситуации отсутствия математических способов доказательности; признание неизбежности *конвенционального характера* получаемого знания как результата *интерсубъективной коммуникативной деятельности* познания (это очень хорошо демонстрирует *grounded theory* как определенная стратегия качественного исследования); принципиальное отсутствие «единственно правильных повествований» изучаемых людей (нарративов) в ситуации интервью, то есть *появление нарративов-черновики*, равнозначных нарративов, когда повествование выступает продуктом сотворчества, ориентированным на ожидания и оценки социолога; признание *принципиальной множественности интерпретаций* изучаемого социального явления, из которых социологу все-таки необходимо выбрать «самую-самую» и т.д.

Вместе с тем, идея возвращения *исследователя как целостного человека* в поле качественного социологического исследования порождает не только сложные *собственно гносеологические проблемы*, но и дает возможность его (исследования) *бытийного, экзистенциального истолкования*. Действительно, экзистенциальная философия, прежде все-

го в лице К. Ясперса [5] и М. Хайдеггера [6]¹, а также современная философская герменевтика, представленная прежде всего Г. Гадамером и П. Рикером [8]; [9], убедительно доказали, что интерпретация, понимание, выступающие, как я уже говорила ранее, в качественном исследовании *главной целевой задачей*, являются не только *моментом познания и истолкования смыслов*, то есть чисто познавательной процедурой, но прежде всего *способом бытия, «которое существует, понимая»* [6, с.143].

В самом общем виде это означает, что *субъект познания, исследователь*, как и любой другой человек, – это всегда человек *интерпретирующий*, поскольку его существование и деятельность разворачиваются не просто в объективной действительности, но в мире *созданных им образов, знаков, символических форм*, присущих самой человеческой жизни. Человек не выходит в мир непосредственно, но *через символизм*, знаковые, в особенности языковые объективации, в целом через «символические универсумы» в терминологии Э. Кассирера [10, с.202], задающие смыслы, которые требуют *истолкования, интерпретации* для осуществления любого рода деятельности. Знаменитый «онтологический поворот», совершенный М. Хайдеггером, который Г. Гадамер назвал «переходом от мира науки к миру жизни» [11, с.7], в том и состоит, что он по преимуществу вывел герменевтическую интерпретацию *за пределы анализа текстов* в сферу «экзистенциальной *предструктуры понимания*», различил *первичное – дорефлексивное* – понимание как *способ бытия человека*, тот горизонт *предпонимания*, от которого нельзя освободиться, и *вторичное понимание* (философское, поэтическое, научное), возникающее на *рефлексивном уровне*, и коренящееся в первичном предпонимании.

¹ Правда, М. Хайдеггер противился тому, чтобы его труды шли «по ведомству» экзистенциальной философии, рассматривая свое обращение к положениям этого направления в «Бытии и времени» лишь как методический прием, позволяющий перейти к универсальной онтологии [7, с.6].

Понятия экзистенции и экзистенциала. Разговор о бытийной, экзистенциальной грани качественного социологического исследования нуждается, видимо, в анализе основных понятий такого подхода, разработанных экзистенциальной философией. Экзистенциально-философское понятие *существования* в конечном счете восходит к давнему различию между понятиями «*essentia*» и «*eksistentia*», где *эссенция* выражает то, что есть *нечто*, то есть *сущность* вещи, ее «чтойность». Напротив, термин «*экзистенция*» в словосочетании «*есть нечто*» делает акцент на «*есть*», то есть на том, что действительно имеется *вот это* сущее. Иными словами *экзистенция* – это «*вот-бытие*», *реальность данного сущего*. Следует подчеркнуть, что на языке экзистенциальной философии термин «*экзистенция*» всегда относится только к *человеческому существованию* в отличие от смыслов этого термина в средневековой традиции и философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей), выступающей прародительницей экзистенциальной философии.

Истоки такого понимания термина «*экзистенция*», как и корни философии экзистенциализма¹ исследователи видят в трудах великого датского религиозного мыслителя и писателя Серена Кьеркегора, сумевшего обозначить *проблему кризиса личности*, которая составила, по точному выражению П. Гайденко, «основной нерв европейской философии XX века». [13, с.13]. Для этого Кьеркегор использует термин «*tilværelse*», структурно образованный из префикса «*till*» и переводится с датского как «к», обозначая принадлежность к чему-то, а также из «*værelse*», которая переводится как «комната», «обиталище», «место жительства» [14. с.41]. В целом «*tilværelse*» является общеупотребительным словом датского языка и используется в повседневном употреблении в значении *существования и наличного бытия*. Вместе с тем, полагает исследователь творчества Кьеркегора Т. Щитцова, датский философ не отказы-

¹ Впрочем, экзистенциализм можно рассматривать и в расширительном смысле как «движение в культуре» [12, с.49], представленное в философии, психологии, литературе и искусстве.

вается от традиционного значения этого слова, но и не ограничивается им [14, с.42]. Трансформация *традиционного* значения слова *tilværelse* происходит в связи с проблематизацией *человеческой экзистенции* и оборачивается тем, что *человеческое tilværelse* не укладывается в рамки наличного бытия, «голой наличности». Этот термин у Кьеркегора имеет и другой, «нетрадиционный» смысл: бытие *отдельного, существующего в действительности индивида, «существующего мыслителя»*, который живет, *экзистируя*, то есть *обладает экзистенцией*, поскольку он есть в действительности.

Кьеркегоровское понятие «*существующего мыслителя*» («*субъективного мыслителя*») выросло из ситуации *противоборства* с рационалистической трактовкой человеческого существа *исключительно как мыслящего субъекта*, господствовавшей в новой философии от Декарта до Гегеля. Оно (это понятие) принципиально противостояло объективно-научному мышлению (объективно-систематической философии в лице Гегеля в целом) с его идеалом *абстрактного мыслителя*, принципиально *оторванного* от потребностей и проблем его собственной жизни: по Кьеркегору «... это мышление, при котором не существует мыслящего» [13, с.15]. «Абстрактное мышление, – полагал Кьеркегор, – это мышление с точки зрения вечности, оно отказывается от конкретного: от временности, от становления экзистенции, от того, что существующий должен существовать» [15, с.160]. «Абстрактное мышление устраивает мне бессмертие таким образом, – иронично замечает датский философ, – чтобы убить меня как *единственного существующего индивида* (курсив мой – А.Г.) и затем делает меня бессмертным и, следовательно помогает мне примерно так, как взявшийся лечить коновал, который своей медициной просто убил пациента, а значит и сбил у него температуру» [15, с.161]. Чистое абстрактное мышление, полагает Кьеркегор, «есть вообще своего рода *психологическая странность*, удивительный вид чего-то, что остроумно

сконструировано в *фантастической среде*: чистом бытии» [15, с.162] (курсив мой – А.Г.).

У абстрактного мыслителя, движущегося в мире «голо-го» мышления, бытие и мышление *неизбежно распадаются*, так как абстрактное мышление *«незаинтересованно»* (термин Кьеркегора – А.Г.) [15, с.161]. Напротив, *существующий мыслитель* «...это тот, чье мышление обусловлено определенными задачами и трудностями *его собственной жизни*, чье мышление не является самоцелью, но находится на службе его существования» (курсив мой – А.Г.) [16, с.30]¹ Существующий мыслитель *бесконечно заинтересован* в своем существовании, по мысли философа. Само человеческое бытие устроено так, полагает Кьеркегор, что *непрерывное развертывание мысли* в нем оказывается невозможным. В настоящем существовании мышление задействовано лишь в качестве *служебного звена*: «...существующий ... мыслит моментами... Его мышление не получает абсолютной континуальности» [16, с.32].

Есть и еще один подход к определению *экзистенции*, наиболее четко выраженный известным немецким исследователем экзистенциализма О. Больновым. Экзистенция по его мнению, есть философское выражение *радикального человеческого опыта* [16, с.37], когда «жизнь заступает место «*cogito*», становясь аподиктической достоверностью для того, кто не охвачен поиском общезначимого и объективного знания» [18, с.43]. Экзистенция здесь – «мыслительное выражение *совершенно определенного решающего переживания в человеке*, которое выделяется из всех моментов неопределенности и нерешительности остальной жизни характером неоспоримой окончательной отрешенности»

¹ Этой идее подчинения философии повседневному существованию Кьеркегор следовал и в собственной жизни, считая философию глубоко личной, частной сферой: он даже принципиально издавал свои произведения частным образом, за свой собственный счет. Видимо, это позволило известному русскому философу Л. Шестову так определить его философию: «Свою философию он называл экзистенциальной – это значит, он мыслил, чтобы жить, а не жил, чтобы мыслить» [17, с.19].

(курсив мой – А.Г.) [16. с.28]. Здесь термин *«переживание»* понимается в Дильтеевском смысле, как *«факты сознания»*, *«фактичность жизни»* [19, с.101], данная конкретному человеку в ее целостности, неразложимости на *«стволы»* и способности познания (интеллектуальные и чувственные), неделимости на сферы *«внутреннюю»* и *«внешнюю»* [18, с.36]. Переживание здесь – *абсолютная непосредственность*, непосредственное индивидуальное *«обладание»* значениями.

Такой опыт предполагает обнаружение *сокровенного внутреннего ядра человека* как *предельного и безусловного*, целиком обретенного или целиком утерянного, лежащего *«по ту сторону»* от всех *«внешних»* содержательных данностей; при этом внешними, *«чужими»* могут оказаться и собственное тело, и собственные чувства. Вместе с тем существование не понимается как обладание этим ядром, это всегда *движение*, всегда *путь* опыта, *это пере-живание или «жизнь в модусе «пере»*, если воспользоваться удачным выражением современного российского исследователя В. Лехциера [18, с.44]. Приставка *«пере»*, обозначает движение с одного места на другое, чрезмерность и возобновляемость действия. *«Переживание – это не только кочевье, бродяжничество, неприкрепленность к месту, вечная атопия»*, но и *особое время: время вечного настоящего, не имеющего завершения* [18, с.45]. Жизнь в модусе *«пере»*, предполагает *незавершенность, становление, изменение, обнаружение-рождение себя другого*.

Вот это *обнаружение-рождение себя, способность относиться к самому себе* и составляет принципиальное отличие *человеческого способа бытия* от способов бытия внешних предметов: природы, например. Вместе с тем, в экзистенциальной философии отношение к самому себе неизбежно предполагает и *отношение к иному, выход за пределы существования, трансценденцию*. *«Подобно тому, как в плоскости естественной жизни одновременно с Я уже всегда полагается мир, точно так же и теперь в экзистенциальной плоскости в рамках такого же неделимого опыта*

одновременно с существованием полагается трансценденция», – говорит К. Ясперс [5, с.48]. Это означает, что экзистенция должна постигаться в своей сущности *не как покаяющееся, само на себя замкнутое бытие*, но как такое существование, которое устремлено *за свои пределы*, к некоему *Иному*, во всем многообразии его проявлений. Так понимаемое человеческое существование поэтому достигается в *со-отношении, со-отнесении* себя с чем-то вовне: жизненной задачей, смертью и т. д. Не случайно, термин «экзистенция» вырастает из латинского «*existo*», что означает «выступать», «становиться», «появляться», «обнаруживаться». В свою очередь «*ex-sisto*» этимологически складывается из «*sisto*»- «ставить», «становиться», «длиться», «продолжаться» и приставки «*ex*», означающей «движение вверх», «из», «вне» [20, с.309, с.712]. Таким образом, экзистенциальное существование всегда означает *становление собой, обнаружение себя* и одновременно *переступание через себя, отделение от себя*, движение *от себя* к Иному, Другому.

Попытка «схватить» *сущность экзистенции*, несмотря на все сложности сущностного определения этого явления, о котором говорят многие философы-экзистенциалисты [16, с.45]; [5, с.78] и др., принадлежит М. Хайдеггеру. Для него сущность экзистенции не может быть описана с помощью традиционно содержательных характеристик, понятий, описывающих «*что*» предмета, и выступающих еще со времен Аристотеля способом анализа *сущности вещей*, их «*чтойности*». Взамен этого он предлагает постичь «существование» человека в его «*как*».

Первым фундаментальным «*как*» человеческого существования является его «*вот*» или *фактичность*, схваченная М. Хайдеггером в легендарном термине *Dasein* (из немецкого *sein*- *быть* и *da* – *здесь, вот, здесь-сейчас*). Поэтому М. Хайдеггер не говорит «человек» в силу абстрактности и пустоты этого слова, а говорит «*Dasein*», указывая на *всегда конкретное и всегда мое бытие*. По Хайдеггеру, «*сущность Dasein состоит в его существовании*» [6, с.42].

В таком понимании термин «экзистенция» означает не просто фиксацию факта *действительного бытия*, но прежде всего *способ бытия человека, его способность, онтологическую возможность быть*. Очень точно, на мой взгляд, это выразил К. Ясперс: «... экзистенциальное существование – это не просто мое личное бытие, но человек в своем личном бытии является *возможным экзистенциальным существованием*» (курсив мой – А.Г) [5]. Одновременно это означает, что возможно личное бытие и без экзистенциального существования¹. Здесь экзистенциальное существование понимается как *собственная возможность личного бытия, цель, жизненная задача*.

Термин «*экзистенциал*», впервые введенный М. Хайдеггером, *созвучен* термину «*категория*» в том смысле, что и тот и другой обозначают *формы онтологического познания*, то есть являются *опорными основаниями мышления о бытии*. В этом смысле и те и другие сопоставимы по своей *фундаментальности*, хотя «и альтернативны друг другу по способу онтологической предикации» [21, с.259]. С помощью категорий и по их подобию построенных понятий, как известно, описывается *мир сущего*: мир вещей, предметный мир, и «мир человека, если он рассматривается в модусе вещи: человек как порождение обстоятельств» [22, с.34]. Категории всегда *определенным образом организованы*, «благодаря чему они могут быть *универсальными* орудиями познания: всякий познающий пользуется ими одинаково» [22, с.35]. В сущности организованная система категорий и понятий – это и есть *Познающий Разум* новоевропейской культуры, главный стержень *парадигмы «cogito»* [23, с.5], наиболее емко выраженной в знаменитом декартовском утверждении: «*cogito ergo sum*».

Следует сказать, что выделение М. Хайдеггером *экзистенциалов* как *особых мыслительных форм* сопровождалось радикальной критикой *классической традиции* с ее

¹ В этой связи Ясперс говорит о «массовом безответственном бытии» как о бытии без существования, а Хайдеггер вводит понятия «подлинного» и «неподлинного» бытия .

опорой на *категории* как *несущие конструкции* всего здания метафизики (классической философии). Обращаясь к этимологии слова «*категория*», которое в переводе с греческого означает «обвинение», «осуждение», «приговор», «обличительная речь», философ говорит о *дофилософском значении* категорий как таких «называющих слов», в которых вещь схвачена, выставлена на вид, изобличена: «Категории суть обнаруживающие названия сущего в аспекте того, чем сущее по *своему устройству* является» [6, с.85]. В то же время это – «*молчаливое название*», которое невысказанно присутствует в любом повседневном высказывании о мире: «категории неприметно встроены в привычный ход наших мыслей и рассуждений, что в каждодневном обращении к сущему большинством людей на протяжении их жизни не ощущается, не узнается» [21, с.260]. Это означает, что категории «должны быть осмыслены как такие *мыслительные формы*, которые не будучи еще опознанными и именованными, фундируют любое, в том числе и далекое от философии суждение, даже если оно наивно, банально, плоско или даже глупо» [21, с.261]. Вместе с тем, это свидетельство того, что метафизика скрыто правит миром повседневности, схватывая в категориях *состав сущего* и *тем самым бытие*: «бытие *есть* и во всяком сущем *уже есть*» (курсив мой – А.Г.) [6, с.44]. Вместе с тем, по мнению немецкого философа, *категориальный анализ* (*а значит, и классическая философия*), заботясь о как можно более полном представлении *полноты сущего*, его *состава*, *фактически упускает само бытие*, которому мир сущего принадлежит, не «схватывает» *смысл бытия*.

Выявление же *смысла бытия*, его *состава* возможно, по Хайдеггеру, с помощью *экзистенциальной аналитики*, в рамках которой выделяются особые *конститутивные моменты Dasein*, названные им *экзистенциалами*. Экзистенциалы характеризуют *фундаментальные способы* человеческого бытия, или в терминах М. Хайдеггера *бытийные черты Dasein*, его *формы проявления*: с их помощью, *через них* оно себя проявляет. Экзистенциалы – по мнению, рос-

сйского исследователя В.А. Конева, «живые», бытийные черты Dasein, *отличительные способности быть*, своего рода кристаллизация этих бытийных способностей. Одновременно это и способы явления бытия именно потому, что немецкий философ увидел в *человеческом существовании* некоторым образом *привеллигированное сущее*, то сущее, опрос которого на предмет его бытия, приведет в конце концов к *смыслу бытия вообще*. В этом ключе «экзистенциалы – это ... форточки, окна, через которые бытие себя показывает» [22, с.36]. Экзистенциалы, и это следует подчеркнуть особо, выступают *средствами (формами) рационального познания*, между ними, как и между категориями, может быть установлена *определенная связь*, правда, «формула» этих связей – другая, нежели в системе категорий (понятий). Это могут быть отношения: *раньше-позже, для-того-чтобы, еще-не и т.д.* [22, с.36].

М. Хайдеггер выделяет и анализирует целый ряд экзистенциалов: *бытие-в; люди; страх; забота; речь; расположение; понимание; смерть; совесть; время* и т. д. [6]. Важнейший из них – *люди*. Сама идея выделения этого экзистенциала связана с *неизбежным дуализмом* личного бытия, который отмечается многими философами-экзистенциалистами, а Хайдеггером выражен в положении о *двух модусах* личного бытия: *подлинном и неподлинном*. Оба этих модуса означают *способы*, посредством которых человек существует: это его *бытийные возможности*. *Неподлинное бытие*, в котором мы все преимущественно пребываем, – это, по Хайдеггеру, «личное бытие в его максимальной конкретности – в его деловитости, увлеченности, заинтересованности, способности к наслаждению» [6], (по М. Буберу – это *бытие в мире «Оно»* [24, с.22]). *Подлинным же*, по мнению, Хайдеггера, является *экзистенциальное существование*, «пробиться» к которому можно только «скачком» за счет категорического отказа от естественного личного бытия, маркируемого здесь как состояние *неподлинности*.

Неподлинное естественное личное бытие, которое в экзистенциальной философии рассматривается как «*всегда совместное бытие*» с окружающими людьми, как способ бытия *безличного* «*das Man*» у Хайдеггера [6] или «*мы все*» у Ясперса [5], неизбежно нивелирует индивидуальное самосознание человека, *удерживает* его от подлинности существования. Очень точно это состояние описал К. Ясперс: « В наивном личном бытии я делаю то, что делают все, верю в то, во что верят все, думаю так, как думают все. Мнения, цели, страхи, радости переходят от одного к другому при том, что никто этого не замечает, поскольку имеет место *исходная беспроблемная идентификация* всех со всеми» (курсив мой – А.Г.) [5, с.324]. Беспроблемная идентификация здесь означает естественное наивное «*растворение*» человека во всех окружающих его людях, «*невыделение*» себя из мира людей. *Прорыв к подлинности* всегда осуществляется в *одиночестве отдельной души*, которая в решительном напряжении *разрывает* неизбежную включенность человека в анонимное «*массовое бытие*». Вот этот *процесс высвобождения* из сообщества «*das Man*», к себе, к *само-бытию* и есть сущность экзистенциального существования. Понятно, что никто не может жить одной лишь экзистенцией: такое достигается только в *отдельные моменты, мгновения, которые можно было бы назвать экзистенциальными мгновениями*. «Человек не может жить без «*Оно*». Но тот, кто живет только с «*Оно*», – не человек» – кратко и емко сформулировал проблему подлинности-неподлинности Мартин Бубер [24, С. 24].

Философы-экзистенциалисты выделяли и другие экзистенциалы как фундаментальные черты бытийного присутствия (Dasein): К. Ясперс, а также М. Бубер говорят о «*коммуникации*», «*встрече*» как об экзистенциалах. М.М. Бахтин подвергает рефлексии такой экзистенциал, как *событие* [1]. Сегодня современные российские исследователи выделяют еще *ряд экзистенциалов*. Так, В.Л. Лехциер анализирует спор, рассматривая *не ту его разновидность*, которая вы-

ступает *способом познания истины* (именно о таком споре говорят, что в нем рождается истина), но прежде всего тот его вариант, когда спор *сам по себе* оказывается *экзистенциально значим* для спорящих, «задевает» их существование, выступает *способом самоопределения себя, движения к себе* в пространстве вызова, куда все мы так или иначе погружены [25, с.36-47]. «Отцы и дети, правые и левые, архаисты и новаторы, красные и белые, националисты и космополиты, – бесконечная чередра радикальных и принципиальных вызовов» [25, с.41].

Качественное социологическое исследование как поле экзистирования. Я полагаю, что реальность качественного социологического исследования практически на любом его этапе для социолога может рассматриваться как поле экзистирования, где возможны прорывы к себе, к само-бытию, то есть возможен экзистенциальный опыт. На мой взгляд, наиболее отчетливо такое возможное движение к себе социолога в поле качественного исследования осуществляется по меньшей мере, в следующих экзистенциалах: «встреча», «коммуникация», «событие», «иное, другое».

«Встреча», «коммуникация» как экзистенциалы, как я уже говорила ранее, блестяще проанализированы М. Бубером и К. Ясперсом. Мартин Бубер так же, как и М. Хайдеггер, говорит о *фундаментальной двойственной позиции* человека в мире, которую он описывает с помощью двух пар «основных слов»: «Я – Оно» и «Я – Ты». «Я – Оно» - это *познание, восприятие мира* как упорядоченного, расчлененного, находящегося вокруг человека: вещей, состоящих из определенных свойств, сравнимых со свойствами других вещей; людей как вещей, то есть обладающих определенными качествами; просто событий, просто поступков, вписанных в определенную пространственную и временную сетку [24, с.22].

Вместе с тем, по Буберу, «познавая, человек остается непричастен миру. Потому что знания локализируются *в нем*, а не между ним и миром. Мир не сопричастен процессу познания. Он позволяет изучать себя, но ему нет до этого дела,

ибо он никак этому не способствует, и с ним ничего не происходит» [24, с.7]. Здесь Я – только *носитель восприятий*, обедненный до *познающего субъекта*, окружающий мир – его объект. Человек в рамках «Я – Оно», то есть Я основного слова «Я – Оно», полагает М. Бубер, *не имеет настоящего* – только прошедшее: человек, живущий вещами, которые он познает и использует, тем самым превращая их в объекты – такой человек живет только в прошлом, ведь объекты всегда «не имеют длительности», всегда «застой и прекращение, оцепенелость и оторванность», и потому всегда принадлежат прошедшему [24, с.11].

Иное дело – «основное слово» «Я – Ты», которое утверждает *мир отношений*: «Если я обращен к человеку как к своему «Ты», ...то он не вещь среди вещей и не состоит из вещей» [24, с.9]. В такого рода *отношении, по Буберу* (сегодня мы называем его субъект-субъектным – А.Г.), происходит преодоление *познавательного отношения*: «человека, которому я говорю Ты, я не познаю. Только выйдя из этого отношения, я буду снова познавать его. Знание есть отдаление Ты». В Я – Ты связи Ты, Другой – всегда *целостная личность*, несводимая к «непрочному объединению обозначенных словами свойств»: «как мелодия не есть совокупность звуков, стихотворение – совокупность слов, и статуя – совокупность линий». Более того, и здесь Бубер созвучен Дж.Г. Миду, в Я-Ты отношении, когда основное слово говорится *всем существом*» (курсив мой – А.Г.) *становление себя* возможно лишь через обращение к другому Ты: «Я становлюсь собой лишь через мое отношение к Ты. Становясь Я, я говорю Ты» [24, с.9]. *Нахождение Ты, включенность в отношение «Ты»* – это всегда по Буберу акт, которым осуществляется «*мое бытие*»: *всякая подлинная жизнь есть встреча. Подлинное наполненное настоящее* существует лишь тогда, когда осуществляется *присутствие, встреча*. Отношение «Я-Ты» – это *непосредственное* отношение: «никакая абстракция, никакое знание и никакая фантазия не стоят между Я и Ты». Непосредственность здесь означает и отсутствие оп-

ределенной цели, *бескорыстное отношение*: «лишь там, где все средства рассыпались в прах, происходит встреча» [24, с.11].

Экзистенциальную коммуникацию анализирует и К. Ясперс. Будучи в начале своей карьеры врачом-психиатром, размышляющим об эффективности лечения душевнобольных, немецкий философ в работе «Общая психопатология» «вышел» на проблему *общения врача и пациента*. По его мнению, только *экзистенциальное общение* врача и пациента, когда преодолено отношение к больному как *предмету, объекту*, а есть *подлинная внутренняя связь* двух личностей, двух неповторимых судеб, способно привести к эффективному лечению. Главная мысль Ясперса, выходящая за пределы отношений «врач-пациент», в его формулировке состоит в следующем: «Человек как *целое не объективируем*. Поскольку он объективируем, он есть предмет... но в качестве такового он никогда *не есть он сам*. ...Нельзя больше путать объективно-предметное в человеке... с *ним самим как экзистенцией*, открывающейся в коммуникации» (курсив мой – А.Г.) [13, с.298].

Ясперсу принадлежит *концепция различных уровней человеческого «Я»*, из которых он выводит и *разные уровни коммуникации или шире – типы социальности*. При этом коммуникация рассматривается им как *универсальное условие* человеческого бытия, как *экзистенциал*: «Она настолько составляет его всеохватывающую сущность, что все то, что есть человек и что есть для человека ... обретается в коммуникации». Первый уровень «Я» – это «Я» *эмпирическое*, которое немецким философом понимается прежде всего как *природное «Я»*, стремящееся к удовлетворению своих потребностей, движимое, как все живое, инстинктом самосохранения, стремлением к выживанию. Коммуникация в рамках так понимаемого индивида – это способ организации общества, основанный на частном интересе.

Второй уровень – это «Я» как *сознание вообще* (термин Ясперса – А.Г.), лишенное своей эмпирической определен-

ности, отличающей одно «Я» (одного индивида) от другого «Я». Такое «Я» выступает как *надиндивидуальное*, как *Познающий Разум вообще*, действующий по строгим и одинаковым для всех «правилам рассуждающего ума» в терминологии Декарта. Ясперс называет этот уровень *предметным сознанием*, потому что именно такое сознание постигает мир научно, в его *предметной противопоставленности* познающему субъекту. С другой стороны здесь каждое «Я *тождественно* другому «Я». Именно поэтому для такого понимания индивида характерна формально-правовая коммуникация (тип социальности), где каждый *равен (тождественен)* перед законом. На третьем, более высоком уровне «Я» рассматривается как *целостность мышления, деятельности, чувств* [13, с.301]. Ясперс называет его *уровнем духа*. В рамках такого рассмотрения каждый индивид, полагает философ, выступает как *момент в жизни целого* (народа, неформальной общности, объединенной на национальной или религиозной почве, и т.д.), которое здесь рассматривается как органическая целостность *нетождественных друг другу* индивидов.

Каждый из таких подходов к рассмотрению «Я» человека и соответствующей коммуникации имеет, по Ясперсу, право на существование. Вместе с тем, самый *высший* тип коммуникации, по Ясперсу, это *экзистенциальная коммуникация*, которая *включает в себя* все эти три уровня, но *не сводится к ним*: « Коммуникация экзистенций совершается при сохранении бытия отдельных членов и целостности духа, в общезначимости сознания вообще, в действительности наличного бытия, но она также *и прорывает их...*» (курсив мой – А.Г.) [13, с.303]. Экзистенция как становление, как движение к себе не может быть определена, но она может *сообщаться с другой экзистенцией*, и этого, как полагает философ, достаточно, чтобы она существовала не как субъективная иллюзия, но как *реальность особого рода*.

2. Экзистенциальный опыт социолога в поле качественного исследования

Социолог в фокусе исследовательского интереса. Фигура социолога в горизонте качественного исследования в последние годы только начинает осмысливаться в западной социологической литературе. Это и понятно: от социолога, его личностных особенностей – коммуникабельности, внимательности, умения слышать и слушать, эмоциональной отзывчивости, сензитивности, способности к воображению, и, наконец, просто от его интереса к людям во многом зависят результаты качественного исследования, их глубина и правдоподобие. Социолог в таком контексте выступает прежде всего *инструментом*, совершенство (или несовершенство) которого в значительной степени определяет и качество исследования, его «хорошесть». Очень точно эту мысль выразил канадский исследователь В. Шаффир: «Если мы будем честны с собой, то мы признаем, что главный инструмент нашего исследования – личностные качества, которые мы обычно привносим в нашу работу, даже порой попирая профессиональные требования, которые провозглашаем» [26, с.678].

Еще одна грань осмысления деятельности социолога в поле качественного исследования – *этические проблемы*, в полный рост встающие именно в этом типе исследования. Обсуждение *этических аспектов* поведения социолога в поле началось с работ английских антропологов М. Балмера и Р. Хоумана в конце 80-х – начале 1990-х [27]; [28], сделавших эти аспекты социального исследования основной темой своего анализа. Сегодня рефлексия по поводу *этики социолога* в поле стала уже *общим местом*, одной из обязательных «полочек», по которым «раскладывается» качественное исследование в западных учебниках по качественной социологии [29, с.199–201]; [30, с.151]; [31, с.325] и др. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что и разговор о необходимых социологу качествах, и обсуждение этических проблем лежат *преимущественно* в *познавательной*

плоскости качественного исследования, *инструментально* ориентированы. Конечно, применительно к *этическим аспектам* деятельности социолога это не так очевидно: ответственность социолога перед теми, кого он изучает, имеет прежде всего *гуманистическую составляющую*. Так, например, погружение исследователя в изучаемую ситуацию в качестве «своего» в рамках включенного наблюдения *морально оправдано* лишь в случае, если социальное самочувствие тех, кто изучается, не ухудшится, если социальные последствия действий социолога не принесут им ничего негативного.

В то же время мой опыт исследований показывает, что на практике реализация принципа «не навреди», происходит и по «*техническим*», *инструментальным соображениям*: несоблюдение исследователем этических норм «*закрывает*» поле, не дает возможности продолжить исследование, то есть решить поставленные познавательные задачи. Более того, эти два аспекта этической проблемы могут противоречить друг другу, создавая трудноразрешимые головоломки для исследователя. Например, исследователи Ульяновского социологического Центра «Регион», возглавляемого Е. Омельченко, изучая поведение подростков, употребляющих наркотики, оказались в сложной ситуации: с одной стороны, они как взрослые умные люди должны были бы рассказать ничего не подозревающим родителям об угрозе, которая нависла над их детьми, и тем самым попытаться спасти их; с другой стороны, понятно, что «выдать» детей означает потерять их доверие, а вместе с этим и возможность получать конфиденциальную информацию, продолжать исследование в целом¹.

Следует признать, что в этической перспективе фигура социолога фактически представлена в литературе лишь в *одном ракурсе*: с точки зрения обеспечения прав

¹ Эта проблема обсуждалась на семинаре по качественной социологии, проведенном в 2003 году в Самаре благодаря усилиям социологов Самарского госуниверситета и Санкт-Петербургского Центра Независимых Социологических Исследований.

информантов, возможного негативного влияния на их судьбы и результаты исследования в конечном итоге. В таком контексте основной акцент делается на тех, *кто изучается*, социолог здесь – *только условие* для обеспечения vitalной и психологической безопасности информантов, *только средство реализации* в конечном счете познавательных задач. *Сам же социолог*, его мысли, переживания, трудности, исследовательский опыт в поле до последнего времени *крайне редко* становились предметом рефлексии. В этом ключе, видимо, следует согласиться с английским социологом П.Маголдой, полагающим, что в то время, когда «дискуссии и истории о правах респондентов стали общим местом в этнографических текстах, ...в них совершенно отсутствуют дискуссии относительно прав самих исследователей» [32, с.209]. Практически об этом же говорил и Р. Мертон: до недавнего времени «опубликованные материалы преимущественно касались того как социальные ученые *должны* думать, чувствовать и действовать, но не уделяли внимания тому, что они *действительно* думали, чувствовали и делали» (курсив мой – А.Г.) [26, с.679]. Следуя негласному соглашению, социологи в своих отчетах не были усердным в описании деталей исследовательской практики, накапливая тем самым массив непроговоренных трудностей.

Справедливости ради следует сказать, что с конца 80-х – начала 90-х годов «лед тронулся»: «брешь пробили» прежде всего английские антропологи, пытающиеся ретроспективно осмыслить свой полевой исследовательский опыт. Работа Б. Андерсона «Первая полевая работа: несчастья антрополога» («First Fieldwork: The misadventures of an anthropologist» [33] и труд Н. Барли «Простодушный антрополог: заметки из грязной хижины» (The innocent anthropologist: Notes from a mud hut») [34] были, видимо, первыми попытками подобного рода. Стоит заметить, что и сегодня интерес к фигуре исследователя в поле, хотя и не находится на переднем плане социальной и культурной антропологии, все-таки не иссякает совсем: в 2000 году в Вели-

кобритании вышла книга «Антропологи в широком мире» («*Antropologists in a wider world*»), включающая в себя статьи 12 известных социальных антропологов: В. Геймс, Д. Паркина, Р. Барнса, П. Ривейры и др., ретроспективно описывающих свой полевой опыт изучения культур народов Китая, Японии, Индии, Новой Гвинеи, Северо-восточной Африки, Индонезии и др. [35]. В одних материалах этой книги описывается опыт установления и поддержания контактов с *местным населением*, анализируются проблемы, возникающие перед исследователем в этом процессе [36]; [37]; в других – акцент делается на организационных трудностях, взаимоотношении *исследователя и местной власти*, *социально-политическом* контексте исследования (войны, повстанческие движения и т.д.) [37]; [38], от которого во многом зависит и физическая безопасность исследователя, и его возможность работать; в третьих – рефлексия изменения ролей исследователя в полевой работе, его представлений и стереотипов, в конечном итоге самым тесным образом связанного с глубиной понимания исследуемой культуры [39]; [40].

Такое рефлексивное внимание к проблемам, с которыми сталкивается исследователь в поле, в середине 90-х было подхвачено социологами, работающими в этнографической традиции: В. Уайтом [41], П. Маголкой [32], В. Шаффиром [26] и другими, а также исследователями феминистского толка: Д. Волф [42], В. Олесен [43]. *Новая перспектива в этнографии* не только предполагала описание исследовательского опыта с точки зрения *методов и техник*, но и включала в себя рефлексия *эмоционального опыта* социолога, порой фрустрации, неудач, промахов, также как и его достижений и удач. Такого рода *снятие покровов* должно было обеспечить более *богатый, детальный* взгляд на мир исследователя, делая описание результатов исследования более *живым, многоцветным*. Появляется даже соответствующий жанр – «исповедальный рассказ»¹, цель

¹ Жанр рассказа как наиболее удачная форма передачи исследовательского опыта осознается и антропологами – см. работу П.Р. Де

которого, по мнению американского социолога Ван Маанена «демистифицировать полевую работу, показав техники, которые использует социолог в поле», а также «показать истории проникновения, легенды о rapport, мини-мелодрамы тяжелых испытаний в поле и на выходе из него» [45, с.211].

Интересный пример такого рода работы – 5 *исповедальных рассказов* П. Маголды: «доступ», «ожидание действия», «установление отношений с информантами», «удивление» (как я ощущаю себя в качестве полевого работника), «подготовка текста», написанных им после 18-месячного изучения культуры «маленького либерального» Резидент-Колледжа, составной части «большого, значимого» Публичного Университета Среднего Запада [32, с.209–234]. Рефлексия социолога по поводу своего участия в исследовании, представленная в рассказах, смогла состояться, благодаря тому, что он вел так называемый *рефлексивный журнал*, куда ежедневно заносил свои «прыгающие мысли», эмоции, вопросы самому себе. Исповедальные рассказы, которые *дополняли* теоретические обобщения относительно культуры изучаемого колледжа, позволили исследователю, по его мнению, «*рассмотреть свои собственные ценности*» в дополнении к ценностям студентов, «*понять роль собственной субъективности*» на всех этапах исследования, начиная от выбора темы и кончая подготовкой отчета. Рефлексия по поводу своего участия в исследовании стала для П. Маголды и «*началом процесса узнавания себя*», «*непрерывным потоком своей субъективности*» (курсив мой – А.Г.) [32, с.209].

Новый ракурс рассмотрения социолога в поле качественного исследования, наметившийся в последние годы в западной социологии, – анализ исследовательского опыта в *контексте угроз, опасностей*, которые подстерегают социолога в исследовательском процессе. Книга, вышедшая в Великобритании в 2000 году, так и называется «Опасность

Вита «Неприкрашенный антрополог: рассказы со всего мира» (The naked anthropologist: Tales from around the world) [44].

в поле. Риск и этика в социальном исследовании» (*Danger in the field. Risk and ethics in social research*) [46]. Главная цель книги, как ее презентуют редакторы и одни из авторов издания Г. Ли-Трэвик и Ст. Линкогл, – это «попытка представить «истории» угроз и опасностей в поле, проанализировать случаи, где риск, хотя он и полезен для понимания социальной жизни, но все же может быть минимизирован за счет лучшего продумывания организации исследования» [46, с.2]. При этом английские социологи, по их признанию, «не намереваются пугать потенциальных социальных исследователей и представлять качественное исследование как героизм» [46, с.7]. Их цель – начать дискуссию о безопасности в поле и тех решениях, которые смогут защитить социолога.

Г. Ли-Трэвик и Ст. Линкогл разработали своеобразную *типологию угроз*, позволившую им концептуально выстроить композицию книги, где каждая глава представляет собой рефлексию социолога по поводу *того или иного типа угроз*, с которым он столкнулся в поле качественного исследования¹. Разработанная типология включает в себя 4 типа угроз: физические, эмоциональные, этические, профессиональные. Круг *физических угроз* представлен прежде всего опытом участвующего наблюдения за *опасными профессиями*: работой полицейских в крупном городе [47, с.8–25], «вышибалы» в ночном клубе [48 с.43–60], когда для социолога «физическая опасность – одновременно и исследовательская тема, и источник», благодаря чему можно достичь глубинного понимания мира опасных профессиональных занятий [47, с.11]. Физической угрозой для социолога может оказаться и интервьюирование на дому молодых правонарушителей, как это было с Жанетт Джеймсон, изучавшей такие группы в Шотландии [49, с.61–71].

Рефлексия *эмоциональных опасностей*, представленная в книге, на мой взгляд, достаточно противоречива. С одной

¹ Практически в каждой главе книги анализируется несколько типов угроз, возникающих в конкретном исследовании; при этом одна из них рассматривается как ведущая, определяющая все остальные.

стороны, эмоциональная опасность понимается здесь как «связанная с *негативными чувствами*, возникшими в исследовательском процессе» [50, с.73] и, следовательно, вредна для социолога, представляет угрозу для него. В этом ключе автор концепции эмоциональной опасности Г. Ланкшер говорит о возможной *дестабилизации личности* как результата действия такой угрозы [50, с.81]. С другой стороны, она выделяет и второе направление влияния эмоциональной опасности: «*обеспечение глубокого инсайта*» [50, с.82], которое вряд ли, на мой взгляд, может маркироваться вредным, опасным для личности.

В самом деле, современная экзистенциальная психология, понимая инсайт как «*взор, направленный внутрь себя, видение мира и его проблем в отношении самого себя*» [12, с.30], рассматривает его, осознание себя в целом в качестве *основного условия, важнейшей предпосылки* решения личностных проблем. Да и экзистенциальная философия, как я уже говорила ранее, только *движение к подлинному в себе, осознание себя в мире, тревожащее осознание* рассматривает как цель, которая предоставляется личному бытию в качестве его собственной возможности. Сама Г. Ланкшер, размышляя ретроспективно над собственным опытом неудачных родов, принесших ей огромные страдания, в то же время говорит и об *определенной пользе* такого эмоционального потрясения. Правда, полезность эту она как исследователь, *автоэтнографически* изучавший культуру *родильного дома*, «втискивает» в «прокрустово ложе» *исследовательских задач*: «оба этих процесса, перекрывая друг друга, создают новые уровни понимания в исследовании» [50, с.89]. Так или иначе, концепция эмоциональной угрозы, однозначно квалифицируя воздействия на эмоциональную сферу исследователя как «*угрозу*», «*опасность*», на мой взгляд, *не срабатывает*, не «схватывает» реальную сложность и противоречивость возможных личностных изменений социолога в поле качественного исследования.

Любопытна и рефлексия по поводу так называемых *профессиональных угроз*, представленная в нескольких

статьях книги [51]; [52]. Г. Лезербай рассматривает профессиональную угрозу как возможность неприятия академическим сообществом, преимущественно позитивистски настроенным, новых качественных исследовательских практик, особенно достаточно радикальных, таких, как автоэтнография [51]. В частности, она описывает неприятие коллегами ее автоэтнографического текста (его насмешливо называли «сентиментальной социологией»), где она анализирует свой собственный опыт непреднамеренной бездетности. Причину этого социолог видит в том, что, по ее мнению, автоэтнография «меняет принятое академическим мейнстримом разделение между исследователем и участником, поддерживающим идею валидного знания» [51, с.93], разрушая тем самым *традиционные, привычные* отношения в исследовательском процессе¹

Еще один вариант *профессиональных угроз*, правда, «перемешанных с этическими, представлен А. Джипсоном и Ч. Литтоном, этнографически исследовавшими религиозно-экстремистские группы в США [52]. Авторы убеждены, что такое поле изучения часто интерпретируется коллегами, академической социологической общественностью как отражение их *личного интереса к экстремизму*: убеждения, что экстремизмом могут заниматься только люди, *симпатизирующие* экстремизму, или напротив, что социологи должны *разоблачать* экстремизм, а не изучать его, очень сильны в социологическом сообществе [52, с.159]. По их мнению, «изучение так называемых находящихся «на краю общества» социальных элементов может вытолкнуть самого исследователя за пределы уважаемых академических кругов, повлиять на его академическую карьеру» [52, с.147].

¹ Я полагаю, что своим, на мой взгляд, не очень удачным конструктом «профессиональная угроза» Г. Лезербай тем не менее обозначила серьезную проблему *методологического раскола* в английском социологическом сообществе, болезненный процесс становления социологии как *полипарадигмальной области знания*.

В целом, подводя итоги, можно сказать, что в последние годы в *западной социологии*, преимущественно английской, применительно к миру социолога в поле качественного исследования «*процесс пошел*», чего пока нельзя сказать о *росcийской социологии*: здесь рефлексия по поводу фигуры социолога в поле качественного исследования, подкрепленная эмпирическим анализом, *практически отсутствует*¹. Исключение составляет единственная статья О.М. Масловой «Мир интервьюера: по данным формализованного и свободного интервью» [53]. В ней на основании анализа нарративов интервьюеров делаются выводы о структуре мотивации их участия в опросах, описывается их видение процесса интервью, «боевое крещение» (опыт первого интервью), и что, на мой взгляд, самое важное в контексте моей темы – делается попытка представить *изменение внутреннего мира интервьюера* в поле качественного исследования [53, с.58–63].

Вместе с тем нельзя не заметить, что такие попытки, когда рефлексии подвергаются глубинные изменения в личности социолога в поле качественного исследования, и особенно его *экзистенциальная возможность быть*, даже в западной литературе все же представлены крайне редко, несмотря на растущий интерес в ней к миру социолога.

Эмпирическое изучение экзистенциального опыта социолога. Качественное исследование, предпринятое мной весной 2004 года, ставило своей задачей в определенной мере ликвидировать этот пробел. Основным методом анализа стало *глубинное интервью*, дающее мне как исследователю возможность «*держат*» *тематическую перспективу*, важную для меня *направленность разговора*, предоставляя в то же время значительную свободу информанту в выражении своих мыслей и чувств. В исследовании в качестве информантов участвовало 25 человек: профессиональные социологи – преподаватели и исследователи, а

¹ Не выбивается из этой ситуации и недавно вышедшая работа В.И. Ковалева «Моя профессия – социолог» [52]: в ней традиционно представлен *должный образ социолога, требуемые личностные качества*.

также студенты и аспиранты социологического факультета Самарского госуниверситета. Целевой подбор интервьюируемых осуществлялся в соответствии с единственным критерием: *опытом участия в качественных исследованиях* независимо от того, подключался ли социолог к исследованию только на одном из его этапов, или участвовал в целостном исследовании, как говорится, от «А» до «Я». Я полагаю, что все другие критерии, часто используемые в качестве дополнительных для отбора информантов в качественном исследовании: возраст, стаж работы, пол и др. для цели моего исследования *не имеют особого значения*. Не имеет значения, на мой взгляд, и *количество качественных исследований*, в которые был включен информант. Поэтому, в круг информантов вошли как те социологи, для которых участие в качественных исследованиях – привычная практика, так и те, для кого это первый исследовательский опыт, первая «проба пера». По итогам исследования оказалось, что возраст участников колеблется в пределах от 20 лет до 49 лет, а стаж работы в качестве социолога-качественника – соответственно от нулевой отметки (первый опыт) до 10 лет¹.

Наряду с опросом в исследовании была сделана попытка «вытащить» *собственные письменные свидетельства* российских социологов о *переживании* конкретного исследования или своего исследовательского опыта в целом. Следует сказать, что *научная традиция*, «настоенная» на вынесении социолога *за скобки* исследовательского процесса, «продолжает эту линию» и применительно к *презентации результатов исследования*, стремясь тщательно убрать из социологического текста хоть какие-то следы пребывания *автора, конкретного человека*, в исследова-

¹ Термин «социолог» здесь используется как *обобщенный маркер познающего субъекта*, который в методологии социологического исследования обычно представляется ролями *исследователя* (социолога) и *интервьюера*. Для целей моего анализа такое традиционное деление *не имеет значения*, да и в реальном качественном исследовании эти роли часто совмещаются.

тельском поле. *Безличное «Мы»* научного текста, столь тщательно оберегаемое редакторами всех мастей, призванное демонстрировать верность автора *классической традиции с присущими ей нормами*, фактически *отчуждает* исследователя *от себя самого*, закрывает ему путь *«внимательного взглядывания»* в себя, путь самоосознания, самоопределения в социальном пространстве.

Впрочем, исключение из этого правила в российской социологии есть – это, на мой взгляд, тексты Н.Н. Козловой. В них автор предстает не только как аналитик «уходящей натуры» – советской цивилизации, с ее главным персонажем – *советским человеком (по преимуществу бывшим крестьянином) как своеобразным культурно-антропологическим типом*. В этих текстах можно увидеть исследователя и как *«человека переживающего»*, *«онтологически задетого»* реальностью проводимых исследований. Более того, эти две ипостаси *переплетены, слиты воедино*, создавая особую, почти исповедальную и одновременно наполненную размышлением неповторимую интонацию ее книг и статей. В них Н.Н. Козлова сознательно отказывается от *привилегированной позиции исследователя*, от позиции «астронома, «наблюдающего с безопасного расстояния чужую галактику» [55, с.11]. По ее мнению, исследователь должен *«осознать свою включенность в процесс»*, тот факт, что *«он сам в этой галактике»*. «Наша Родина – СССР», – напишет она в одной из лучших своих книг «Горизонты повседневности советской эпохи (голоса из хора)», осозная тем самым свое *онтологическое соучастие* с теми, кого изучает [56, с.11]. Здесь жизнь автора – *продолжение той истории*, которую он изучает и которую делает предметом своего познавательного интереса. Именно поэтому задавание *исследовательских вопросов* – для нее еще и *«способ прояснить дилеммы собственного существования»*, способ *самостроительства*. Попробую поподробнее рассмотреть этот процесс, как он представлен в текстах Н.Н. Козловой.

Наиболее отчетливо, на мой взгляд, экзистенциальное переживание исследователя представлено в ситуации *встречи с культурно Иным* – миром «маленького человека», полуграмотной крестьянки Е. Киселевой, описавшей в нескольких тетрадках свою жизнь и пославшей их на Мосфильм в надежде, что по ним будет «снято кино». Для Н.Н. Козловой *встреча* с «неподражательной странностью» этого «наивного», «ручного» текста, когда не «можешь оторваться именно потому, что точки и запятые или отсутствуют, или ставятся как попало», и одновременно «прервать чтение невозможно: не знаешь, где начало, где конец» [55, с.19], стала, по ее словам, «узнаванием того, что в твою жизнь ворвался *иной смысл*, столь же желанный, сколь и чуждый», наполнилась... «*томительным желанием понять*» (курсив мой – А.Г.) [55, с.12].

С социальной позиции профессора, интеллектуала, крестьянка Е. Киселева, действительно, живет в *другом социальном пространстве*, не похожем на мир носителей литературного языка, этого маркера области «высокой культуры» (кавычки Козловой – А.Г.). В этом мире «никто не думает о словах, и они льются от сердца». Здесь все друг друга знают, а «теснота, плотность массы, многолюдье почти телесно ощущаются». В этом мире свято соблюдаются обычаи и ритуалы, а круг социальный крайне узок – всего несколько точек на символической карте: дома родственников и соседей, магазин, рынок, кладбище, больница [57, с.232]. Обитатели этого социального пространства в отличие от интеллектуалов плохо себя контролируют, легко переходят от слез умиления к агрессии, да и физическое насилие не является необычным событием. Здесь не развито представление о приватности, отсутствует «томление субъективности», а «текст, написанный индивидом, не свидетельствует об индивидуально выраженном человеческом голосе» [56, с.25]. Это – *бессубъектное социальное пространство*, если под субъектом понимать того, кто обладает волевым, рефлексивным сознанием, кто способен совершить выбор, стремясь реализовать возможности индивидуальной свободы.

Это – *жизнь на краю* общества, на самой нижней ступени социальной иерархии, *на грани*, когда часто *физическое существование поставлено под вопрос*.

Столкновение с культурно *Иным* производит на исследователя очень сильное впечатление, и как ответная реакция – *утверждение себя в своей «дружости», инаковости, в своей принадлежности к другому социальному слою*. Вот как она сама об этом пишет: возникает «...ощущение, что сия чаша, судьба то бишь, тебя миновала, что ты сам находишься в другом социальном пространстве» [55, с.27]. Вместе с тем этот другой социальный мир *манит, притягивает, поражает, вызывает сочувствие*.

Исследователь говорит о *притягательном удовольствии* от текста, в котором все «предметы на равных», где нет иерархии, перегородок между небом и землей, имманентным и трансцендентным: «что Великая отечественная война, что какая-нибудь драка за территорию двора, кусок улицы или коммунальной квартиры» [55, с.25]. Возникает удовольствие от неприменимости *привычных определений и категорий*: «Странно и смешно говорить о сломе или предательстве идеалов, об утрате целей и гибели ценностей. Здесь невозможны никакие объяснения бытия, соотносящиеся с метафизическими (метанарративными) началами Истории, Прогресса, Человека. Это все слова из другой «оперы» [55, с.25]. Этот мир приводит к *открытиям* – «сталкиваешься не то, что с тотально незнакомым, а с видимым, но не замечаемым» [55, с.58]; «начинаешь видеть человека как такового более реалистично». И главное: «остро ощущаешь, что человек *не кукла на веревочках структуры*», что общества держатся «отнюдь не только политическими решениями, институциональными взаимодействиями, но и тем как человек *«утирается»*, спасает детей от всякой напасти, как он работает на износ, как «оттягивается» после работы в компании приятелей за бутылкой, за разговором» [56, с.16.]. Одновременно утрачиваются иллюзии: «те слова, которые интеллектуалы произносили *«за*

народ», «за массу» суть лишь их собственного дискурса. Дискурса о народе» [55, с.56].

Да, мир киселевых – *культурно иной*, и у исследователя вырывается горькое: «Владеющим знанием трудно понять незнающих, так же как членам властных истеблишментов трудно понять народ» [55, с.56]. Вглядываясь, вживаясь в «томлении понимания» в Иное, Другое, Н.Н. Козлова, начинает *лучше понимать себя*, приходит осознание, что она – тоже дочь раскрестьяненного крестьянина, одного из тех, в чье тело «встроены техники выживания общности», кто не раз, балансируя на грани социального бытия, «слишком часто хоронил без гробов и ел несъедобное». Возникает понимание *некоторой общности* своей судьбы с судьбами изучаемых людей. Отсюда – и ощущение *двойственности* по отношению к киселевым, и стремление публикацией работы «соединить концы распадающейся социальной ткани: нити подтянуть, дыры залатать. Починка и штопка – женская работа» [55, с.16].

Принадлежность к другому социальному слою... Но к какому? Н.Н. Козлова с такой же страстностью, с какой осознает свое «неродство» с миром киселевых, отрешивается и от причастности к *сообществу интеллектуалов, миру «культурных людей»* (кавычки автора – А.Г.), «жизненным занятием которых было и остается пока *производство норм*, возвешение универсальной истины *за других и вместо этих других*» [55, с.27] (курсив мой – А.Г.). Да, говорит она, «язык выполняет огромную социально дифференцирующую роль... Наивные тексты свидетельствуют: невозможно понимание между «посвященными» и «профанами» ... Зрение этих людей различается, как зрение *птицы и рыбы*» [55, с.28]. В то же время, по ее мнению, утверждение о том, что разные человеческие разновидности вырабатывают собственные социолекты, «*взрывоопасно*». Почему? Потому, полагает Н.Н. Козлова, что говорить о литературном языке, этом ключевом элементе великой письменной (цивилизационной) традиции как *всего лишь о социолекте*, – «дурной тон, потому, что *покоя и уюта ли-*

шает» (курсив мой – А.Г.): интеллектуалы понимают, что они лишь гребешки на волне океана, а океан – «темная и дикая масса» (т. е. не интеллектуалы)» [55, с.29]. Исследователь находит для этой группы жесткие язвительные слова: «Функция интеллектуалов – сертификация нормы (языковой, педагогической, психологической, идеологической и т. д.). Как социальная группа она конституируется причастностью к легитимации нормы. Отсюда сильная и широкая по диапазону реакция на «наивное письмо»-тексты: «от утробного смеха до звериной тоски» [55, с.29]. В другом месте и по другому поводу она скажет еще определеннее: «Культура, носителем которой себя объявляет интеллигенция, становится *источником насилия*, принимающего различные формы» [56, с.8].

Казалось бы, все ясно, она *не хочет идентифицироваться* с группой, *производящей власть*, но откуда тогда старинный интеллигентский комплекс социальной вины перед «народом»? Вот ее ощущения после погружения в текст Киселевой: «возникает сознание социальной вины за собственный культурный капитал, который позволяет там (в другом социальном слое – А.Г.) находиться» [55, с.27]; «текст (имеется в виду текст Киселевой – А.Г.) говорит с читателем голосом его собственной (*читателя*) совести и сознания» [55, с.34]. «*Навязанная*» идентичность «пролетариев умственного труда» прорывается в размышлениях исследователя, рефлектируется: «Сложные и неудобные вопросы заставляет задать «наивное письмо», *вопросы к самим себе*» (курсив мой – А.Г.) [55, с.29]. Опять эта двойственность: утверждение и отталкивание одновременно, поиск себя.

Еще одно свидетельство возможного экзистенциального прорыва к себе в исследовательском процессе можно найти в автобиографии одного из крупнейших социологов XX века, «русского американца» П. Сорокина «Дальняя дорога», написанной им в 1963 году, и переведенной на русский язык только в 1992 году на волне перестройки. В 1921 году он предпринял «научное изучение массового го-

лода» по заданию Института мозга и Социологического института (Санкт-Петербургский университет), благо (благо ли?), по его словам, в его распоряжение была предоставлена «лаборатория необъятных размеров – голодающие деревни и села России» [58, с.138]. Отправившись в районы Самарской и Саратовской губерний, главные «территории беды», П. Сорокин столкнулся с ужасом умирающих деревень, где «соломенные крыши изб давным-давно были сняты и съедены», где «не было животных – ни коров, ни лошадей, ни овец, коз, собак, кошек, ни даже ворон. Всех уже съели». Вот что пишет социолог о впечатлении от этой ужасающей картины: «То, что я узнал там, в этих страшных губерниях, превосходило любой научный опыт. Моя нервная система, привыкшая ко многим ужасам в годы революции, не выдержала зрелища настоящего голода миллионов людей в моей опустошенной стране» [58, с.138]. Событие массового голода, включенным наблюдателем (как мы бы сейчас сказали) П. Сорокин стал, не только не дало ему возможность провести исследование в полном объеме в силу психологических причин: «Я оказался неспособен...», но и *онтологически* «задело» его: «Я многое приобрел просто как человек» [58, с.138]. Прежде всего П. Сорокин, и до этого события сполна переживший боль и горечь русской революции (известно, что в 1918 году он был заключен в тюрьму, приговорен к расстрелу, и лишь чудом избежал его), еще отчетливее осознал свои политические предпочтения, свою политическую идентичность: «Я еще более утвердился во враждебном отношении к тем, кто принес такие страдания людям [58, С.38]. В другом месте он напишет: «За эти двадцать дней, проведенных в районах бедствия, я получил не так уж много научных знаний, но память об услышанном и увиденном там сделала меня совершенно бесстрашным в борьбе с революцией и чудовищами, губившими Россию» [58, с.140]¹.

¹ В целом, подводя в автобиографии итоги первой российской главе своей жизни, П. Сорокин говорит об экзистенциальном потрясении – кризисе своего довоенного мироощущения: позитивистского, сци-

Перейду теперь к анализу интервью с действующими социологами. Первое, что можно выделить практически во всех интервью, – это *глубокая эмоциональная включенность* социологов в услышанное и увиденное в процедуре исследования. Теоретическое положение о том, что в качественном исследовании на смену «частичному» исследователю классического исследования, фактически *исследователю-функции*, движимому *исключительно* познавательным интересом, приходит *другой познающий субъект* – конкретный человек в единстве его рациональной и эмоциональной ипостасей, кажется, находит свое блестящее подтверждение. Отходит в сторону и классическая идея *беспристрастности* исследователя, отстраненно наблюдающего социальную ситуацию: социологи, как показывает анализ, в процедуре качественного интервью с изучаемыми людьми оказываются «захваченными» встречей с ними, «подпадают под их обаяние», как выразилась одна из моих информантов.

Вот как описывают это эмоциональное воздействие сами социологи¹: «*Когда я разговариваю с людьми, я часть их жизни беру себе... просто подпадаешь под обаяние человека*» (Е., женщ., 22 г.); «*Мы сидели на корточках и молчали. И вдруг он закашлялся очень сильно, настолько сильно, что при каждом его спазме я внутренне содрогалась. И как бы помогала ему кашлять, получилось так*» (речь идет об интервью с бомжем – А.Г.) (С., женщ., 29 л.); «*перед интервью я очень волнуюсь, меня просто трясет... начинаешь просто говорить с человеком, и интервью тебя захватывает. И ты плывешь по этому рассказу, и сидишь и ловишь себя на мысли, что... я забывала,*

ентистского и гуманистического, вызванного первой мировой войной и в первую очередь революцией 1917 года: «Я испытал на себе и видел слишком много ненависти, лицемерия, слепоты, зверств и массовых убийств, чтобы сохранить в неприкосновенности восторженное и бодрое ощущение» [58, с.150].

¹ Здесь и далее в целях сохранения конфиденциальности подлинные имена социологов заменены условными.

что я социолог, я просто сидела и слушала историю человека... Если я беру у человека интервью, я все равно встаю на его точку зрения. Я ее принимаю, я ее переживаю» (Н., женщ., 24г.); «когда я беру качественное интервью, я всегда... я этого не хочу, не ставлю себе такой цели, чтобы «влезть» в шкуру этого человека, это происходит само собой все равно, то есть, когда тебе это рассказывают, ты начинаешь этим проникаться» (М., женщ., 46л.); «встречи с такими людьми (инвалидами – А.Г.) вообще дестабилизировали меня, я приходила домой, я не могла думать, ни делать ничего. Эмоциональное перенасыщение выматывало меня ... Я не знала как себя повести, не дай бог чем-нибудь их обидеть... Ну очень эмоционально сложно и насыщено. Очень устаешь после такой работы ... Тяжелые судьбы. Все равно на тебя осадок ложится» (В., женщ., 32 г.).

Вот этот мотив эмоциональной переполненности, и как следствие – эмоциональной и физической усталости будет потом не раз звучать в текстах интервью, косвенно подтверждая обоснованность концепции эмоциональных угроз Г. Ланкшер, о которой я говорила ранее. Особенно сильно он представлен в опыте социологов, имеющих значительный опыт качественных исследований: *«Я себя чувствую..., что это включенное наблюдение бесконечное. Я уже не могу просто ходить по улицам, я смотрю на все эти сценки как жанровые... Как будто в ушах все время звенит – чьи-то голоса, какие-то персонажи... Очень устала. Я чувствую себя просто опустошенной. Я настолько устала от общения, если честно... Все эти судьбы во всем многообразии и сложности вываливаются на тебя, и надо как-то с этим жить» (М., женщ., 46 л.).*

Эмоциональные переживания, как показывает анализ, довольно часто переплетены с осознанием своей вины перед изучаемыми людьми, что, видимо, еще более усиливает эмоциональное воздействие процедуры качественного исследования: *«Это было просто ужасно, я себя чувствовала как человек, который просто вторгся в чужую жизнь, и*

не имею на это абсолютно никакого личного права» (У., женщ., 20 л.); «И всегда ты чувствуешь – вот есть это чувство вины, что ты пришел к человеку, который ты знаешь, он в тяжелой ситуации, и именно поэтому к нему пришел, что он работу не может найти, просишь вот это вот рассказать, и при этом ничего не обещаешь, ты ничего не делаешь» (М., женщ., 46 л.); «... и когда она мне это рассказывала, совершенно взрослая женщина – ей где-то 45, она начинает плакать, действительно плакать, а не просто слезы в глазах. Она начинает рассказывать сквозь рыдания и такое чувство, что ты просто сидишь и думаешь: «Боже, что я здесь делаю и чего я от них хочу? Ты понимаешь, что заставляешь их понимать что-то из своей жизни тяжелое, неприятное, что они психологически страдают. Она вроде все забыла, а ты опять все это вытаскиваешь» (Ю., женщ., 21 г.); «есть люди, у которых, я не знаю, денег на хлеб нет. И что особенно тяжело, что они еще надеются, что твой приход может это как-то изменить. И это чувство вины, по крайней мере, вызывает. Ты сюда пришел, как бы ты им взамен ничего не даешь, они тебе рассказывают, они тебе открываются. И ты понимаешь, результаты, конечно, будут, но они не коснутся именно этого человека. Вот, поэтому, это очень тяжело» (Н., женщ., 26 л.).

Этот «комплекс вины», нередко возникающий у социологов-качественников, на мой взгляд, – важнейшее условие, ступень к осознанию своей ответственности перед теми людьми, которых они изучают, и в этом смысле – предпосылка становления профессионального самосознания, осознания себя в качестве профессионала. В то же время переживание вины имеет и экзистенциальный смысл: это проявление разрыва между традиционной ролью исследователя и человеческой ипостасью социолога, их принципиальное несовпадение, это жизнь в модусе «пере», на которую он обречен в поле качественного исследования. Не случайно, многие из опрошенных мной социологов, стремясь преодолеть этот разрыв, делают

шаг в ту или иную сторону. Так, одни стремятся помочь своим информантам, быть им полезным: «...у нас было два мальчика в этом исследовании гендерной занятости, из детдома, совершенно к жизни неприспособленные, а она (социолог – А.Г.) над ними просто шефствовала, настолько она не могла на все это смотреть, ну вот и стала им как-то помогать...» (М., женщ, 46 л.); «я помню даже искала по объявлениям, где библиотекари требуются – она (информант – А.Г.) где-то в детском саду или в детской библиотеке работает, то есть хотела что-то получше найти» (Н., женщ., 24 г.); «...долгое время ко мне приходили, просили еду, просили денег (бомжи – А.Г.). У одного из них был телефон мой. В ту пору телефоны были бесплатные, и он (бомж – А.Г.) имел возможность позвонить. И предупредить, чтобы мы собрали ему поесть или свечки дали или какую-то одежду. Элементарные блага, это помощь была ему» (С., женщ., 29 л.).

Другие утешают себя тем, что дали возможность выговориться людям, выстроить в рассказе свои жизни и тем самым понять себя: «Оказалось, это полезно для самого человека, поскольку заставляет задуматься и просто лишний раз посмотреть на себя со стороны, проанализировать...т.е. я сижу и чувствую, что психологом работаю у людей ..., особенно, когда это были неуспешные люди, которые плохо адаптировались к нынешней экономической ситуации» (К., женщ., 20 л.). Третьи – напротив, видят выход в классическом профессионализме, предполагая тем самым акцент на функциональном отношении к изучаемым людям (как к источнику информации преимущественно), хотя и понимают определенную тщетность своих усилий: «Вот уж надо как-то себя сохранить или иди работай психотерапевтом. Я не могу быть одновременно хорошим социологом и хорошим психотерапевтом, т.е. нужно как-то выбирать, потому что действительно тяжело, или наступит вот такой момент, когда ты будешь относиться... у меня уже наступает такой профессиональный цинизм. Я говорю –

это моя работа. Советую себе все время - не давай никаких советов – куда пойти, к кому обратиться, т.е. постоянно все равно включение в жизнь людей идет» (М., женщ., 46 л.).

Анализ интервью с социологами показал, что качественное социологическое исследование действительно нередко выступает полем экзистирования. Так, многие опрошенные социологи, *выбирая тему или объект исследования, пытались ответить прежде всего на вопросы, мучившие их, экзистенциально значимые для них.* В этих ситуациях качественное исследование становилось способом поиска своих жизненных ориентиров, *определения себя в мире.* Один из опрошенных мной социологов *начинает изучать смыслы свободы в изменяющемся российском обществе, потому что это его собственная проблема: «Я переживаю за судьбу России, я переживаю за наших людей, за наше общество, но и за себя, конечно. Я пытаюсь как-то и себе, ... себя как-то найти. В этом смысле мне важно, что по этому поводу думают люди: все ли так плохо, или есть возможность что-то переустроить. И в этом смысле люди ... давали ответ на этот вопрос» (Р., мужч., 26 л.).*

Студентка социологического факультета, выросшая без отца, сознательно выбирает тему, связанную с изучением матерей – одиночек: *«потому что у меня сейчас такая ситуация в семье – мама тоже одиночка в семье уже давно» (К., женщ., 20 л.).* Погружаясь в жизни женщин, которые *«решаются на такой шаг – рожать, заведомо зная, что мужа не будет, отца у ребенка не будет»,* проживая вместе с ними их трудные жизни – *«выходила, тряслись руки, ноги, очень много эмоций, их трудно отбросить»,* примеривая на себя их ситуацию – *«а если б я оказалась на их месте»,* она *начинает «лучше понимать свою маму, которую раньше не понимала, ... в таком плане, что она действительно посвятила себя мне, там, от чего-то отказалась»;* *начинает видеть сложность жизни, ее неоднородность, четче, в противовес общественному мнению, осознавать, что «есть силь-*

ные люди», которые *«не по глупости, а имея весомые причины идут на такой шаг»* (К., женщ., 20 л.).

Другая начинает изучать *этничность*, потому что ее собственная этническая идентичность, по ее словам, – *«плавающая, ... текучая, переходящая, ... мама русская, папа – татарин»*, и она не может сделать определенный выбор: *«мне всегда было трудно отнести себя куда-то... В разные моменты жизни я склонялась то к одному, то к другому»* (З., женщ., 24 г.). Для моего информанта эта половинчатость – *тяжелая мучительная проблема*. В самом деле, с одной стороны, это навязанная идентичность татарки, когда, по ее словам, ее имя, *«как пятно на белоснежной простыне ... среди этих Маш, Галь»*, и *«все время выделяешься в детском садике, в первых классах школы»*. Обобщенные «другие» *конструируют* ее «татарскость», в отдельных случаях в интересах дела рекомендуя ее забыть. Так, эксперт в исследовании, которое она предприняла в Санкт-Петербурге, советует в разговоре с армянами (речь идет об армянах, живущих в Санкт-Петербурге, выступавших объектом исследования) называть себя русской, *«потому что у них давняя война с Азербайджаном, с турками, а турки это тюрки, а тюрки это татары»*. Навязанная татарская идентичность в определенные моменты начинает восприниматься как своя собственная: *«Я не знаю, я напрягалась, они рассказывали, например, о войне, о турках, о том, как был геноцид. Я каким-то своим дальним прошлым, я чувствовала себя ответственной за это, ... хотя в общем никаким боком, никаким образом... Но вот это какое-то клеймо национальности все равно налагает на тебя бремя ответственности за твоих каких-то дальних предков»*.

С другой стороны, социолог ясно осознает свою *«невписанность»* в татарскую культуру: *«ну какая я татарка, я и языка-то не знаю, не мусульманка»*. В то же время отчетливо рефлексировалась и *«неполноценность»* своей русской идентичности: *«ну какая я русская с такой внешностью, с фамилией, именем и отчеством тем более»*. Вот это положение *«между»*, этническая двойственность воспринима-

ется очень остро, болезненно: *«мне всегда казалось, что я кого-то предаю, то одних, то других»*. В то же время *«потребность как-то почувствовать себя среди людей своей национальности»*, потребность в единении с группой, объединенной общностью истории и культуры, существует.

Качественное исследование в этой жизненной ситуации выступает для социолога *способом ответа* на «проклятые вопросы», поставленные *самой жизнью*: *«Я хотела посмотреть как это (этничность – А.Г.) у других проявляется, как они это реализуют»* (З., женщ., 24 г.). Для нее социология, по ее словам, стала *«той наукой, которая позволяет глубже понять себя и реализовать те свои интересы, которые помимо науки, ... просто из жизни»*. Здесь исследование выступает *продолжением того экзистенциального поиска*, в котором она постоянно находится, в своем стремлении приобрести *определенность, устойчивость* своей этнической идентичности. Именно поэтому *встреча, коммуникация* в исследовании с армянами, людьми, по ее мнению, четко осознающими свою национальную идентичность, гордящимися ею, и одновременно не выражающими никакой агрессии по отношению к людям другой этничности, людьми *«очень добрыми и достаточно гостеприимными»* так ее восхищает: *«У меня была такая зависть, в хорошем смысле этого слова, что у них никогда не происходит сомнения по поводу своей национальности, ... это им настолько придает силы, с такой страстью в глазах они рассказывают об Армении, историю Армении они знают от начала до конца»*. Иная, чужая культура заставляет пересмотреть *привычные культурные коды*: *«Вот, например, традиция, что младший сын должен обязательно взять жить родителей к себе. Почему среди русского народа... у нас поголовно живут одни старики. Их либо сдают в дома престарелых, либо они умирают одни. В Армении нет вообще домов престарелых: всегда за каждым человеком стоит его семья, его родственники, ... они его никогда не бросят»*. Другая культура помогает и определить-

ся в своих жизненных ориентирах: «Если у меня будут дети, я их буду воспитывать именно так».

Эта попытка определить свои жизненные принципы, стремление выбрать свою жизненную стратегию из репертуара возможных, получить ответ на то, как жить – достоянием распространенная, как показывает анализ интервью, практика социологов, попадающих в пространство качественного исследования. Вот как об этом говорит молодой социолог, изучавший проблему адаптации россиян к изменяющимся социальным условиям, (свободное интервью): «Когда начинаешь говорить с людьми, ... с одной стороны видишь картину ужасающую, т.е. полную пессимизма, с другой стороны, это общение дает какую-то надежду на спасение. Видишь реально, что все плохо ..., ты даже не думал об этом, и тебя это ужасает. Но с другой стороны, ты видишь людей, которые что-то делают... Они не рассыпались, а стали что-то делать, для меня это тоже важно, а как мне быть в этой ситуации, и в этом смысле я понимаю, да, мир несправедлив, но это не значит, что нужно опускать руки, а означает, что есть возможность себя найти, действовать, не умирать, продолжать искать» (Р., мужч., 26 л.).

Другой молодой социолог, изучая восприятие денег различными социальными группами российского общества, сталкивается в исследовании с женщиной, которая «вроде не успешна в материальном плане»: коммунальная квартира, старое пианино, томики с книгами, «причем книги не нового издания», и из нового – только телевизор (Н., женщ., 26 л.). И все-таки она, по мнению исследователя, «эмоционально успешна»: «ты, когда заходишь туда, разговариваешь, понимаешь, что здесь живут счастливо. Ты понимаешь, вот счастье, какие деньги... В таких интервью ты волей-неволей говоришь о деньгах – это тема исследования, но все время уходишь в какую-то другую сторону». Встреча с таким человеком производит на социолога очень сильное впечатление не только потому, что «мне то время дорого (80-е годы – А.Г.) потому, что детские воспоминания, по-

тому что в детстве я была окружена очень большой любовью»: «мои ценности..., в которых деньги присутствуют... подверглись самому сильному удару. Единственно, что это кратковременный период».

Еще один социолог, много общавшаяся с инвалидами, неоднократно возвращаясь со свободным интервью к одним и тем же людям («вот 15 человек, мы бесконечно встречались») говорит: *«Они меня учили жить. Я как учитель никакой была для них ... Дома у них я сидела и смотрела, как они реагировали на какие-то вещи, и до меня доходили правила жизни, правила отношений с людьми, представление себя в обществе. Они, конечно, в этом деле мастера – показать, представлять себя, подавать на блюдечке, они не знают Гофмана, не знают этих теорий, но они это очень хорошо делают»* (В., женщ., 32 г.). Эти «сильные люди» многое дали социологу: *«понимание важности сохранения здоровья, ... не ожидание помощи, а... брать и делать самому, это схоже с моей жизненной позицией».*

Качественное исследование, и это убедительно показывают интервью с социологами, может выступать и *способом познания жизни* (не узкого фрагмента действительности, определенного исследовательскими задачами, но именно жизни), формой разрушения стереотипов, расширения границ привычного, «провоцируя» тем самым *познание социологом себя, движение к подлинному в себе, глубинное изменение*. Так, социолог, благополучная молодая женщина, изучавшая субкультуру бедности (объект исследования – бомжи), встретившись в пространстве исследования с ужасом повседневной ситуации, в которой живут ее информанты, где есть *«холод, жуткий холод, в котором они постоянно находятся»*, и *«нет ни кроватей, ни стульев маркеров нашей культуры»*, где *«все безумно кашляют»* и туберкулез – обычное дело, приобретает другое зрение: *«моя подкопачность, моя розовость ...она начала как-то проходить при общении с конкретными людьми и их проблемами. Я поняла, что эти люди ...отверженные,*

общество их не принимает и не хочет видеть» (С., женщ., 29 л.). Столкнувшись с подлинными проблемами нищеты, социального исключения, в конечном итоге витальности этой социальной группы (*«вот они реалии жизни, вот оно – страшное»*) она, по ее словам, начинает понимать, что многие собственные проблемы *«просто надумала раньше, что это надуманные, пустые проблемы»*. С другой стороны, расширяются и *границы представления о нормальности*: приходит осознание, что люди из беднейших слоев, поддерживая два стандарта – общепринятый и свой собственный, *«имеют большую свободу выбора, больше альтернативных практик»*.

Примером разрушения стереотипов в поле качественного исследования может служить интервью с Еленой. Постсоветская критика, яростно разрушая стереотипы советского времени, успела сформировать и новые, постсоветские. В частности, один из них состоит в том, что советские люди – сплошь безынициативные патерналисты, рассчитывающие только на поддержку государства в решении своих жизненных проблем. Поэтому встреча моего информанта при изучении проблемы качества жизни с пожилым человеком 70 лет с совершенно *другими социальными установками* так поразила ее. Позиция этого человека: *«Я обеспечиваю свою семью и все зависит от меня, если я это сделаю, то у нас все будет хорошо»* принципиально расходилась со стереотипным суждением социолога: *«Они (то есть советские люди – А.Г.) привыкли надеяться и жаловаться, что кто-то за них должен делать. Людям того времени не свойственно было чувство ответственности за себя»* (Е. женщ., 22 г.). Разрушение, слом привычного, *проблематизация как условий собственного существования*, так и собственных представлений являются, как известно, шагом к *самопознанию, самоосознанию себя в мире*.

Вот этот мотив *возможности самопознания* в пространстве качественного исследования настойчиво звучит и в другом интервью с социологом. Мой информант, изучая проблему наркомании, СПИДа, беседуя с экспертами и за-

болевыми людьми, испытывал, по его словам, «шок, культурный, человеческий»: «раньше мне казалось, что вот преступники, люди, которые находятся «на краю» – это другие. А тут вдруг выяснилось, что вот эта грань, она... вот эта вот грань, вот эта пропасть, она на самом деле конструируется, перейти ее легко. ...обнаружилось, что вот эти вот элементы того, почему происходит переход в маргинальный слой, они есть, ну, во многих, и главное, что это есть и очень сильно во мне» (Л., мужч., 28 л.). В целом, по его словам, качественные исследования во многом изменили его: «я больше не могу лицемерить, по крайней мере, в отношении самого себя».

Анализ интервью с социологами показал, что качественное социологическое исследование может стать и пространством *профессионального самоопределения* социолога, когда это самоутверждение своей профессиональной идентичности становится *прорывом к подлинному в себе, бытийно значимым*. Здесь профессия становится не столько институционально заданной ролью, которая хорошо (или плохо) исполняется, сколько формой реализации *жизненной задачи* человека, способом *придания жизни смысла*, выражением его *отношения к миру*. Не случайно, латинский термин *profession* (профессия) переводится не только как «род деятельности», но и как «выражение» [20, с.622].

В моем исследовании есть несколько демонстраций такой возможности. Вот одна из них: «... видя все это (социолог изучала инвалидов – А.Г.), я укрепилась в том, что мне нравится социальная работа... мне нравится помогать людям, что-то делать, чтобы им стало легче жить. Я социальную работу понимаю как создание комфортности жизни, чтобы стало им удобнее жить, желание жизни появилось. Я очень изменилась и в профессию эту вошла только благодаря... ну классическая социология нас учила всегда чему? Срез социальной реальности сделали, замерили, изучили и выдали. А я говорю: «А дальше что?» Хочется изменить этот мир, который себя как-то, где-то себя не так чувствует... В большинстве своем эти проблемы не

решаются, но хотя бы создать почву, чтобы эта проблема была менее яркой» (В., женщ., 32 г.).

Есть и еще одно свидетельство: «Это был второй курс, и у меня возникли некоторые неуверенности в социологии, в пользе, в какой-то практической цели, вот. И после того, как я провела первое нарративное интервью, я поверила, что социология – это действительно интересно, и этим я хочу заниматься» (Н., женщ., 24 г.).

Возможно, и интервью с социологами в этом убеждают, и самоопределение «внутри профессии», методологическое и содержательное, при этом методологическое – принципиально меняет и теоретические приоритеты, взгляд на социальную реальность в целом. Вот как рассказывает о смене своих методологических установок одна из моих информантов, много лет проработавшая в социологии: «... мы проводили исследования (речь идет о количественных исследованиях в доперестроечный период – А.Г.) в обеденный перерыв, массово-поточно, под надзором, по разрешению парторганизаций, фактически используя информанта, не отслеживая его собственные представления о мире, а навязывая ему что-то иное. Все это заставило меня скептически относиться к собственной работе в ее методологической части. В то время качественные исследования были чуть ли не академическим диссидентством... Пришли другие времена. Наблюдение, включенное наблюдение и наблюдающее участие стали нашими основными формами. Мы явно склонялись к новой этнологически ориентированной социологии» (А., женщ., 49 л.). Реальность качественного исследования, детали повседневности, всплывающие в биографических нарративах, решающие смыслообразующие события жизни рассказчиков кардинально изменили ее видение социальной реальности: «она стала представать передо мной не как машиноподобный организм, а как сложная конфигурация ...пучков стратегий людей, принадлежащих к разным социальным средам» (А., женщ., 49 л.).

Анализ этого интервью показал, что изменение *методологических* ориентаций информанта решает не только *познавательные* задачи, но прежде всего *экзистенциально* значимо для социолога, выступает основанием для ее определения себя: «Работая во многих исследованиях, я пришла к выводу, что качественное исследование – совсем не наука (как номотетическое знание), а творчество, результаты которого зависят от таланта исследователя, уровня его культуры, возможностей его социологического воображения. Такой исследователь – это почти литератор... Такое понимание своей профессии примирило меня с пониманием себя как человека гуманитарного склада, любопытного до чужой жизни».

В целом, подводя итоги своего эмпирического анализа качественного исследования в *экзистенциальных координатах*, хочется подчеркнуть, и интервью это, на мой взгляд, убедительно демонстрируют не обязательность, но *возможность, высокую вероятность экзистенциального прорыва социолога* в процедуре качественного исследования. Вместе с тем *становление собой, экзистенциальное движение к себе*, в наших интервью также эта тема звучит очень настойчиво, сопровождается и *сильной эмоциональной встряской, порой потрясением*, хотя и кратковременным. И я задаю себе вопрос: «Хорошо это или плохо для самого социолога, не является ли это действительно эмоциональной угрозой, о которой так тревожатся английские социологи, способной нанести вред его физическому и психическому самочувствию?»

Может быть, определенным ответом на этот вопрос может служить размышление–призыв испанского писателя–экзистенциалиста Унамуно, переиначившего известную историю Сервантеса о Дон Кихоте и создавшего свою «Жизнь Дон Кихота и Санчо»: «Конечно, встретятся люди, которые поставят Дон Кихоту в вину, что он вновь вырвал Санчо из его спокойной и неторопливой жизни... Есть и такие, которые на все лады превозносят святую простоту... Но лишь тот, кто однажды познал человечность, тот пред-

почитает ее.... Нужно содержать души в беспокойстве, будоража их в глубочайших глубинах...Нужно лишать души спокойствия и разжигать в них могучую тоску, даже будучи убежденным, что они никогда не достигнут цели своего стремления. Нужно выманить Санчо из его укрытия: его нужно сделать человеком». Как бы вторя великому испанцу, мой информант Елена в интервью говорит: *«Я думаю, что если у социолога после качественного интервью было все в порядке на душе, то это плохо...когда все в порядке – не думаешь».*

Литература

1. Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984–1985. М., 1986.
2. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
3. Декарт Р. Соч.: В 2-х т. М., 1989. Т.1.
4. Дильтей В. наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. №4.
5. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994.
6. Хайдеггер М. Бытие и время. М.: Ad marginem, 1997.
7. Конев В. Критика способности быть. Самара: Самарский университет, 2000.
8. Гадамер Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988.
9. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академия Центр, Медиум, 1995.
10. Кассирер Э. Понятие символической формы в структуре наук о духе // Философия культуры. М., 1998.
11. Гадамер Г. Актуальность прекрасного. М.: Прогресс, 1991.
12. Мэй Р. Открытие бытия. М.: Инст. общегум. исслед., 2004.

13. Гайденок П. Прорыв к трансцендентному. М.: Республика, 1997.

14. Щитцова Т. В. О понятии *tilværelse* в философии Кьеркегора // Топос. 2000. №1.

15. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» // Кьеркегор и современность. Минск: РИВШИГО, 1996.

16. Больнов О. Философия экзистенциализма. Санкт-Петербург: Лань, 1999.

17. Шестов Л. Умозрение и откровение. Париж, 1964.

18. Лехциер В. Введение в феноменологию художественного опыта. Самара: Самарский университет, 2000.

19. Дильтей В. Категории жизни // Вопросы философии. 1995. №10.

20. Дворецкий И. Латинско-русский словарь М: Русский язык, 2000.

21. Разинов Ю. От категории к экзистенциалам: к проблеме экспликации форм неклассической рациональности в онтологии М. Хайдеггера // Конев В. Критика способности быть. Самара: Самарский университет, 2000.

22. Конев В. Методологические проблемы экзистенциального анализа // Конев В. Критика способности быть. Самара: Самарский университет, 2000.

23. Конев В. Онтология культуры (избранные работы). Самара: Самарский университет, 1998.

24. Бубер М. Я и Ты. М.: Высшая школа, 1993.

25. Лехциер В.Л. Спор как экзистенциал // Вопросы философии. 2002. №11.

26. Shaffir N. Doing Ethnography: Reflections on Finding Your Way // Journal of Contemporary Ethnography. Sage Publications. Vol. 28. №6. December, 1999.

27. Bulmer M. Social Research Ethics. London: Macmillan, 1982.

28. Homan R. The Ethics of Social Research. London: Longman, 1991.

29. Silverman D. Doing Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications, 2000.

30. Punch K.F. Introduction to Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 1998.

31. Denzin N. and Lincoln Y. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

32. Magolda P. Accessing, Waiting, Plunging in, Wondering and Writing: Retrospective Sense-Making of Fieldwork // Field Methods, Sage Publicatios. Vol.12. №3. August, 2000.

33. Anderson B. First Fieldwork: The misadventures of an anthropologist. London: Prospect Heights, 1990.

34. Barley N. The innocent anthropologist: Notes from a mud hut. London: British Museum, 1983.

35. Anthropologists in a wider world. Essays on field research. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

36. Riviere P. Indians and cowboys // Anthropologists in a wider world. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

37. Games W. Beyond the first encounter: transformations of the field in North East Africa // Anthropologists in a wider world. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

38. O'Hanlon M. A View from afar: memories of New Guinea Highland warfare // Anthropologists in a wider world. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

39. Dresh P. Wilderness of mirrors: truth and vulnerability in Middle Eastern fieldwork // Anthropologists in a wider world. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

40. Parkin D. Templates, evocations and long-term field-worker // Anthropologists in a wider world. New York, Oxford: Bergbavn Books, 2000.

41. White W. Creative problem in the field: reflections on a career. Walnut Creek, CA: Alta Mira, 1997.

42. Wolf D. Feminist Dilemmas in Fieldwork. Boulder, CA: Westview, 1996.

43. Olesen V. Feminism and models of qualitative research // Denzin N. and Lincoln Y. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.

44. De Vita P.R. The naked anthropologist: tales from around the world. London: Macmillan, 1983.

45. Van Maanen S. The moral fix: on the ethics of fieldwork // Contemporary field research: a collection of readings. London: Waveland, 1983.

46. Danger in the field. London and New York: Routledge, 2000.

47. Westmarland L. Taking the flak: operational policing, fear and violence // Danger in the field. London and New York: Routledge, 2000.

48. Calvey D. Getting on the door and staying there: a covert participant observational study of bouncers // Danger in the field.

49. Jamieson J. Negotiating danger in fieldwork on crime: a researcher's tale // Danger in the field.

50. Lankshear G. Bacteria and babies: a personal reflection on researcher risk in a hospital // Danger in the field.

51. Letherby G. Dangerous liaisons: auto/ biography in research and research writing // Danger in the field.

52. Jipson A. and Litton C. Body, career and community: the implications of researching dangerous groups // Danger in the field.

53. Маслова О.М. Мир интервьюера: по данным формализованного и свободного интервью // Социология: 4М. 2000. №12.

54. Ковалев В. И. Моя профессия – социолог. М.: Союз, 2001.

55. Козлова Н. Н., Сандомирская И. «Я так хочу назвать кино». «Наивное письмо»: опыт социолингвистического чтения. М.: Гнозис, 1996.

56. Козлова Н. Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М.: ИФРАН, 1996.

57. Козлова Н. Н. Документы жизни: опыт социологического чтения // Socio-logos'1996. М.: Sociologos, институт экспериментальной психологии, 1996.

58. Сорокин П. Дальняя дорога. М.: Терра–Терра, 1992.

ОПЫТ СОЧЕТАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИЙ В ОДНОМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ИССЛЕДОВАНИИ: АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Возможно, сегодня нигде не происходит таких фундаментальных изменений, как в России. Коммунистическая система... в конце концов рассыпалась, распалась и оставила после себя монументальные развалины, из-под которых поднимаются освобожденные граждане...

П. Штомпка
Социология социальных изменений

Главное не то, что сделали из человека, а то, что он делает из того, что из него сделали. Субъект... или субъективность существуют с момента, когда имеется усилие превзойти данную ситуацию.

Жан Поль Сартр

1. Качественная и классическая методологии социологического исследования: возможность сочетания

Характеристика позиций. Сегодня вопрос о возможности сочетания качественной и классической методологий

в одном отдельно взятом исследовании является *дискуссионным* в социологическом сообществе. На мой взгляд, можно выделить по меньшей мере *четыре позиции* социологов по этой проблеме.

Первая, назовем ее *радикалистской позицией*, разделяется прежде всего методологами: З. Бауманом, Ж. Габриумом, Дж. Холстейном и др. Она состоит в том, что эти две социологии, «взаимоотношения которых воспроизводят пропасть, разделяющую *Законодательный* и *Интерпретативный* разум, *нельзя примирить*» [1, с.14]. *Законодательный разум* здесь – методология *классического* социологического исследования, в рамках которой исследователь – «врозразый обществовед» – производит закон, единственно верную истину для всех остальных людей, «сборища невежд» здесь. *Интерпретативный разум* – это методология качественного исследования, где в режиме диалога на равных рождается *множественность толкований* социальной реальности¹ *Интерпретативный разум*, по З. Бауману, – это разум, который отказывается законодательствовать.

В наиболее *радикальной версии* в рамках этой позиции считается, что вместе с «медленным разложением модернистского проекта» должна *уйти со сцены* и классическая социология (*Законодательный разум*) как ошибочная, устаревшая, уступая место качественной социологии (*Интерпретативному разуму*). Здесь отношения между этими социологиями – *отношения исторической последовательности*: сначала – потом. Это версия справедливо вызывает возражения: пришествие эпохи «постмодернизма» вовсе не означает, что «модернистские» социологические практики «уйдут со сцены». *Более умеренная форма* этой позиции состоит в том, что принципиально полярные социологии существуют все же *синхронно, параллельно*, но вес *качественных исследовательских практик*, как более соответ-

¹ В целом *Законодательный* и *Интерпретативный разум*, по З. Бауману, – более широкие понятия, соответствующие методологии классического и неклассического *гуманитарного знания*.

вующих «духу времени» будет возрастать. Фактически такая позиция достаточно жестко или в мягкой форме рассматривает эти два подхода в терминах «лучше – хуже».

Вторая позиция, назовем ее *экзистенциалистской*, заключается в том, что каждая из этих парадигм имеет свой *спектр познавательных возможностей*, свои *достоинства и недостатки* и потому не может быть оценена по шкале «лучше – хуже». Главный пафос такой позиции в том, что «не существует критериев, которые бы позволили окончательно доказать превосходство» одного подхода над другим. Вопрос о том, «к какому знанию мы стремимся, ...есть *экзистенциальный выбор*» [2, с.13] исследователя.

Третья позиция, назовем ее *прагматической*, является в некотором смысле продолжением второй и разделяется прежде всего социологами, имеющими *значительный опыт эмпирических исследований*. В западной социологии – это Д. Силверман, К. Панч, Л. Ньюман, Т. Шанин и др. [3, с.102–112]; [4]; [5, с.315]; [6, с.326], в российской социологии – В.А. Ядов, О.М. Маслова, М. Малышева, Г. Саганенко, Г.Г. Татарова, [7, с.214]; [8, с.8]; [9, с.118]; [10, с.11]; [11, с.13–15] и др. Она заключается в том, что каждая из этих методологий имеет свою *«зону релевантности»*, т.е. *область исследовательских задач*, где ее использование является наиболее эффективным, или может быть единственно возможным. Выбор той или иной методологии определяет *сам исследователь*, руководствуясь *целями и задачами своего исследовательского проекта*: «нет самого лучшего метода, а есть понятие об адекватном методе», как точно сказала Г. Татарова [11, с.19].

На мой взгляд, сегодня можно выделить две *принципиально различные области исследовательских задач*, одна из которых адекватна специфике *классического исследования*, в то время как вторая – особенностям *качественного исследования*. Методология *классического социологического исследования* в наибольшей степени соответствует такой исследовательской ситуации, когда необходимо:

- определить меру выраженности, распространенности того или иного *социального свойства* в изучаемой социальной общности;

- описать степень представленности *отдельных элементов* изучаемого социального явления, то есть количественно описать *его структуру*;

- выявить количественную представленность *типов изучаемого явления* в той или иной социальной группе;

- определить взаимосвязь между изучаемыми признаками, ее тесноту и направленность.

Этот класс исследовательских задач может быть реализован в классическом социологическом исследовании, и я уже говорила об этом в главе 1, если в распоряжении исследователя есть *теоретическое описание* изучаемого явления или процесса: только в этом случае возможна эмпирическая интерпретация, осуществление эмпирического исследования в целом. Это означает, что в рамках классической методологии могут быть исследованы только *относительно изученные, теоретически осмысленные* социальные явления, при этом их теоретическое описание удовлетворяет исследователя.

Методология *качественного исследования* адекватна такой исследовательской ситуации, когда необходимо изучить:

- малоизученное или вовсе новое, неизученное явление;
- социальный объект в его изменчивости во времени;
- уникальное явление в его целостности и неповторимости.

Еще одна позиция, назовем ее *узкоэмпиристской*, сводится к тому, что различия между качественным и классическим исследованиями (в терминологии авторов – между качественными и количественными методами) не столь уж велики: социологи издавна используют самые различные методы [12, с.26]; [13, с.124]; [14, с.101–108]. Именно поэтому, по мнению В. Якубовича, одного из сторонников такой точки зрения, «дискуссия о правомерности качественного и количественного подходов бесплодна» и более

того, она вообще «индикатор кризиса, не показывающий пути к его разрешению» [12, с.26]. Близка к этому и позиция, в рамках которой эта дискуссия – «некая болезнь научного социологического сообщества» [14, с.102].

На мой взгляд, наиболее плодотворна сегодня *прагматическая* позиция, которая, признавая «особость», *принципиальную противоположность* качественной и количественной методологий, тем не менее, не сооружает между ними «китайской стены». Сторонники этой точки зрения полагают, что применительно к *отдельно взятому исследованию* возможно их *сочетание*, если это *обусловливается целями и задачами исследовательского проекта*. Следует подчеркнуть, что речь идет именно о *возможности*, но не *обязательности* такого интегрирования, задаваемой *прагматикой* самого исследования, ее *конкретным сочетанием целей*¹.

Сегодня среди приверженцев прагматического подхода довольно популярна точка зрения, ведущая свое начало от *фазовой модели*, представленной в 50-е годы П. Лазарсфельдом и А. Бартоном [13, с.124–125]. Американские авторы главную задачу «качественной» фазы видели в *разработке гипотез*, которые *должны проверяться потом, на другом этапе*, традиционными методами для получения статистически значимого результата. В рамках такого подхода качественная методология (и, соответственно, методы качественного исследования) выступает *только вспомогательным, подсобным средством*: или в качестве разведывательного этапа *до осуществления основного классического*, или в качестве уточняющего, детализирующего, *после* него. В рамках такой позиции качественное исследование и, соответственно, его выводы, лишаются *самостоятельного статуса*, что, на мой взгляд, *совершенно неверно*.

¹ Такая позиция противостоит модной, но, на мой взгляд, неверной точке зрения, настаивающей на *обязательности* интеграции методов (в формулировке авторов) как условия более полного описания и объяснения изучаемого социального феномена

Конечно, в рамках *разведывательного* этапа традиционного социологического исследования действительно чаще всего используются «мягкие» методы: свободное интервью, включенное наблюдение и т.д. Вместе с тем, его все-таки *нельзя назвать качественным*, так как здесь не производится *полноценного знания*. Задача разведывательного этапа классического социологического исследования – быть вечным «предзнанием», «до того знанием»: отрефлексированные здесь проблемы и предмет исследования не имеют *самостоятельной ценности*. Вместе с тем идея взаимосвязи этих двух методологий в едином исследовательском цикле предполагает их *равнозначное «сосуществование»*, *равный вес и значимость* исследовательских задач, которые решаются в их рамках. В рамках такого подхода на качественном этапе производится *самоценное знание*, соответствующее поставленным исследовательским задачам.

Как возможно их сочетание? Какие организационные, логические очертания оно принимает? Социологическая практика, на мой взгляд, показывает, что возможно по меньшей мере два вида сочетаний:

- качественная и количественная методологии используются параллельно;
- качественная и количественная методологии используются последовательно, на разных этапах социологического исследования.

Параллельное использование качественной и количественной методологий в одном исследовательском цикле. Для такого «параллельного» сочетания характерно изучение *различных срезов одного и того же предмета исследования*. Это различные методологические фокусы исследуемого интереса. Они могут «накладываться, соединяться и перекликаться в процессе познания» [6, с.328]. Т. Шанин для такого сочетания методологий в одном отделе взятом исследовании вводит термин «интерфейс». Он полагает, что близкие термины «связь», «взаимодействие», подчеркивая единство поля исследования, тем не ме-

нее, не отражают принципиальной разнородности качественного и количественного фокусов исследования.

Блестящим использованием такого «интерфейса» было проведенное под его руководством исследование российского крестьянства, о котором я уже говорила ранее. В нем, например, в рамках *классической методологии* проводились бюджетные обследования домохозяйств – анализ доходов и расходов, вобравшие в себя традицию сельских статистических бюджетных исследований¹. *Параллельно в этих же семьях* шел сбор качественных данных о стратегиях материального обеспечения, планах производства, использования труда, материальных ресурсов и денег, а также бартера и неэквивалентного обмена в сети взаимопомощи родственников и соседей. Такое сочетание двух *полярных методологических подходов* применительно к одному и тому же предмету исследования дало возможность соотнести «сухие» цифры доходов и расходов с *субъективно значимыми решениями*, соображениями членов изучаемых семей; позволило понять их способ организации собственной экономической жизни, в конечном итоге – российского крестьянства образца начала 90-х годов в целом.

Последовательное сочетание качественной и количественной методологий в одном отдельно взятом исследовании. В мировой социологии сегодня существует целый ряд эмпирических исследований, представляющих собой сочетание качественной и количественной методологий на *разных этапах* одного исследования. Чаще всего на *первом этапе* используется качественная методология и, соответственно, «мягкие» методы, а на *втором* – традиционная, *классическая*, с соответствующими процедурами.

¹ Такие исследования проводились еще в 20-е годы в рамках ЦСУ и Тимирязевской Академии и связаны с именами А.В. Чаянова, В.С. Немчинова и др. В исследовании под руководством Т. Шанина чаяновские таблицы были скорректированы, и с их помощью собирались *количественные данные* о балансах семейного производства, об инвестициях, комбинировании натуральных и денежных расходов.

При этом на первом, качественном, этапе исследователь «схватывает» явление как *целостность*, как *палитру*, *содержащую самые разнообразные его краски*. Именно на этом этапе изучаемое явление предстает своими новыми, неожиданными для исследователя гранями.

На втором, количественном, этапе – как правило, определяется *мера выраженности* найденного, описанного на предыдущем этапе. Следует подчеркнуть, что качественный этап здесь имеет *самостоятельное* значение: в его рамках *уже* произведено знание, *представляющее интерес* для исследователя. Чаще всего это описание («тонкое» или «толстое») малоизученного или не изученного вовсе социального явления. Продолжение исследовательского поиска, переход ко второму этапу здесь *вовсе не обязателен* и диктуется только соответствующими целями и задачами исследования.

В отечественной социологии примером такой логической последовательности (*качественный–количественный этапы*) может быть известная аксиобиографическая методика выявления ценностных ориентаций А.П. Вардоматского [15]. На *первом, качественном, этапе* эта методика предполагает выделение *спектра* ценностных ориентаций индивидов¹. На *втором, классическом, этапе* изучается представленность выделенных ценностных ориентаций в той или иной социальной общности, которая выступает объектом исследования.

Возможно и *принципиально другое* – *последовательное сочетание* рассматриваемых методологий. Оно обуславливается *иным сочетанием целей и задач* исследования. Здесь

¹ Для этого информантов просят написать (или рассказать) о самых значимых для них событиях в их жизни (вот откуда вторая часть названия этой методики – «биографическая»). После этого интервьюер, используя метод глубинного интервью, пытается понять те смыслы, которыми информант наделяет выделенные события. Анализируя получаемую информацию, исследователь (он же, как правило, здесь и интервьюер) конструирует в итоге ценностные ориентации индивидов как некоторые обобщающие теоретические понятия.

на первом этапе осуществляется *классическое* исследование с присущими этому подходу «жесткими» методами, а на втором – *качественное* исследование с соответствующими процедурами. В качестве примера такой логики исследования в западной социологии можно привести исследование проблемы внебрачного материнства французского социолога Н. Лефошер, которое анализирует Жан-Пьер Альмодавар в своей известной статье «Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление масштабов анализа» [16, с.101].

Первый этап этого исследования – количественный – включал *статистический анализ* официальных документов: карточек гражданского состояния, административных досье 250 молодых женщин, матерей-одинок¹. С помощью собранной статистической информации исследователь сумел проследить некоторые вехи социальной и семейной траектории женщин.

На *втором, качественном этапе*, который осуществлялся через несколько лет, Н. Лефошер использовала *исследовательскую стратегию «история жизни»*. Рассказы о жизни 6 матерей-одинок антильского происхождения позволили воссоздать макросоциальный контекст, т.е. те изменения в социальных нормах, которые произошли в течение жизни одного поколения на Антильских островах: женщины, происходящие из семей, в которых «наблюдается в некотором роде генеалогическая непрерывность внебрачного материнства, осуждают его», стараются дистанцироваться от него.

¹ Вся эта информация была собрана в приюте для матерей-одинок.

2. Опыт последовательного сочетания классической и качественной методологий в исследовании социально-экономической адаптации населения Самарской области

Особенности нашего методологического подхода к анализу социально-экономической адаптации населения. Термин «социальная адаптация» сегодня – один из самых используемых в российской социологии: новосибирский социолог Л. Корель обосновывает даже необходимость выделения социологии адаптации как самостоятельной социологической науки [17], что на мой взгляд, не бесспорно. Вместе с тем этот термин имеет давнюю историю. Заимствованный из биологии в начале XX века и пересаженный на волне естественно научной ориентации социологии в чужую почву лишь с добавлением слова «социальный», он успешно прижился в ней, дав имя важнейшим процессам, относящимся как к отдельным индивидам, так и к организациям, социальным институтам, обществу в целом. Начало его использования применительно к индивидам, видимо, следует связывать с именами У. Томаса и Ф. Знанецки, изучавших социальную адаптацию польских крестьян-иммигрантов в Европе и Америке (так уж случилось, что это исследование, о котором я не раз говорила, было стартовым полем многих начинаний в социологии). Воспринятый структурным функционализмом с его органицистскими корнями в том его виде, в каком он артикулируется в середине XX века Т. Парсонсом и Р. Мертоном, этот термин стал применяться к анализу *разного рода социальных систем, взаимодействующих с социальной средой*, в которую они погружены, став важнейшим конструктом в концепциях этого направления социологической мысли.

Так, в теоретической схеме Т. Парсонса, названной им «*системой действия*», где «действие рассматривается как процесс, протекающий между двумя структурными частями системы: *актором и ситуацией*» [18, с.639], а понятие «актор» используется расширительно и относится к *разно-*

го рода «единицам действия» (коллективам, поведенческим организмам, культурным системам), *понятием адаптации* описывается «*отношение системы действия к среде*», в которой она действует [18, с.642]. При этом Т. Парсонс подчеркивает, что «адаптация имеет дело с отношением всей системы к объектам, которые как таковые *не* (курсив Парсонса – А.Г.) включены в нее [18, с.656]. Парсонс также выделяет два вида адаптивных процесса: пассивный и активный¹. Пассивный, по его мнению – это такой, «который может совершаться путем *приспособления* к изменениям требований, предъявляемых средой», активный – «путем достижения *господства* над ними» [18, с.670].

Р. Мертон, размышляя о влиянии социальной и культурной структур американского общества на отклоняющееся поведение его членов, рассматривал адаптацию индивидов к внешней среде как процесс, *форма* которого «*задает*», *обуславливает* возможность такого рода поведения в обществе. Выделив *культурные цели* и *институциональные средства* их достижений в качестве главных компонентов *внешней социальной среды* [19, с.118], американский социолог разработал типологию адаптивного поведения индивидов в обществе, включающую в себя 5 *типов приспособления*: конформность, инновация, ритуализм, ретрицизм, мятеж [20, с.104].

Вся последующая история использования этого термина в социологии *применительно к индивидам*, на мой взгляд, сводилась преимущественно или к *буквальному воспроизведению* «родительского» смысла, данного структурным функционализмом, или к *углублению* его смыслового поля за счет акцентирования «меры вклада» индивида и среды в это взаимодействие. При этом использование терминов – синонимов: «совладание с ситуацией» [21, с.14]; [22, с.90–106], «приноровление [23, с.23] иногда ря-

¹ Следует подчеркнуть, что это парсоновское выделение видов адаптации практически с тем же содержательным смыслом сегодня весьма популярно в российской социологии, анализирующей процесс адаптации населения страны.

дом с «адаптацией», иногда в качестве заменителя этого понятия – ничего не меняло в принципе.

Э. Гидденс, например, работая в *первом русле*, анализировал процесс адаптации человека к главным, на его взгляд, компонентам общества «поздней модернити»: нестабильности и риску. Он выделял 4 типа адаптивного поведения: прагматическое деловое отношение, сосредоточенность на повседневных заданиях; оптимизм, вера, что все как-то образуется; циничный пессимизм, сопровождающийся гедонизмом; жесткая борьба против выявленных источников опасности в рамках социальных движений [24]. П. Штомпка, также работая в этом ключе, «вписывает» выделенные Р. Мертоном типы адаптивного поведения в свою *концепцию культурной травмы, переопределяя их* в координатах этой теории, концептуализирующей процессы кардинальных изменений в социуме¹ [21, с.11].

В российской социологии структурно-функционалистское определение индивидуальной адаптации также является преобладающим [25, с.403]; [26, с.11]. Вместе с тем смысловое поле термина расширяется за счет добавления (уточнения) отдельных его граней. Внимание авторов сосредоточивается на *ответном* характере реагирования, когда поведение индивида (как, впрочем, и любой социальной системы), рассматривается как *ответ на действительные и возможные изменения среды* [23, с.32], акцентируется наличие у адаптирующейся системы *цели адаптации* [27], анализируется *адаптивная* (приноровленная к среде) и *адаптирующая* (преобразующая среду, подстраивающая ее под себя)) активность [28], фиксируется конечная цель адаптации – достижение *гармонического равновесия со средой*.

¹ Несовершенство этой теории, на мой взгляд, состоит в излишнем педалировании возможных и реальных *отрицательных* социальных последствий социальных сдвигов: метафора травмы маркирует социальное изменение как исключительно разрушительное, деструктивное воздействие на социальное тело.

Наиболее интересной в методологическом и методическом аспектах¹, на мой взгляд, сегодня является позиция Л. Гордона, в соответствии с которой социальная адаптация рассматривается «как процесс *психологического и поведенческого освоения* меняющегося типа *целостной системы общественных отношений* (адаптация к новому строю)» [29, с.4]. Вместе с тем, на мой взгляд, сегодня в России в условиях «*устойчивой переходности*», заряженной нестабильностью, неопределенностью развития, когда *новый тип* общественных отношений существует лишь как *некая идеальная модель*, а сама эта переходность напоминает, по образному выражению Н.Ф. Наумовой, «*странный мост*», один конец которого – в прошлом, а второй, «наращиваясь, висит пока в воздухе, ибо второго берега в данный момент нет» [30, с.88] – в такой социальной ситуации методологически корректнее *другой подход*.

В наших исследованиях² социальная адаптация понималась как процесс психологического и поведенческого освоения индивидами *того социального пространства*, которое сегодня *реально формируется* в России *во всей его противоречивости и обусловленности национальным, историческим и прочими контекстами*. Здесь *освоение*, термин, Л. Гордоном не расшифрованный, имеет много коннотаций: принятие, овладение, использование, подчинение себе чужой меняющейся социальной ситуации, *превраще-*

¹ Дело в том, что структурно-функционалистское определение адаптации как взаимодействия индивида и среды, направленное на гармонизацию этих отношений, установление определенного равновесия между ними *практически невозможно операционализировать* (что считать равновесным состоянием? каковы эмпирические признаки такого равновесия?), а значит и использовать в эмпирических исследованиях.

² Речь идет о мониторинге социально-экономической адаптации, проведенном по заказу администрации Самарской области в 1999–2003 гг. под моим руководством и при моем непосредственном участии и включающем 3 «точечных» исследования (1999 г., 2001–2002 гг., 2003 г.), осуществленных в рамках единой методологии и единого инструментария.

ние ее в «свою» (корень слова «свой»). Освоение здесь предполагает *знание* способов «принорования», может быть, и смутное, неопределенное, часто «сопряженное с огромным количеством ошибок» [31, с.338], что вообще характерно для повседневного знания, а также *определение конкретной жизненной ситуации* как нуждающейся в изменении, как *проблемной*, требующей своего решения, побуждающей к определенным действиям: *надо что-то делать*. Такая ситуация, которая осознается актором как *требующая изменения*, и является *стимульной*, если под стимулом понимать *начало стимулирующего акта*, представляющего собой *факторы наличного бытия*, непосредственные объективные обстоятельства, *имеющие* продолжение во внутренних осознаваемых побуждениях (мотивах) индивида.

Необходимо остановиться *еще на одном моменте*, важном для понимания *нашего подхода* к исследованию адаптации. Сегодня в большинстве эмпирических исследований этот процесс изучается как *нерасчлененный, целостный*, что верно и неверно одновременно. Неверно, потому что *различные составляющие* социального пространства (например политическая и экономическая) развиваются *разнокачественно*, разными темпами. Да и *значимость* этих сторон социальной реальности и прежде всего, значимость ценностей этих сфер для индивидов *различна*. Так появившиеся в российском обществе политические свободы расцениваются как благо лишь теми, для кого свобода является значимой ценностью. Все остальные просто не замечают произошедших изменений. В связи с этим методологически корректнее, на мой взгляд, изучать *отдельные составляющие* процесса: адаптацию к изменяющейся политической жизни, экономическую адаптацию, досуговую и т.д.

В то же время применительно к жизни *конкретных индивидов* адаптация есть действительно *целостный нерасчлененный* процесс, в котором различные составляющие (выделенные лишь в теоретической схеме) *тесно перепле-*

тены, зачастую выступая компенсаторами друг друга. В познавательной модели эта целостность, на мой взгляд, должна выражаться в выделении так называемой *интегральной адаптации*, не сводимой к простой сумме отдельных составляющих процесса.

Еще одна специфическая особенность нашего подхода – акцент на *поведении, реальных массовых практиках* освоения меняющегося социального экономического пространства. Изучение прежде всего *адаптивного* (или неадаптивного) *поведения* не является *типичным* для российской социологии. Скорее наоборот, преобладающее большинство эмпирических исследователей делают акцент на *субъективных показателях*: готовности сменить профессию, получить новую работу; оценке социального самочувствия, уверенности в будущем [32, с.110]; принятии новых ценностей и норм, признании или непризнании их неизбежности [29, с.5]; оценке приобретений и потерь, связанных с важными жизненными потребностями и целями в ходе приспособления к новой ситуации [33, с.268–271]; самооценке своей адаптированности [34, с.13], социальном настроении [35, с.395–397] и т.д. Вместе с тем, я полагаю, и тут я согласна с Л. Корель [17, с.26], в бифуркационных средах (а российский социум именно таков) адаптирующиеся индивиды прежде всего *поведенчески* реагируют на изменение среды. В то же время социальные установки, стереотипы, ценностные ориентации сохраняются прежними еще относительно долгое время.

Следующая грань нашего методологического подхода – выделение *двух групп* массовых поведенческих адаптационных практик: *публичных и частных*. Само выделение этих групп в их взаимопереплетении не является *общепринятым подходом* в российских исследованиях социально-экономической адаптации: чаще всего эмпирическому анализу подвергается *определенный спектр* адаптационных практик: преимущественно формализованных (формальных) [36, с.108–126]; [37, с.3–28]; [38, с.20–28] или «домашних», (в основном неформальных) [39, с.127–155]. Непри-

вычно и использование терминов «*публичные*» и «*частные*» практики для социолога, настроенного на волну современной экономической социологии, использующей другую оппозицию: *формальные–неформальные* практики [40]; [41]; [42]. Эти полярные конструкты созданы исследователями для акцентирования *юридического (формального)* аспекта разнородных практик (или отсутствия такового), что применительно к целям нашего исследования не имеет особого значения. Неслучайно саму эту неформальную экономику (точнее, явления, входящие в ее круг) часто именуют эксполярной, теневой, подпольной, незарегистрированной, туземной, семейной [42, с.12]. Более того, я полагаю, следует согласиться с И. Олимпиаевой и О. Паченковым, считающими, что «многообразие феноменов, подпадающих под термин «неформальная экономика» делает невозможным его использование в качестве корректной исследовательской категории» [42, с.13].

Я полагаю, что оппозиция *публичное – частное*, «схватывающая» еще с античных времен разделение между институциональными областями: *частной сферой домохозяйства* и *публичной коллективной (общественной) сферой* в большей степени соответствует нашему видению процесса социально-экономической адаптации. В этом ключе к *публичным* адаптационным практикам в наших исследованиях были отнесены такие, которые осуществляются в *общественной* сфере, независимо от их формальности-неформальности, а к *частным – домашним* практики. При этом *публичные* практики изучались как способы «вписывания» в меняющуюся сферу *общественно полезного труда* – как известно, *приоритетного* элемента экономики. Кроме того, именно в этой составляющей экономики в последнее десятилетие произошли самые серьезные изменения, представляющие собой «вызовы», на которые люди должны реагировать: существенное изменение рынка труда, спад общественного производства, его реструктурирование и т.д.

Конечно, в группе *публичных* практик преобладают *институционализованные*, формальные, существующие на рынке труда, в поле экономики в целом, точно так же, как в группе *приватных* преобладают *неформальные* практики. Вместе с тем и в той, и в другой группе всегда присутствуют адаптационные практики с «обратным знаком» по критерию формальность-неформальность, правда, в значительно меньшей степени.

В спектр *публичных* практик были включены следующие: поиск новой работы, открытие своего дела, смена профессии (приобретение новой, востребованной), поиск дополнительной работы, получение образования с целью приобретения новой профессии, повышение интенсивности труда на рабочем месте. При этом публичные практики рассматривались прежде всего в контексте их *наличия или отсутствия*, независимо от их результативности: искал работу (но не обязательно нашел ее), делал попытки открыть свое дело (но не обязательно открыл его), искал дополнительную работу (но не обязательно нашел ее) и т. д. На мой взгляд, именно попытки *поведенчески* «ответить» на «вызовы среды», определив свою собственную ситуацию как *нуждающуюся в изменении*, безотносительно к результату этих попыток, и являются *адаптационными механизмами* «вписывания» в нее.

Приватными в наших исследованиях считались *домашние* «производительные» (назову их так) адаптационные практики: выращивание фруктов, овощей на приусадебных участках; собирательство; охота; выращивание домашнего скота и разведение пчел; рукоделие; производство утвари, мебели, а также *практики минимизации расходов, экономии средств*, с помощью которых многие российские домохозяйства пытались «вписаться» в меняющиеся социально-экономические условия.

Классический этап исследования. На этом этапе был поставлен ряд исследовательских задач, адекватных методологии классического социологического исследования: 1 – определить меру (масштабы) и успешность экономиче-

ской адаптации населения Самарской области; 2 – описать распространенность среди населения публичных и частных адаптационных практик; 3 – проанализировать «взлеты» и «падения» популярности публичных практик (динамику) в различные периоды кардинального преобразования российского социума.

Для «решения» *первой* исследовательской задачи применительно к публичным практикам был использован *типологический анализ* как определенная исследовательская стратегия [43]. Цель его заключалась в *эмпирической проверке* гипотезы о существовании выделенных в теоретическом анализе *определенных типологических групп* населения, различающихся по уровню (*мере*) и *успешности* включенности в адаптивный процесс¹. Логика типологического анализа предполагает выделение *типобразующих признаков*, выступающих «сеткой», основанием для выделения типологических групп. В соответствии со спецификой нашего методологического подхода, о которой я уже говорила, в этом качестве были выбраны следующие: наличие (или отсутствие) конкретных форм поведения на рынке труда, в сфере общественного производства (публичные практики); уровень материальной обеспеченности в ее *субъективной форме*, т.е. отнесение респондентом себя к той или иной группе по степени обеспеченности:

¹ Возможность выбора *именно такого* познавательного средства была продиктована рядом соображений: *во-первых*, в российской социологии *уже есть* некоторое теоретическое осмысление процесса социально-экономической адаптации, необходимое для выдвижения объекта типологии, типобразующих признаков; *во-вторых*, к моменту разработки методологии исследования у меня и у исследовательской группы, которой я руководила, *уже был собственный опыт проживания, переживания* новой для страны социальной ситуации, позволивший «перепроверить», «пропустить через себя» те или иные теоретические схемы; в третьих, стратегия типологического анализа позволяет выделить типологические группы, которые могут выступать *ориентирами* для *принятия управленческих решений*, – но именно в этом и состояла *прикладная цель* наших исследований.

- полностью обеспеченных;
- обеспеченных почти полностью;
- более или менее обеспеченных;
- малообеспеченных;
- бедствующих.

Выбор *имено этих* типобразующих признаков обусловлен пониманием индивидуальной адаптации в самом общем виде как *деятельности по «вписыванию»* в меняющиеся социально-экономические условия. Известно, что деятельность как процесс может быть представлена тремя компонентами: целью, средствами, результатом. В этом контексте *объектом типологии*, выделение которого необходимо в логике типологического анализа для конструирования типобразующих признаков [43, с.22], выступали *цель, средство, результат* адаптивной деятельности. Я полагаю, что в ситуациях, когда экономические преобразования кроме всего прочего привели к резкому падению уровня жизни, *конечной целью социально-экономической адаптации* выступает *достижение определенного материального положения*, способного обеспечить удовлетворение насущных физиологических и социальных потребностей. Конечно, спектр целей адаптации *достаточно широк*: это и реализация своих способностей, умений, и желание более полно использовать «открывшиеся возможности» для удовлетворения быстро растущих запросов, и стремление испытать себя, удовлетворить потребность в риске. Вместе с тем, *достижение определенного материального статуса* в кризисной ситуации, в период его резких реальных и потенциальных колебаний является, на мой взгляд, *важнейшей целью* экономической адаптации, характерной для абсолютного большинства населения страны. В рамках нашего методологического подхода *средствами* адаптационной деятельности выступают *определенные поведенческие формы* (публичные практики), а *результатом* – *степень успешности* деятельности, понимаемая как *степень достижения желаемого уровня материальной обеспеченности*.

Следует подчеркнуть, что выбор мной *субъективной оценки* людьми своего материального положения, а не его объективного состояния в качестве типобразующего признака имеет *принципиальный характер*: дело не только в том, что измерение материального положения в опросах не всегда дает достоверную информацию. Дело в другом – только *определение* своего материального состояния как *оптимального, устраивающего*, соответствующего уровню запросов и притязаний (или неоптимального, не соответствующего запросам индивида), выступает определенным результатом, своеобразной вехой, некоей точкой, фиксирующей состояние индивида на пути его адаптации к изменяющейся социально-экономической среде. Именно *оценка своего материального положения*, вбирающая в себя степень удовлетворения собственных запросов и притязаний, а значит и представление о социальной норме в той группе, с которой индивид себя идентифицирует, превращает (или не превращает) жизненную ситуацию в *стимульную*, побуждая его к тем или иным действиям в сфере труда¹

Выделенные типобразующие признаки являются попыткой решения и *значимой методической проблемы*: исследователь, пытающийся в одном отдельно взятом исследовании изучить уровень «вписанности» населения в меняющуюся социальную реальность, неизменно сталкивается с необходимостью поиска «*унифицированных*» признаков. Между тем ясно, что реальные изменения в *разной степени* затронули положение различных социальных слоев. В то же время и *формы реагирования*, и характер *определения ситуации* в качестве нуждающейся (или не нуждающейся) в изменении – также различны. Вместе с тем, я полагаю, что выбранные мной типобразующие признаки: «уровень успешности» в его субъективной форме и «наличие (или

¹ Сходный подход можно увидеть в исследовании социальной адаптации польских крестьян-иммигрантов У. Томаса и Ф. Знанецки. Они также говорят об успешности как субъективном феномене – см.: У. Томас и Ф. Знанецки. Методологические заметки // Американская социологическая мысль. М.: МГУ, 1994, с.335.

отсутствие) определенных форм поведения (публичные практики) – *достаточно универсальны, типичны* для различных социальных групп постсоветского социального пространства.

В рамках нашего подхода были выделены 4 типологические группы, различающиеся по уровню и успешности включенности в адаптивный процесс в социально-трудовой сфере:

1. К *успешным адаптантам* были отнесены те жители нашей области, для которых характерно:

- *использование публичных практик;*
- *отнесение себя к группам полностью материально обеспеченных, почти полностью и более или менее обеспеченных.*

2. В группу *успешных дезадаптантов* вошли те, кто:

- *не использовал выделенные публичные практики;*
- *в то же время отнес себя к группам полностью обеспеченных, обеспеченных почти полностью, и более или менее обеспеченных.*

3. К *неуспешным адаптантам* были отнесены те, кто:

- *использовал публичные практики (пытались вписаться);*
- *но считает себя малообеспеченным или бедствующим.*

4. В группу *неуспешных дезадаптантов* вошли те жители области, которые:

- *не использовали публичные практики;*
- *считают себя малообеспеченными или бедствующими.*

Исследование 2003 года показало¹ следующую представленность выделенных типологических групп в населении Самарской области:

¹ Исследование проводилось методом полужформализованного интервью в его жестком формате. Объектом исследования выступало население Самарской области. Всего было опрошено 1200 человек, отобранных методом четырехступенчатой выборки: на первой ступени использовался районированный отбор по типу населения (го-

- успешные адаптанты – 46,8% опрошенных;
- неуспешные адаптанты – 27,3% опрошенных;
- успешные дезадаптанты – 13,3% опрошенных;
- неуспешные дезадаптанты – 12,7% опрошенных.

В целом, по данным исследования, более 60 % опрошенных в течение последних 10 лет использовали те или иные преимущественно формальные механизмы, существующие в социально-трудовой сфере (публичные практики) для изменения своей жизненной ситуации к лучшему, то есть оказались *поведенчески включенными* в процесс «вписывания» в меняющуюся социально-экономическую ситуацию. При этом для большей части адаптантов этот процесс оказался удачным, результативным: доля успешных адаптантов превышает долю неуспешных в 3,5 раза¹.

родское, сельское); на второй – производилось районирование по типу территорий; на третьей – использовался типологический отбор городов и сел; на последней ступени использовался квотный отбор по признакам пола, возраста, образования.

¹ *Общая картина*, характерная для всего массива опрошенных, приобретает *иные очертания* применительно к *разным типам* территориальных общностей Самарской области: по доле *успешных адаптантов* резко «выбиваются» из общей картины *Тольятти и сельские районы*. В Тольятти удельный вес *успешных адаптантов* в 1,3 раза *выше*, чем в среднем по массиву (59,3%), в то время как в сельских районах напротив – в 1,4 раза *ниже* среднего для массива уровня (32,6%). Существенно различаются и доли самой «тревожной» типологической группы – *неуспешных дезадаптантов*: в малых городах и сельской местности удельный вес этой группы в 1,5 раз выше, чем в среднем по массиву (соответственно 20,4% и 21,0%). Основная причина таких различий известна: неравенство условий для осуществления публичных практик в сфере труда – малые города, так же, как и сельские районы, обладают гораздо меньшими возможностями для смены профессии, дополнительной работы, получения образования для новой профессии и т.д. В то же время это говорит и о том, что деревня, малые города «выживают» по-своему, используя не столько «городские», преимущественно институционализированные практики, сколько привычные, «домашние».

Представляет интерес, на мой взгляд, анализ *темпов и успешности* социально-экономической адаптации. К *сожалению*, возможности нашего мониторинга позволили взять в качестве базы сравнения только 1999 год, временную точку, когда было осуществлено наше первое исследование социально-экономической адаптации¹. В то же время понятно, что осваивание новых «правил игры», то есть использование новых открывшихся возможностей, так же, как и осознание ограничений, проблем и выбор поведенческих стратегий с соответствиями с ними, *не происходит в одночасье*, и потому нуждается в выборе более отдаленной временной позиции. Тем не менее сравнительный анализ *количественной представленности выделенных типологических групп в исследованиях 1999 и 2003 гг.* показывает, что в целом доля *адаптантов*, то есть тех, кто предпринимал соответствующие шаги для изменения своей ситуации к лучшему, выросла за этот период в 1,3 раза: с 46,5% в 1999 до 74,1% в 2003 г. Доля *успешных адаптантов* выросла существенно: в 1,7 раза: с 27,3% до 46,8%. Особенно показательным, на мой взгляд, является *резкое сокращение удельного веса неуспешных дезадаптантов*: за этот период он сократился почти в 1,9 раза (с 23,8% в 1999 до 12,7% в 2003 г.) при практически том же уровне успешных дезадаптантов.

Все это, видимо, говорит о том, что «лед тронулся», люди *все больше поведенчески осваиваются в меняющейся социальной реальности*, и это адаптивное поведение все в *большей степени становится результативным*, приносящим экономическую успешность.

Каждая из выделенных типологических групп имеет свое собственное *социально-демографическое «лицо»*, то есть характеризуется *преимущественной представленностью* в ней тех или иных социально-демографических

¹ Результаты этого исследования представлены в статье: А.С. Готлиб Социально-экономическая адаптация россиян: опыт сочетания количественной и качественной методологии в одном отдельно взятом исследовании // Социология-4М. 2000. Т.12.

групп¹. Группа *успешных адаптантов* имеет преимущественно мужское лицо и представлена в основном *молодыми людьми* 18–25 лет, правда, в *отличие от ситуации 1999 года* сегодня в ней существенно представлены и те, кому 30–34 года. Эта, преимущественно высокообразованная, группа представлена *прежде всего* предпринимателями, управленцами, техническими специалистами.

У группы *неуспешных адаптантов совсем другой* облик. Эта группа преимущественно женская, хотя разрыв между представленностью мужчин и женщин не очень высок. Неуспешные адаптанты *старше* успешных: более всего здесь представлены группа 60–64 года и группа 35–39 лет. Она *менее образованна*: более всего здесь представлены жители области со *среднеспециальным образованием*, работающие на государственных и акционерных предприятиях, а также безработные, наемные торговые работники, младший обслуживающий персонал. Следует сказать, что социальный облик этой группы *существенно изменился* по сравнению с ситуацией 1999 года. Тогда прежде всего *специалисты-гуманитарии*: работники культуры, учителя, преподаватели высшей школы, чей образовательный уровень очень высок, определяли «лицо» этой группы [44, с.16]. Сегодня специалисты-гуманитарии в большей степени представлены в группе *успешных адаптантов*, хотя и уступают в этом предпринимателям, управленцам, техническим специалистам.

Группа *успешных дезадаптантов* не имеет четко выраженного гендерного лица: в ней в равной степени представлены и мужчины, и женщины. В то же время она *заметно старше* двух предыдущих (преобладают группы

¹ Для определения такого «лица» в исследованиях в рамках мониторинга использовался *метод структурных коэффициентов*, предполагающий сравнение доли определенной социально-демографической группы в общем массиве опрошенных и в конкретной типологической группе. Значение структурного коэффициента *больше 1* означает, что данная конкретная социально-демографическая группа *преимущественно представлена* в той или иной типологической группе, является чертой ее своеобразия.

пожилых людей, значительно представлены жители области 50–54 лет и 55–59 лет) и *менее образованна*: преобладают люди со *средним и ниже среднего образованием*. Эта группа *неоднородна* и представлена *двумя подгруппами*. *Первая* – это прежде всего *работающие люди*: группы военных, работников МВД, а также рабочие *успешных отраслей* – нефтехимии, электроэнергетики. Видимо, для этой подгруппы с одной стороны, не было мощной стимульной ситуации, побуждающей их к активным действиям, с другой – невысокие личностные ресурсы (образовательный, профессиональный и др.) также выступали сдерживающим фактором для потенциального использования разнообразных публичных адаптационных практик. В то же время успешность этой подгруппы (а это, напомним, субъективное определение своего материального положения) объясняется, на мой взгляд, невысокими потребительскими притязаниями, низкой планкой жизненных стандартов. *Вторая подгруппа* – это *неработающие*, но тем не менее *успешные* жители нашей области. Прежде всего это студенты, пенсионеры и домохозяйки, успешность которых достигается *не за счет собственных усилий*, но видимо, за счет *успешных родственников*: родителей, детей, мужей. В эту подгруппу входят и проживающие в *сельской местности* пенсионеры и домохозяйки, достигающие материальной успешности за счет подворья.

Типологическая группа *неуспешных дезадаптантов* имеет преимущественно женское и преимущественно очень пожилое «лицо»: в ней наблюдается значительное преобладание *пожилых людей*, хотя представлены и группы *предпенсионного возраста и молодых*. Уровень образования группы крайне низок: преобладают люди с незаконченным средним образованием.

Исследование показало *разную степень распространенности публичных практик «вписывания»* населения области в трансформирующееся социально-экономическое пространство в прошедшее десятилетие. Уровень их популярности может быть представлен следующим образом:

- *поиск новой работы*: ее искал каждый третий (33,1% опрошенных);
- *повышение интенсивности труда на рабочем месте*: 31,0%;
- *поиск дополнительной работы*: 30,8%;
- *смена профессии*: 21,8%;
- *получение образования для новой профессии*: 12,7%;
- *попытка открыть «свое дело»*: 9,2%;

Одна из задач исследования состояла в ретроспективном анализе динамики распространенности публичных практик в различные периоды десятилетия кардинальных общественных преобразований¹. Сегодня пока еще трудно выделить четко эти периоды, хотя попытки структурирования делаются [45, с.29]. И все же, на мой взгляд, отдельные важные переломные события, существенным образом повлиявшие на жизнь страны, выделить все-таки можно: 1992 год – начало либеральных реформ, акционирования и приватизации государственных предприятий, введения свободных цен, начало чековой приватизации, начало создания рыночной финансовой системы; 1995 год – начало системного кризиса, кризиса неплатежей, 1998 год – острейший финансовый кризис, в той или иной степени «задевший» практически каждого россиянина.

Исследование показало, что пик адаптационной активности пришелся на период 1995–1998 гг.: в этот временной промежуток доля адаптирующихся людей, т. е. тех, кто «кинулся» поведенчески осваивать меняющееся экономическое пространство, в 3-7 раз больше, чем в предшествующий период и существенно больше, чем в последую-

¹ Респондентам предлагалась диада вопросов по каждой публичной практике. Конечно, теоретически такая процедура содержит возможность так называемых ошибок памяти. Вместе с тем высокая значимость для человека адаптационного поведения, выступающего способом решения его *жизненно важных проблем*, позволяет нам считать эту возможность минимальной.

щие годы (табл. 1)¹. Полученные данные, как мне кажется, подтверждают выводы М. Горшкова о том, что к началу 1995 года к большинству российских граждан пришло осознание *устойчивости кризисного* состояния общества, когда основные его проблемы носят *не временный, но долгосрочный* характер [46, с.81]. Этот феномен *осознанной неотвратимости* перемен, который отмечают многие исследователи [47], видимо, явился своего рода стимульной ситуацией, подтолкнувшей людей к более активному осваиванию постсоветского экономического пространства.

Таблица 1

Распространенность публичных адаптационных практик
в период с 1992 по 2003 гг.
(в % к числу опрошенных, N=1200)

Адаптационные практики	1992– 1994 гг.	1995– 1998 гг.	1999– 2003 гг.
1.Повышение интенсивности труда на рабочем месте	19,4	37,4	27,6
2. Поиск дополнительной занятости	18,6	38,5	24,0
3. Поиск новой работы	17,5	41,6	23,7
4. Смена профессии	10,5	32,7	14,3
5. Получение образования для приобретения новой профессии	5,0	25,9	8,6
6. Открытие своего дела	3,2	22,1	3,4

Второе русло социально-экономической адаптации – *приватные, «домашние»* адаптационные практики характеризуются *гораздо большей степенью распространенности*, нежели публичные. Так,

¹ Особенно значителен этот скачок для таких адаптационных практик, как «открытие своего дела» и «получение образования для приобретения новой профессии»: удельный вес жителей Самарской области, осваивающих эти «правила игры», соответственно в 7-5 раз выше в этот период, нежели в предыдущий.

- *выращиванием овощей и фруктов* в собственном приусадебном хозяйстве (даче, огороде) занимаются 70,4% опрошенных;
- *сбором грибов, ягод и пр.* – 26,7%;
- *рукоделием*, к которому наряду с традиционными видами (шитьем, вязанием) было отнесено и изготовление домашней утвари, мебели и т.п. – 20,1%;
- *выращиванием домашнего скота или разведением пчел* – 11,3%.

Другие практики адаптации менее представлены, но также играют важную роль в процессе приспособления человека к новым условиям. К их числу относятся: официально не зарегистрированная *торговля товарами или продуктами из своего приусадебного хозяйства* (7,8%), *приготовление пищи* для себя (своей семьи) или на продажу (5,7%), *охота и рыбалка* (5,5%), *оказание мелких услуг* (ремонт, массаж, стрижка и пр.) (3,1%).

Экономисты и социологи в популярности этих частных производительных практик видят проявление *архаики, натурализации* хозяйства, движение *вспять* вопреки становлению рыночных отношений [48]; [49]¹. Некоторые даже полагают, что такое «*несовместимое*» сочетание фрагментов российской жизни, как *натуральный обмен* и *передовой постиндустриализм* в некоторых областях вкупе с другими такими же *трудно сочетаемыми* элементами создают причудливый «*новый уклад*», представляющий собой не переходную многоукладность, но именно *стабильный новый уклад* как некую целостность [50, с.30]. На мой взгляд, проблема использования «домашних» практик гораздо сложнее. Ряд исследований убедительно показывают, что использование сегодня горожанами, например, дач *экономически невыгодно*, что «*дачная жизнь*» во многом осуществляется *скорее по инерции*, в силу *привычки, традиции*, нежели из-за реальной необходимости [39, с.135].

¹ По данным наших исследований также в большинстве случаев созданные продукты и услуги не попадают в сферу рыночных отношений (на продажу), а производятся для себя.

Практика показывает, что к использованию этих форм не обратились люди, никогда ранее не использовавшие их в качестве «подспорья». Скорее наоборот, частные практики *и сейчас* используют те россияне, кто и раньше был дачником, рыболовом, собирателем лесных даров и т. д. Гораздо более богат и *спектр мотивов* обращения к этим формам, нежели только стремление выжить. Во всяком случае, здесь есть простор для исследований.

Качественный этап исследования. На *втором, качественном, этапе* исследования основная задача состояла в выявлении *личностных факторов (условий) успешности-неуспешности* социально-экономической адаптации¹. Следует сказать, что сегодня, несмотря на значительный интерес к этому виду адаптации среди социологов [51]; [52]; [53]; [54]; [55], в российской социологии *практически не изучались* условия его *успешности-неуспешности*, крайне немногочисленны попытки *объяснить* различные практики повседневного поведения людей в резко меняющейся социально-экономической сфере.

На мой взгляд, *наиболее адекватным* этой задаче было использование метода *нарративного интервью* в рамках стратегии «дна» и «элиты»: именно нарративное интервью с его способностью «схватывания» *процессуальности жизни* информантов дает исследователю возможность понять, *какие именно черты* индивидуального опыта детства, юности, зрелости представляют собой те или иные капиталы личности, способные «работать» на успешность адаптации. В соответствии с логикой исследовательской стратегии «дна» и «элиты» [56], в наших исследованиях 1999 и 2003 гг. изучались *полярные* по уровню адаптированности и успешности группы: *успешных адаптантов и неуспешных дезадаптантов*².

¹ Качественный этап включался как составная часть в «крайние» исследования мониторинга: 1999 и 2003 гг.

² В исследовании 1999 года методом нарративного интервью опрашивались 60 человек: по 30 чел. в каждой группе. В исследовании 2003 года опрашивались 40 человек по 20 чел. в каждой группе.

Формирование групп происходило достаточно сложно¹. Особенно трудным был подбор *неуспешных дезадаптантов*². Наиболее интересна в научном и практическом плане была как раз та *сравнительно молодая часть* этой типологической группы, которая, *обладая* определенными социальными и психофизиологическими ресурсами, *тем не менее не использует* их для «вписывания» в меняющуюся социально-экономическую реальность. В то же время именно эти люди, как правило, осознающие свою неуспешность, с трудом соглашались на интервью.

Обработка данных интервью в двух исследованиях: 1999 и 2003 гг. производилась с помощью *grounded theory*, которая как *способ обработки* вобрала в себя основные положения *grounded theory* как *исследовательской стратегии*. Я уже говорила, что логика этого типа исследования предполагает, что *анализ полученной информации* направляет и определяет логику ее *дальнейшего сбора и анализа*. В нашем случае процедура обработки *готовых* текстов нарративов была *улучшена* этой исследовательской стратегией, когда каждый *последующий текст* нарратива рассматривается в контексте *тех кодов и категорий*, которые выделены исследователем в тексте *предыдущего* интервью. Главная цель здесь – найти *те «эмпирически насыщенные» категории* [57, с.29] которые верны для ряда случаев. Правда, для этого необходимо было прежде осуществить

¹ Часть людей подбиралась из числа тех респондентов, которые уже опрашивались на первом этапе исследования. Для них участие в нарративном интервью было *повторным* участием. Другая часть подбиралась из *новых* потенциальных участников согласно требованиям «входного контроля»: с соответствующими значениями типобразующих признаков.

² Ранее я уже говорила, что «лицо» этой группы определяют прежде всего пенсионеры, чья дезадаптация понятна и объясняется прежде всего ограниченностью их психо-физиологических и социальных ресурсов. Учитывая это, при подборе информантов в две группы было введено дополнительное ограничение по возрасту: опрашивались люди возрастной группы 25–45 лет, что обеспечивало, кроме **всего** прочего, на мой взгляд, и определенную «чистоту выводов».

открытое и *осевое кодирование* каждого из последующих интервью¹.

Следует подчеркнуть, что в наших исследованиях использовалась процедура *детального кодирования*, как, на мой взгляд, наиболее эффективная для построения теоретических обобщений, в отличие от *поверхностного подхода*, «где данные достаточно бегло просматриваются и на основе этого производится импрессионистский (на основе воображения) кластер категорий» [57, С.27]².

По итогам обработки в *исследовании 1999* года нами были выделены *три группы* условий, определяющих включенность в адаптационный процесс и его успешность-неуспешность: *социальные, собственно личностные и индивидуально-психологические* [58, с.51–57]. Основная задача исследования *2003 г.* состояла в том, чтобы *подтвердить (или опровергнуть)* основные моменты полученной в *1999* году *мини-концепции*, а также, может быть, *развить* ее, дополнив теми элементами, которые ранее не были выявлены.

Исследования показали, что одним из наиболее значимых *социальных* условий, обуславливающих как включенность в адаптационный процесс, так и его успешность, вы-

¹ В полном соответствии с концептуально-индикаторной моделью, лежащей в основе grounded theory в рамках открытого, а затем и осевого кодирования, нашей группой аналитиков (я и студенты) построчно (line by line) писались мемос, позволяющие концептуально направлять процедуру формирования категорий.

² Следует отметить и еще один важный момент нашего использования grounded theory: группа аналитиков, обрабатывающая данные интервью, включала в себя две подгруппы: тех, кто *непосредственно участвовал* в сборе информации, и тех, кто подключился *только* на этапе анализа. На мой взгляд, такое сочетание «*включенных*» и «*отчужденных*» в одной аналитической группе было весьма плодотворным. «Отчужденные» аналитики, обрабатывая тексты чужих интервью, не слишком «*вживались*» в роль, имея возможность «*концептуального отстранения*» (термин А. Страусса). *Аналитики-участники поля*, погруженные в материал, имеющие опыт данного исследования, напротив, соотносили возникающие коды и их смыслы со знанием конкретной ситуации.

ступает *уровень и качество образования*. По данным интервью практически все успешные адаптанты имеют высокий уровень образования (вуз, кандидатские степени) и, главное, хорошо учились в школе и институте. И, наоборот: «*Я в школе был типичным троечником*» или: «*Ну, учиться я не хотела, родители заставляли*» – типичные самохарактеристики неуспешных дезадаптантов. Высокая значимость образования высока даже для тех немногих успешных адаптантов в нашей выборке, кто по тем или иным причинам не получил высшего образования: «*Жалею больше всего, ну...наверное о том, что не доучилась. Вот сейчас чувствую, что не хватает образования. Я вообще за высшее образование*» (женщ., 42 года, предприниматель, исслед. 2003 г.). Конечно, это не означает, что высшее образование и успешность обучения автоматически гарантируют успешность адаптационного процесса. Выявленный факт говорит, на мой взгляд, лишь о том, что уровень образования и, главное, его *качество* выступают важнейшими составляющими ресурсного капитала личности, давая определенные преимущества тем, кто ими владеет. При этом важен, конечно, не столько сам факт наличия диплома об образовании, сколько уровень развития способностей, умения и готовности учиться, осваивать новое, уровень интеллектуальной трудоспособности, уровень знаний, наконец, – словом, развитие тех *ресурсных составляющих личности*, которые достигаются качественным образованием. Неслучайно среди успешных адаптантов очень высока *познавательная активность*: готовность учиться и переучиваться¹ Соответствие профиля базового образования профессии, по которой работают люди, успешно «встроившиеся» в новые социально-экономические условия, не имеет значения, как показал анализ: половина из них достигла успеха в *своей*

¹ Большинство из них имеют по несколько свидетельств об окончании учебных заведений, учебных курсов и т.д. При этом переучивание, получение дополнительных дипломов – результат их собственного выбора. Они сами выбирают профиль дополнительного обучения, сами, как правило, и оплачивают его.

профессии, другая половина – *в чужой*, существенно отличающейся от базовой. Сам по себе факт осознания опрошенными людьми этой связи (образование – определенная экономическая успешность)¹ свидетельствует о повышении престижа образования в российском обществе на рубеже XX–XXI веков, что является, несомненно, положительной тенденцией: известно, что в первые годы реформирования (конец 80-х – начало 90-х годов) отмечалось его резкое падение [59]; [60].

Устойчивость и разнообразие социальных связей как важнейшее социальное условие включенности индивидов в адаптационный процесс, *выявленные* в исследовании 1999 года, не нашел буквального подтверждения в исследовании 2003 года. В исследовании 1999 года было установлено, что успешные адаптанты обладают *большим количеством* социальных связей, в то время как у неуспешных адаптантов *объем этих связей очень мал*. Последнее наше исследование уточнило эту картину: и для группы успешных адаптантов и для полярной группы характерны *разнообразные социальные связи* с родственниками, друзьями, одноклассниками, однокашниками. Вместе с тем, *использование* этих связей *принципиально различно*: успешные адаптанты пользуются ими для дела (открытие фирм, взятие средств в кредит, поиск новой работы, источник необходимой информации, консультации и т. д.), в то время как в полярной группе – преимущественно в качестве *источника материальной помощи*, обеспечивающей элементарное выживание.

Еще одна *социальная* составляющая: *наличие социального опыта* в юности, связанного с востребованностью организаторских качеств, а также с реализацией потребности в состязательности, самоутверждении себя на фоне других, с формированием достижительной мотивации, была выяв-

¹ Осознается значимость образования и теми, кто не смог вписаться в новые условия: неслучайно практически все неуспешные дезадаптанты, организуя здесь и сейчас свое повествование, говорят о том, как неважно они учились в школе, как не хотели или не смогли получить новые востребованные специальности.

лена и в первом, и во втором исследовании: большинство успешных адаптантов в юности серьезно занималось спортом или работало в комсомоле, занимая определенную позицию в управленческой иерархии¹.

Полностью подтвердился и сделанный в исследовании 1999 года вывод о том, что *прошлый адаптивный опыт* в различных организациях, накопленный еще до начала кардинальных преобразований, является мощным катализатором адаптированности. Действительно, в группах успешных адаптантов и в том и другом исследованиях в *большей степени* представлены те, кто неоднократно менял работу, и вынужденные приспособляться к разным коллективам, осваивая и усваивая их требования и нормы, тем самым наращивали свой адаптационный потенциал. В группе *неуспешных дезадаптантов* напротив – одно-единственное предприятие, а порой и одно-единственное рабочее место: «у нас в цехе, наверно, весь костяк-выросли с цехом, то есть пришел пацаном после ПТУ, и здесь всю жизнь» (женщ. 50 лет, рабочая, исслед. 2003 г.). Здесь даже тех, кто переходит из цеха в цех, называют «летунами»: «... ну, не в этом цехе, так в другом, вот они летуны есть такие».

Наиболее значимым элементом группы *личностных факторов*, по данным исследования 1999 года и 2003 г., оказался *характер ценностных ориентаций*. *Деньги, материальное благополучие* выступают значимой ценностью в двух анализируемых группах, хотя имеются и *принципиальные различия*. Для *успешных адаптантов* деньги, материальный достаток (богатство) выступают важной жизненной целью, фактически определяя выбор жизненной стратегии. Для *меньшей части успешных адаптантов* деньги –

¹ Конечно, методология качественного исследования не дает возможности определить *истинную* (соответствующую реальному положению дел) *меру распространенности* этого фактора. Тем не менее, выявленный в исследовании *симметричный характер* его – значительная представленность в группе успешных и незначительное присутствие в полярной группе, дают основание для выделения его как *значимого социального фактора* социально-экономической адаптации.

только средство удовлетворения постоянно растущих потребительских запросов, способ «хорошо жить»: *«Я никогда не думала, что мне придется этим заниматься. Потом начали появляться деньги, и я начала копить на квартиру, ... покупала мебель, обои, люстры, сантехнику... Наконец, купила квартиру моей дочке...»* (женщ., коммерсант, 41 год, исслед. 2003 гг). Для большей части успешных адаптантов материальный достаток – еще и средство самоутверждения, мерило жизненного успеха, к которому стремятся, которого добиваются. Деньги обеспечивают определенный общественный статус, уважение окружающих: *«когда у тебя есть деньги, ты чувствуешь себя хорошо, а когда нет... то идешь по улице, как чмо... и кажется, что все об этом знают»*, (женщ., коммерсант, 39 лет, исслед. 2003г.).

В сознании этой группы существует четкая связь между собственными усилиями и вознаграждением за труд. При этом для части из них деньги как вознаграждение за труд существуют только в контексте *соответствующего (или несоответствующего) их вкладу, их профессиональной компетентности в целом*. Это осознание себя как «стоящих дорого» очень характерно для наемных работников, занимающих высокие позиции в организациях и составляющих часть группы успешных адаптантов. Именно такое определение себя, как показывают исследования, во многом толкает их на поиск новой работы, где их труд и квалификация будут оценены, по их мнению, по достоинству. Деньги здесь – важнейшее условие самостоятельности, уверенности в себе.

В полярной группе деньги не наделяются столькими смыслами, не выступают значимой жизненной целью и оцениваются лишь по шкале «много-мало» с акцентом на их нехватку, недостаток. Здесь материальный достаток – лишь средство выживания, способ обеспечить себе хоть какой-то сносный уровень жизни: *«только и сводишь концы с концами... Сильно мы не шикуюем, питаемся... Мясо не покупаем, масло покупаем с полочки, с аванса по 200*

грамм. Вот на бутербродики сливочного. Вещи мы уже давно, я имею в виду, крупные, не покупали... Меняемся на работе, кто из чего уже вырос – идет обмен вещами...» (женщ., медсестра, 42 г., иссл. 2003 года).

В первой группе (это показали оба исследования) очень высока *ценность работы*, в то время как другие ценности: семья, счастливая супружеская жизнь, здоровье, общение и прочее – резко уходят на второй и третий планы. Именно работа выступает для этой группы *важнейшей сферой человеческой жизни*, дающей не только средства к существованию, но и возможность удовлетворения широкого спектра потребностей: в общении, в самоутверждении себя на фоне других, в реализации своих способностей, знаний, квалификации¹. Огромная значимость работы в жизни *успешных адаптантов* характерна в равной степени для мужчин и женщин². В противоположной группе *неуспешных дезадаптантов* иная система ценностей. Здесь на первый план выходят ценности семьи, забота о семейном благополучии, воспитании детей. Люди, особенно женщины, сознательно отказываются от дополнительной или более выгодной в материальном плане работы ради «удобной», позволяющей сочетать производственные и семейные роли.

Анализ нарративов позволил сделать и своеобразное *открытие*: выделить специфическую группу, которая по *типообразующим признакам* относится к группе *неуспешных дезадаптантов*, но по *характеру ценностных*

¹ Вот яркий фрагмент рассказа о работе: «Мне казалось, что это буквально мой ребенок, который вот... с девятно восьмого года занималась – все открывали мы сами, регистрировали, т.е. как ребенка было жалко бросать это все дело, поэтому тоже я, подумав, приняла решение выкупить этот бизнес у хозяев» (женщ., 30 лет, коммерсант, исследование 2003 г.).

² Для женщин это часто сопряжено с серьезным конфликтом ролей матери и работницы, причем конфликт разрешается в пользу работы: женщина страдает, испытывает своеобразный «комплекс несостоятельности» как матери, осознает это и, тем не менее, продолжает жить в том же ритме, работая по 10-12 часов ежедневно.

ориентаций резко отличается от нее: для нее работа, как и для успешных адаптантов занимает *приоритетное место* в структуре ценностных ориентаций. Вместе с тем *спектр смыслов*, связанных с работой, в этой подгруппе *профессионалов* (назову их так) совершенно иной. Работа для них важна прежде всего как *сфера приложения* своих *знаний*, соответствующих способностей и умений. Здесь очень высока *включенность в профессию*. Работа, конкретный труд значимы, прежде всего, *процессом, содержательной стороной* трудовой деятельности. В то же время *значимость материального достатка, богатства* как жизненной цели и как меры вложенного труда здесь достаточно низка. Фактически труд в ценностном сознании этой социальной группы *«не привязан»* к высокой или просто соответствующей оплате труда. Планка притязаний в области удовлетворения материальных благ, по данным исследования, здесь достаточно низка. В то же время только в этой группе обнаружен *еще один* смысл работы – *общественная значимость, ее общественная полезность*. Для *«профессионалов»* в отличие от другой подгруппы неуспешных дезадаптантов характерно не столько *отсутствие личностных ресурсов*, необходимых для адаптации, сколько *нежелание*, а в ряде случаев и *сознательный отказ* от адаптационных стратегий, потенциально способных улучшить их материальное положение. Любимое дело, его общественная полезность оказываются значимее материального успеха.

Анализ жизненных историй показал особую значимость *ценности свободы, независимости, самостоятельности* в группе «успешных». Попадая по жизни в разные коллективы и в определенной мере адаптируясь в них, большинство людей этой группы, тем не менее, не растворялись в них, умели противостоять и давлению руководителей, и прессингу коллектива. Неслучайно критерием хорошей работы, приносящей удовлетворение в этой группе, выступает *отсутствие мелочного контроля*, возможность

самому принимать решения и отвечать за них. В полярной группе эти ценности практически отсутствуют.

Наиболее значимым из *индивидуально-психологических* характеристик, как показал анализ нарративов в двух исследованиях, оказалось свойство, которое можно назвать *открытостью новому*. Большая часть успешных адаптантов – люди, *готовые к риску*. Они, как правило, тяготеют к рутине, стандартностью ситуаций, готовы начинать «с нуля», «шагнуть в бездну». В то же время в *полярной группе* наблюдается тяготение к «нормальности», понимаемой как *следование традициям*, раз и навсегда *заведенным нормам*. Заметное место среди *индивидуально-психологических* факторов успешности, по данным исследования, занимает *оптимизм, умение найти положительные моменты* (компенсаторы) даже в неблагоприятной ситуации. Для успешных адаптантов характерны *воля, решимость, умение постоять за себя*, практически отсутствующие в группе неуспешных дезадаптантов¹.

В исследовании 2003 года была выявлена *еще одна* индивидуально-психологическая черта успешных адаптантов, практически не обнаруженная в полярной группе: *трудолюбие, привычка к труду*, видимо, связанная, с *ранней включенностью* в посильные трудовые отношения (практически с 14 лет) абсолютного большинства этой группы.

В целом, использование grounded theory в качестве стратегии анализа данных нарративных интервью позволило не только описать *три* указанных выше *группы условий* включенности в адаптивный процесс и его успешности, но и проанализировать *характер связи* между ними. В частности, анализ показал, что *характер ценностных ориентаций* и, прежде всего, *место работы*, конкретные ее смыслы «канализируют» все другие социальные и индивидуально-

¹ Жизненные истории обнаруживают тот факт, что эти качества не возникли вдруг – они формировались в детстве, юности, во взрослой (дореформенной) жизни. В эпоху перемен эти качества оказались востребованными, нашли себе применение в социально-экономической сфере.

личностные характеристики, направляя их в *определенное русло*, тем самым создавая (или не создавая) *благоприятную личностную почву* для успешного «вписывания» в меняющуюся социально-экономическую реальность. Так, *развитость достижительных мотивов, высокая планка притязаний* приносит успех лишь в том случае, когда сочетается с работой как важнейшей ценностью и потому в работе прежде всего реализуется. В противном случае, *достижительная мотивация, реализуясь в других жизненно важных сферах (семье, досуге, учебе, потреблении)*, как правило, не приводит к экономическому успеху. То же самое происходит и с другими индивидуально-личностными характеристиками: только *сочетание* решительности, оптимизма, трудоспособности, открытости новому с *определенной иерархией ценностных ориентаций*, ведущее место в которой принадлежит *работе*, является важнейшим условием и включенности в адаптационный процесс, и его успешности.

3. Опыт последовательного сочетания качественной и количественной методологий для анализа представленности смыслов свободы в индивидуальном сознании жителей области

Индивидуальная свобода в контексте социальной адаптации. Ранее я уже говорила об одном из *основных элементов* нашего методологического подхода – выделении *интегральной адаптированности* как своего рода *итогового результата* «вписывания» индивидов в различные «секторы» постсоветского социального пространства. Этот теоретический конструкт в наших исследованиях эмпирически интерпретировался через показатель «*социальное самочувствие*», который в свою очередь также был *сложным социальным признаком* и операционализировался через ряд

простых¹. Социальное самочувствие в этом контексте выступает *обобщенным определением индивидом своей социальной ситуации, своеобразной индивидуальной результативностью* кардинальных общественных преобразований². Анализ социального самочувствия населения Самарской области, проведенный нами, и прежде всего выделение значительной социальной группы с «*плохим*» и «*средним*» (*так себе*) социальным самочувствием³, так же, как и целый ряд других социологических исследований, фиксирующих неприятие реформ значительной частью населения страны [61]; [62]; [63] (правда, в последние годы эта часть несколько сокращается) позволил, выдвинуть гипотезу, *объясняющую такую ситуацию*.

На мой взгляд, в *самом общем виде* она может быть сформулирована как *несоответствие* потребностей и запросов значительных социальных групп населения страны *целям реформирования* общественных отношений в нашей стране, а также *конкретной практике* их реализации. Понятно, что такая постановка вопроса – *предельно широкая*, здесь возможный полигон для огромного числа эмпирических исследований, предметы которых могли бы «высвечивать» *разные грани* этой проблемы. *Одна из них*, ставшая отправной точкой *автономного* исследования, осуществленного в 2001 г., а также исследования 2003 г. в рамках

¹ В наших исследованиях это были следующие признаки: субъективная оценка человеком собственного положения в новых условиях; самооценка своей адаптированности; уровень удовлетворенности жизнью в целом.

² Следует сказать, что сходная идея *интегрального восприятия* индивидом происходящих в российском обществе социальных изменений есть и в работе Н.Ф. Наумовой «Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества?». Правда, в качестве эмпирического индикатора такого восприятия Н.Ф. Наумова рассматривает другой признак – доверие к социальным институтам [30, с.117].

³ По данным нашего исследования 2003 года, удельный вес группы с плохим социальным самочувствием составил 19,5%, с самочувствием «так себе» – 20,7%.

мониторинга (точнее той его части, которая касалась анализа свободы), – это *несоответствие смыслов свободы* в индивидуальном сознании россиян – «жертв рисков» и «производителей рисков», в терминологии О. Яницкого [64, с.54], если под риском здесь понимать кардинальное преобразование общественных отношений «сверху» в современной России.

В самом деле, *стержневым смыслом, основополагающей идеей* осуществляемых в современной России преобразований было провозглашено *обретение* людьми, как казалось, витально необходимой *Свободы*, переход к «более свободному и процветающему обществу», где было бы больше возможностей для развития личности по законам ее собственной жизнедеятельности». При этом свобода человека соответственно и закладывалась в основных нормативных документах страны, и понималась прежде всего как *западная, либерально-демократическая свобода*: экономическая и политическая. Вместе с тем, я полагаю, что существует *разрыв* между значениями *либерально-демократической* модели свободы, которая была «дана» народу, и теми ее *типическими* смыслами, которые характерны для массового сознания россиян. Кроме того, я полагаю, что существует *разрыв* между свободой как одной из главных целей преобразования общественных отношений и *реальной ее значимостью* в ценностном сознании россиян. Предположительно именно это несоответствие (наряду, конечно, с другими) продуцирует неприятие частью нашего населения «эпохи реформ», окрашивая ее восприятие в мрачные, а порой и трагические тона.

Такой фокус исследовательского интереса обусловил и постановку соответствующих *исследовательских вопросов*: *каковы рефлексивные смыслы* свободы, их *представленность* в сознании различных социальных групп российского общества? Каково место свободы в системе ценностных ориентаций людей? Стало ли с точки зрения россиян российское общество более свободным? Что сегодня выступа-

ет ограничителями свободы? Чувствуют ли себя наши сограждане свободными или нет, и почему это происходит?

К сожалению, размеры книги не позволяют в полной мере представить аналитическую информацию, соответствующую всем этим исследовательским вопросам, тем более, что часть их достаточно подробно описана в статье по итогам исследования [65, с.17–25]. В то же время на *первом, самом важном, на мой взгляд, остановлюсь подробнее. Итак, наше исследование с точки зрения логики его организации представляло собой последовательное сочетание качественного (2001 г.) и классического (2003 г.) этапов. Цель качественного этапа состояла в описании спектра типичных смыслов свободы, представленных в индивидуальном сознании жителей Самарской области. Цель классического этапа – анализ уровня представленности этих смыслов в социальных группах населения области.*

Качественный этап исследования. Выбор качественной методологии на первом этапе исследования обусловлен *прагматическими* соображениями и прежде всего – *отсутствием теоретической концепции*, которая бы описывала смыслы свободы в переходном российском обществе, их структуру, типологию. Следует сказать также, что в российской социологии практически нет и серьезных попыток *эмпирически* изучить эту ценность – исключение составляет лишь работа М. Шабановой [66], с ее акцентом на «*неправовой свободе*» как одном из распространенных смыслов свободы в трансформирующемся российском обществе и работа А.Б. Фенько, где свобода рассматривается как ключевой культурный символ, как «архетип», содержание которого определяется «коллективным бессознательным» того или иного народа [67, с.33–45].

На этом этапе исследования (2001 г.) для описания спектра личностных смыслов свободы были использованы *две процедуры: методика неоконченного предложения* как вариант проективной техники (анкетный опрос) [68] и *глубинное интервью*. В рамках методики неоконченных предложений информантам предлагалось закончить ряд сле-

дующих предложений: «Свобода для меня – это...», «Свободным человеком я называю...», «Я не могу назвать свободным человеком того...», «Важнее всего для свободного человека...», «Свободные люди делятся на ...». Глубинное интервью включало в себя ряд *открытых вопросов*, играющих дополнительную, уточняющую роль¹. На этом качественном этапе было опрошено 60 человек: три группы по 20 человек каждая, отобранные методом целевого отбора².

В целом, все многообразие смыслов, полученных на этом этапе исследования, было сгруппировано в четыре смысловых блока:

1. Социально неограниченные смыслы свободы. В этот смысловой блок вошли элементы, содержащие смыслы свободы, которые, во-первых, предполагают *отсутствие ограничений*, а во-вторых, преимущественно *лично ориентированны*. К этому блоку относятся следующие группы смыслов:

- *Свобода как беспрепятственная реализация своей воли, как возможность действовать, поступать по своему усмотрению, без каких-либо препятствий: «захотел–сделал», «могу делать, все, что хочу, счи-*

¹ Это были вопросы: «Чувствуете ли Вы себя свободным человеком?», «Объясните, пожалуйста, почему Вы чувствуете себя свободным (или несвободным) человеком», «Если Вы чувствуете себя несвободным человеком, то что ограничивает Вашу свободу сегодня?», «Чувствовали ли Вы себя свободным (или несвободным) до начала перестройки?», «Почему Вы чувствовали себя свободным?» или «Что ограничивало Вашу свободу тогда, если вы чувствовали себя несвободным?».

² Критерием целевого отбора выступал возраст информантов: первая группа представлена молодежью 18–25 лет; вторая – нашими согражданами зрелого возраста 35–45 лет; третья – пожилыми людьми старше 65 лет. Выбор именно этих возрастных групп, различающихся прежде всего *условиями социализации*, а значит, и иерархией ценностных ориентаций и личностных смыслов тех или иных социальных феноменов, на мой взгляд, давал возможность получить предельно возможный спектр личностных смыслов свободы жителей области.

таю нужным», «могу поступать, как хочется, даже вопреки законам».

- *Свобода как политическая свобода*: свобода слова, печати, собраний, совести, выбора т. д.
- *Свобода как независимость*. Сюда включены смыслы, предполагающие отсутствие любых ограничений, зависимостей: свобода – это «отсутствие ограничений», «независимость от людей и обстоятельств», «когда тебя не ставят в определенные рамки», «никому ничего не должен»; свободный человек – тот, «для кого не играет роль мнение окружающих», «ему не перед кем отчитываться», «не подчиняется чужим идеям», «обладает умением отстаивать свою свободу».
- *Свобода как самостоятельность*. Здесь под свободой понимается способность действовать по собственной инициативе, на основе собственных сил: «возможность самому принимать решение», «самому делать выбор»; свободный человек – «сам себе голова», «может разобраться в своей жизни, самостоятельно решить свои проблемы».
- *Свобода как самореализация*. В этом элементе собрани обоснования, раскрывающие смысл свободы через возможность «реализовать свои способности, желания, мечты», «жить в полную силу», «проявлять свою уникальность».
- *Свобода сознательная*. Смыслы, включенные в данную группу, предполагают рационализм, контроль и ответственность за свои собственные поступки. Поведение свободного человека здесь тесно связывается со «степенью осознания социальных структур, схемы своей жизни». Свободный человек здесь «не машинально живет, как белка в колесе»; он тот, «кто контролирует свои действия и несет полную ответственность перед самим собой», «может логично объяснить свои решения», «полностью владеет собой». Несвободный человек «не может обуз-

дать свои капризы, прихоти», «находится в плену своих желаний».

- *Свобода «внутренняя».* В этот элемент включены смыслы свободы прежде всего как субъективного ее переживания. Свобода здесь – это *«благость души», «легкость», «счастье», «чувство раскрепощенности», «жизнерадостность», «блаженство».* По мнению тех, кто наделяет свободу этим смыслом, в свободе *«главное – внутреннее самоощущение, иначе нет кайфа», «чтоб душа раскрывалась».*
- *Свобода как «реализм».* Свобода в этой группе смыслов выступает *«как честность перед самим собой», «способность правильно оценить свои возможности», «неприимчивость к недостаткам в себе и других» «принятие своих недостатков», «понимание неиллюзорности своей свободы».*
- *Свобода как «сила».* Здесь описывается образ свободного человека как того, кто обладает *«силой воли», «характера», «он уверен в себе», «не имеет страха перед завтрашним днем», «не испуган жизнью», «не падает духом под ударами судьбы», «борется за свою свободу».*
- *Свобода как произвол.* Характеризует отрицательное отношение к *«безграничной»* свободе. Свобода здесь выступает как *«беспредел», как «вседозволенность», «безответственность», «беззаконие», «халатность».*

2. Социально ограниченные смыслы свободы. В этот блок вошли элементы, включающие в личностно ориентированные смыслы свободы те или иные ограничения, препятствия человеческому усмотрению, поведению, выбору. В качестве таких ограничений выступают:

- *Интересы, свобода другого:* *«свобода – это возможность делать то, что хочешь, не ущемляя и не принося при этом вреда другим», «свободный человек соблюдает право других на такую же свободу», «уважает свободу другого», «отличается терпимо-*

стью к другой точке зрения», «живет сам и дает жить другим».

- **Этические рамки:** свобода «включает моральные принципы», «мораль, нравственность, принципы входят в сущность человека», свобода – это «незапачканная совесть», «это весь мир, захотела – сделала, но в пределах разумного», «моральная устойчивость».
- **Нормы закона:** свобода – это «возможность делать все, что не запрещено законом», «необходимость следовать в своем поведении законам государства», «нарушитель закона – не свободный, а социально опасный человек».

3. Социетальная свобода. В этот блок были отнесены социальные характеристики свободы, элементы, описывающие социальные условия его существования:

- **Свобода как порядок.** Сюда были причислены смыслы, характеризующие свободу как упорядоченный социум, где каждый занимается и отвечает за свое собственное дело: свобода, «чтобы кто-то за что-то отвечал», «сейчас каждый делает, что хочет и никто ни за что не отвечает», «лучше пусть будет порядок, но не свобода», «к свободе стремились, когда делали общее дело, а сейчас каждый себе и в стране бардак, балаган».
- **Свобода как независимость от государства (государственного произвола).** Свобода – это «возможность прийти в любое место и любому начальству сказать всю правду», «отсутствие государственного вмешательства в мою жизнь», «в нашем государстве невозможна свобода – везде одни лагеря, начиная с пионерских», «зависим от вышестоящих. Хотя должно быть наоборот..., выбираем на свою голову».
- **Свобода как правообеспеченность, правовая защищенность.** «Россия – не свободная страна, у нас ущемляют права человека», «для обеспечения свобо-

ды нужны законы», «прописанные в законодательстве права не должны ущемляться».

- Свобода «формально-правовая». Описывает свободу через ее формализацию, законодательное закрепление: «я свободен – у меня теперь много прав», «теперь я стал более свободным, но более бедным», «ушли запреты, теперь демократия – все разрешено».
- Свобода как отсутствие физической, насильственной связанности человека, непосредственного принуждения по отношению к нему: «свобода, свобода, когда не сидишь в тюрьме», «не рабство», «воля» и т.д.
- Прочие характеристики социальной свободы: равенство («равные условия для всех», «равные для всех законы от президента до уборщицы», «ликвидация разделения людей по расе, национальности»), необходимость, причастность обществу и государству, наличие реализуемых, поддерживаемых в обществе моральных ценностей, культуры, стабильность, мир, адекватная оценка своих способностей (со стороны общества, государства).

4. Свобода как обладание благами

- Свобода как материальная обеспеченность. Здесь могут встречаться смыслы, требующие хотя бы минимального достатка или наоборот, настаивающие на полной финансовой независимости.
- Свобода, выражаемая через ценности «нормальной жизни»: наличие работы, любимого дела, семьи, счастья близких, здоровья, жизненного удовольствия и т.д.
- Свобода как обладание властью, занятие высокого поста, хорошей должности.

Наряду с этим возможно выделение и пятого блока смыслов, которые в силу их единичности и уникальности было сложно типизировать:

- Свобода как «внесемейственность». Свободный человек – «кто не замужем, не женат», «не имеет тещи».

- *Свобода как «незанятость»*: «Мы на пенсии – над нами никого нет», «хотим – работаем, хотим – отдыхаем» и т.д.
- *Свобода «внесоциальная»*. Свободные люди – «кто бродит по тайге», «нигде не числится, живут в шалаше, питаются ягодой, рыбой», «бомжи», «кто ушел в веру, живет в другом измерении».

Кроме того, на этом этапе были выделены различия в оттенках одного и того же смысла, присутствующие в индивидуальном сознании *трех обследуемых групп*. Так например, смысл свободы как *обладание материальными благами* в этих группах имел *разное содержательное наполнение*. В группе *молодых* свобода – это, как правило, *полная финансовая независимость, богатство*: «деньги в нашей жизни решают все» (мужч. 24г., предприниматель). В группе *зрелого возраста* – это скорее *достаточная материальная обеспеченность*, в то время как для *пожилых* – это прежде всего *свобода от нужды, независимость от нищеты и безденежья*: «какая свобода, когда пусто в кармане» (женщ., пенс., 64 г.)

Исследование показало также, что *смысл свободы как обладания материальным достатком, как потребительской свободы*, как правило, не сопрягается в группах «зрелых» и особенно «пожилых» с *экономической свободой* как формально правовой возможностью заниматься предпринимательской деятельностью, добиться необходимого материального уровня, «открыв свое дело»: такой смысл свободы фактически отсутствует в индивидуальном сознании этих групп (да и в сознании «молодых» этот смысл единичен). Это означает, что *экономическая свобода, «дарованная» реформами, не рассматривается* в этих группах в *ракурсе свободы*, выпадает из него. Налицо определенный разрыв между смыслами, во многом объясняющий и негативизм восприятия реформ значительной частью россиян.

На этом этапе исследования было выявлено и определенное несоответствие смыслов *политической свободы*, их «урезанность» в сознании опрошенных по сравнению со

всем спектром этих смыслов, «заложенных» в либерально-демократической модели. Исследование показало, что в элемент, который я назвала *«политические свободы»*, вошли главным образом свобода мысли, слова, совести. Здесь нет даже намека на западного типа отношения между гражданским обществом и государством, при котором у гражданского общества есть суверенное право влиять (направлять, контролировать, сдерживать) на действия государства как подчиненного инструмента своих интересов. Такие существенные, закреплённые в действующей Конституции РФ либеральные права, как право участвовать в управлении государством (в частности, избирать и быть избранным, право на равный доступ к государственной службе), право на создание общественных объединений, свобода собраний, митингов и демонстраций, право на получение от государственных органов информации, затрагивающей права граждан, право на обращение в органы власти за защитой своих законных интересов и прочее, здесь просто отсутствуют.

Эта ситуация означает, что получившие свое формально-юридическое закрепление в процессе социально-экономических преобразований *новые* политические права, новые возможности в большинстве своем *не оцениваются как благо, как свобода, не востребованы, психологически не освоены*, и потому не «работают» на положительный образ реформ. Корни такой ситуации понятны: гражданское общество не возникает в одночасье, в него нельзя «впрыгнуть на ходу», как в проходящий трамвай.

Количественный этап исследования. На этом этапе (2003 г.) исследовательская задача состояла, как я уже говорила, в оценке *уровня представленности* выделенных смыслов в индивидуальном сознании различных групп населения Самарской области. Анализ показал, что в целом по массиву опрошенных¹ наиболее весомо представлен первый блок *социально неограниченных смыслов свободы* и

¹ Напомню, что в исследовании 2003 года методом формализованного интервью было опрошено 1200 жителей Самарской области.

четвертый, где свобода рассматривается как *обладание благами* (Прилож. к главе 8. Табл.1). Самыми распространенными смыслами *в целом по массиву* опрошенных оказались следующие:

- свобода как независимость (38,6% опрошенных);
- свобода как материальная обеспеченность (29,3%);
- свобода политическая: слова, печати, совести, выбора (15,5%);
- свобода как беспрепятственная реализация своей воли (15,3%);
- свобода как совокупность типичных ценностей традиционного общества («нормальная жизнь»): наличие работы, любимого дела, семьи, здоровья, жизненных удовольствий (14,9%).

Следует отметить, что *II блок смыслов свободы*, для которого характерно понимание свободы как *ограниченной* интересами другого, *этическими или правовыми нормами (правовая свобода)*, крайне незначительно представлен в индивидуальном сознании населения области (1,8%–0,4%). Между тем именно понимание *обязательности ограничения* индивидуальной свободы ради достижения многих других ценностей, самыми очевидными из которых являются безопасность и общественный порядок, характерно, как известно, для либерально-демократической (западной) модели свободы. Очень слабо представлен и *III блок смыслов с его социетальным акцентом*: распространенность их не превышает одного процента (Прил. к гл. 8. Табл.1).

Анализ показал, что, *иерархии лидирующих* смыслов в различных возрастных группах населения области во многом тождественны, хотя есть и определенные различия. Так, смыслы свободы как *независимости* и как *материальной обеспеченности* лидируют во всех возрастных группах, незначительно различаясь по удельному весу в каждой из групп (Прилож. к главе 8.Табл.1), правда, как я уже говорила ранее, оттенки этого смысла в группах – разные. В то же время свобода как *беспрепятственная реализация своей воли* более весомо представлена в группе *молодых* (III ме-

сто). Вместе с тем, в группе *пожилых* высокое место (третье) занимает смысл свободы, «охватывающий» ценности «нормальной жизни» (24,0% опрошенных), в то время как в других возрастных группах этот смысл распространен в значительно меньшей степени и потому не вошел в пятерку наиболее представленных. Точно так же, смысл свободы как *политической* в группах *среднего возраста* распространен в большей степени, чем в крайних – *группах молодых и пожилых*, и потому занимает в них III место, в то время как в крайних – соответственно IV и V места.

Вместе с тем анализ показал *существенные различия* в иерархии (и соответственно в удельных весах) лидирующих смыслов в социальных группах, различающихся *позицией в социальном пространстве*. Так ведущий смысл «свобода как независимость» в значительно большей степени представлен среди специалистов-гуманитариев и управленцев среднего звена (Прил. к гл.8. Табл.2). Смысл «свобода как материальная обеспеченность» лидирует среди специалистов технического профиля и среди управленцев низшего и среднего звена (удельный вес этого смысла в 1,5–2,5 раза превышает соответствующий в других группах). Смысл свободы как политической существенно выше в группах специалистов технического и гуманитарного профиля.

В целом, на мой взгляд, довольно высокая распространенность в индивидуальном сознании жителей Самарской области *смысла свободы как материальной обеспеченности* в ситуации, когда жизненный уровень населения резко упал, маркирует «эпоху реформ» как «царства не-свободы», окрашивая ее восприятие в мрачные тона: не случайно, по данным нашего исследования 27,1% полагают, что стали *менее свободными* по сравнению с доперестроечным периодом. Еще один важный, на мой взгляд, вывод. Достаточно низкий уровень осознания свободы как *свободы политической* (хотя бы даже в ее урезанном виде) свидетельствует о невысокой значимости ценности политической свободы в индивидуальном сознании населения

Самарской области. Вместе с тем сегодня кажется уже бесспорным, что политическая, по крайней мере, свобода является не только декларацией, но и реально существующим фактом, может быть единственно безусловным достижением этого трудного времени. В то же время налицо - *невостребованность* многих из уже данных политических свобод, их «*невыделение*» в качестве важных примет современной социальной ситуации в России. Все это, увы, не добавляет радужных красок в облик современных российских преобразований...

Литература

1. Бауман З. Философские связи и влечения постмодернистской социологии // Вопросы социологии. 1992. №2. Т.1.

2. Монсон П. Лодка на аллеях парка. Введение в социологию. М.: Весь мир, 1995.

3. Silverman D. Doing Qualitative Research. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 2000.

4. Punch K.F. Introduction to Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. London, Thousand Oaks, New Delfi: Sage Publications, 1998.

5. Neuman L.W. Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches. London: Allen and Bacon, 1994.

6. Шанин Т. Методология двойной рефлексивности в исследованиях современной российской деревни // Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических исследованиях. М.: Логос, 1999.

7. Ядов В.А. Российское общество в политеоретической интерпретации // Социологические Чтения. М., 1996. Выпуск 1.

8. Маслова О.М. Качественная и количественная социология // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

9. Малышева М.А. Интерактивное интервьюирование и нетрадиционные способы интерпретации данных // Воз-

возможности использования качественной методологии в гендерных исследованиях. М.: МЦГИ, 1997.

10. Саганенко Г.И. Структура эмпирического результата в социологии и проблема надежности // Социология: 4М. 1993–1994. Т.3–4.

11. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии. М.: Стратегия, 1998.

12. Якубович В.Б. Качественные методы или качество результатов // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

13. Лаба Л.Я. Способы интеграции качественных и количественных методов // СоцИс. 2004. №2.

14. Толстова Ю.Н. Масленников Е.В. Качественная и количественная стратегии. Эмпирическое исследование как измерение в широком смысле // СоцИс. 2000. №10.

15. Вардоматский А.П. Аксиобиографическая методика // СоцИс. 1991. №7.

16. Альмодавар Ж.-П. Рассказ о жизни и индивидуальная траектория: сопоставление масштабов анализа // Вопросы социологии. 1992. №2.

17. Корель Л.В. Социология адаптаций: этюды апологии. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 1997.

18. Парсонс Т. О структуре социального действия. М.: Академический Проект, 2000.

19. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура // СоцИс. 1992. №2.

20. Мертон Р.К. Социальная теория и аномия // СоцИс. 1992. №3.

21. Штомпка П. Социальное изменение как травма. М.: Аспект Пресс, 1996.

22. Демин А.Н. Использование понятия «совладание» в психологии // Человек. Сообщество. Управление. 2001. №2.

23. Урманцев Ю.А. Природа адаптации (системная экспликация) // Вопросы философии. 1998. №12.

24. Giddens A. Consequences of Modernity. Cambridge: University Press, 1990.

25. Кравченко А.И. Социология труда: кризис оснований и поиск альтернативы // СоцИс. 1990. №4.

26. Седов Е. Информационно-энтропийные свойства социальных систем // *Общественные науки и современность*. 1993. №5.

27. Альбуханова-Славская К.А. *Стратегия жизни* М.: Мысль, 1991.

28. Клейнер Г.Б. Промышленные предприятия в период рыночной адаптации: возможности и границы государственного регулирования // *Предпринимательство в России*. 1996. №3.

29. Гордон Л. Социальная адаптация в современной России // *СоцИс*. 1994. № 8–9.

30. Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества? М.: УРСС, 1999.

31. Томас У., Знанецки Ф. *Методологические заметки* // *Американская социологическая мысль*. М.: МГУ, 1994.

32. Беляева Л. Социальная стратификация и средний класс в России. М.: Академия, 2001.

33. Шабанова М. *Социология свободы: трансформирующееся общество*. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.

34. Авраимова Е. Социальные ресурсы адаптации населения (количественные оценки) // *Обзор экономики России*. 2002. №3.

35. Заславская Т.И. *Социетальная трансформация российского общества*. М.: Дело, 2002.

36. Варшавская Е., Донова И. Вторичная занятость населения // *Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной экономике в России*. М.: РОССПЭН, 1999.

37. Гимпельсон В.Е., Магун В.С. Уволенные на рынке труда: новая работа и социальная мобильность // *Социологический журнал*. 1994. №1.

38. Кириллова М. Меняем место работы? Трудовая мобильность в России // *Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения ВЦИОМ*, 1998, №4.

39. Алашеев С., Варшавская Е., Карелина М. Подсобное хозяйство городской семьи // Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной экономике в России. М.: РОССПЭН, 1999.

40. Барсукова С.Ю. Солидарность участников неформальной экономики на примере стратегий мигрантов и предпринимателей // СоцИс. 2002. №4.

41. Айдинян Р.М., Шипунова Т.В. Неформальная экономика в контексте преступности // СоцИс. 2003. №3.

42. Олимпиева И., Паченков О. Неформальная экономика как социальная и исследовательская проблема. СПб.: ЦНСИ, 2003.

43. Татарова Г.Г. Типологический анализ в социологии. М.: Наука, 1993.

44. Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: опыт сочетания качественной и количественной методологий в одном отдельно взятом исследовании // Социология: 4М. 2000. Т.12.

45. Косалс Л. В., Рывкина Р.В. Социология перехода к рынку в России. М.: УРСС, 1998.

46. Горшков М. Российское общество в условиях трансформации. М.: РОССПЭН, 2000.

47. Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Информационный бюллетень. М., 1999. №4.

48. Тамаш П. Неформальность в постсоциалистической экономике (постановочные вопросы для социологических исследований) // Неформальная экономика в постсоветском пространстве. СПб.: ЦНСИ, 2003.

49. Барсукова С.Ю. Сущность и функции домашней экономики, способы измерения домашнего труда // СоцИс. 2003. №12.

50. Покровский Н. Российское общество на путях глобализации // Человек и современный мир. М.: Инфра-М., 2002.

51. Вершинина Т.Н. Рынок труда переходного периода и проблемы адаптации к нему трудоспособного населения //

Общество и экономика: социальные проблемы трансформации. Новосибирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 1998.

52. Монусова Г.А. Промышленные рабочие в России: адаптация, дифференциация, мобильность // Социологический журнал. 1998. № 1–2.

53. Антипин П.В. 4 типа адаптации к рынку труда и перспективы социального расслоения в России // Социологический журнал. 1996. №3–4.

54. Демин А.Н. Стратегии социальной адаптации российских безработных // Проблемы экономической психологии. М.: Институт психологии РАН, 2004. Том I.

55. Балабанова Е.С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм как формы адаптации к социально-экономическим условиям // Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России. М.: Московский общественный научный фонд, 1999.

56. Ядов В.А. Стратегии качественного анализа // Социология: 4М. 1991. Т.1.

57. Strauss A. Qualitative analysis for social scientists. Cambridge: University Press, 1987.

58. Готлиб А.С. Социально-экономическая адаптация россиян: факторы успешности-неуспешности // СоцИс. 2001. №7.

59. Образование как фактор социальной дифференциации и мобильности (« круглый стол») // СоцИс. 2003. №5.

60. Константиновский Д.Л. Институт образования в меняющейся реальности // Россия реформирующаяся. М.: Академия, 2002.

61. Козырева П.М., Герасимова С.Б., Киселева И.П., Низамова А.Э. Эволюция социального самочувствия россиян: особенности социально-экономической адаптации // Россия реформирующаяся. М.: Академия, 2000.

62. Бородкин Ф.М. Социум и экономика России // Общество и экономика: социальные проблемы трансформации. Новосибирск: ИЭиОПП, 1998.

63. Хасбулатова О.А., Егорова Л.С. Социальное самочувствие женщин и мужчин в средних городах России // СоцИс. 2002. №11.

64. Яницкий О. Риск-солидарности: российская версия // INTER. 2004. №2–3.

65. Готлиб А.С., Касаткин С.Н. Смысл и ценность свободы в контексте социальной адаптации россиян к постсоветской действительности: попытка эмпирического анализа // Вестник Самарского государственного университета. Самара: Самарский университет, 2002. №1 (23).

66. Шабанова М. Социология свободы: трансформирующееся общество. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.

67. Фенько А.Б. Образ свободы в российском сознании и перспективы формирования гражданского общества // Способы адаптации населения к новой социально-экономической ситуации в России. М.: Московский общественный научный фонд, 1999.

68. Климова С.Г. Опыт использования методики неоконченных предложений в социологическом исследовании // Социология: 4М. 1995. Т.5–6.

**ОПЫТ КАЧЕСТВЕННОГО
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
АВТОНОМНОМ ФОРМАТЕ: ОПИСАНИЕ
ОТДЕЛЬНЫХ ГРАНЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ**

Нам приходится иметь дело с миром, где каждый из нас несет бремя своей жизни, в которой он должен найти свои ориентиры и научиться взаимодействовать с вещами и людьми.

А. Шюц

Тиресий, или наше знание о том, что произойдет завтра

Время становится человеческим временем в той мере, в какой оно нарративно артикулировано.

П. Рикер

Время и рассказ

**1. Автоэтнография вторичной занятости
как важнейшей адаптационной практики
населения**

Вторичная занятость в горизонте качественного исследования. В главе 5 я уже говорила о теоретических аспектах *автоэтнографии* как определенном типе качественного исследования, ее своеобразии, «особости». Здесь я попробую показать эту исследовательскую практику в действии, когда я, Готлиб Анна Семеновна, реальный человек, живущий в постсоветской России в крупном провинциальном городе, доцент университета, выступаю одновременно

и в качестве исследователя, и в качестве исследуемого. Роль *исследователя* – довольно привычное для меня дело: этим увлекательным занятием я занимаюсь уже многие годы. Роль *объекта исследования* – для меня довольно редкая забава: я стараюсь не принимать участие в массовых опросах, даже если интервьюер, сообразуясь с выборкой, очень настойчиво хочет прорваться в мою квартиру.

Вместе с тем, занимаясь в последние годы проблемой адаптации россиян к тем кардинальным изменениям в сфере экономики, которые у нас худо-бедно происходят, анализируя нарративы жителей Самарской области, их повествования о способах «вписывания» в меняющуюся реальность, я поняла, что я – одна из них. Блестящая фраза Н.Н. Козловой «Мы не говорим за других или от их имени. Мы – это они» [1, с.91] очень точно схватывала это мое ощущение. Я так же, как те люди, которых мы изучаем, пыталась играть по новым правилам нашего постсоветского экономического пространства, не очень-то зная их: пыталась что-то выгодное сделать с ваучерами, но так и не смогла это осуществить, продав их на ближайшем рынке; вкладывала деньги в много обещавшие людям банки, почему-то лопнувшие в одночасье и до сих пор не вернувшие мне, как и многим другим, те деньги; и, конечно, как многие так называемые бюджетники, одновременно работала (и до сих пор работаю) в нескольких местах, благо, такая возможность появилась в начале 90-х.

Вот в этом последнем качестве я и стала себе как исследователю интересна. Дело в том, что в течение многих лет изучая процесс социально-экономической адаптации россиян к меняющемуся экономическому пространству, я, как и многие исследователи [2]; [3], выделяла *вторичную занятость* в качестве довольно распространенной адаптационной стратегии наряду с другими: сменой профессии, открытием своего дела, получением образования для новой

профессии и т.д.¹ По данным наших исследований, поиском дополнительной работы в этот период в среднем занимался каждый третий опрошенный житель Самарской области (30,8%)² Результативность этой стратегии *гораздо ниже*: нашли ее, то есть реально совмещают основную работу с дополнительной только 14,3% опрошенных [4, с.469]. Уровень распространенности этой стратегии среди населения Самарской области вполне сопоставим с ситуацией в стране: по данным ВЦИОМ совмещают основную работу с дополнительной 17–20% [5, с.39], хотя оценки масштабов распространенности этого явления, и это подчеркивают многие исследователи [6, с.110]; [7, с.34–35], достаточно противоречивы.

Эта адаптационная стратегия, как показало наше исследование 2003 года, имела свои пики популярности и свои падения. *Взлет интереса* к этому способу совладания с трудностями, по нашим данным, пришелся на 1995–1998 гг.: дополнительную работу искали 38,5% опрошенных. Начальный период экономических преобразований – 1992–1994 гг. характеризуется *робким* использованием этой стратегии: всего 18,6% опрошенных ищут дополнительную работу. И, наконец, самый близкий к нам период 1999–2003 гг. можно назвать временем *умеренного интереса* к этой адаптационной стратегии: ищут дополнительную работу 24% опрошенных [4, с.470].

Вместе с тем, количественные показатели масштабов вторичной занятости, ее форм и сфер приложения в современной России, на сегодня одна из наиболее исследован-

¹ Речь идет о том мониторинге социально-экономической адаптированности населения Самарской области, результаты которого подробно анализировались в предыдущей главе.

² Я уже говорила в предыдущей главе, что своеобразие наших методологических оснований анализа процесса адаптации обусловило и определенный подход к изучению публичных адаптационных практик: все они, включая и вторичную занятость, были важны не столько своей результативностью – «нашел вторую работу», сколько самим фактом своего существования – «искал дополнительную работу».

ных граней этого социального феномена [8]; [9]; [10], все-таки не дают представления о «человеческой стороне» этого способа «принорования» к меняющейся социальной ситуации. Из количественных данных мы не можем понять, чем именно хороша или плоха вторичная (или множественная) занятость для использующих эту практику людей, что она давала или, может быть, отнимала у них, каковы были «для-того-чтобы» и «потому-что» мотивы, говоря языком А. Шюца [11, с.105], побуждающие их выбрать эту практику. Понять это можно только, обратившись к реальности *качественного исследования*, к переживанию человеком такого опыта, его чувствам и смыслам, которыми он наделяет явления, так или иначе «втянутые» в этот опыт.

Мне показалось, что я, уже более 10 лет работающая в нескольких вузах сразу, могу как «простой человек», которого мы, социологи, изучаем, описать эту невообразимо ускорившуюся жизнь в подробностях, в нюансах, чтобы потом в *качестве исследователя* обобщить мой собственный опыт проживания, переживания этой новой для меня профессиональной и жизненной ситуации, вписав его в социальный контекст постперестроечной России.

Эта работа в *двух регистрах*: *простое описание моего дорефлексивного опыта и научная рефлексия* – означает также, что я собираюсь работать в рамках научного или тяготеющего к научности¹ направления *качественного социологического исследования* в предложенной мною классификации [12, с.136–137]. Особенность исследовательской ситуации в рамках *такого* качественного исследования состоит в том, что я здесь в *качестве объекта исследования* выступаю одновременно как *конкретный человек*, со своей собственной биографической перспективой и индивидуальными смыслами, и как *типичный человек*, «человек как таковой», «каждый человек» [13, с.187], чьи ожидания и смыслы *типичны* для социальной группы людей, совмещающих основную работу с дополнительной, или, точнее, для того *отряда этой социальной группы*, для которого

¹ Речь идет, конечно, не о нововременной форме научного знания.

вторичная (или множественная) занятость есть *продолжение его основной работы*. Возможность рассмотрения себя в качестве типического человека основывается на том обстоятельстве, что, как показывает наше и целый ряд других исследований [14, с.43], в социальной группе *полизанятых* (термин З.Т. Голенковой и Е.Д. Игитханян – А.Г.) наблюдается преобладание людей с высшим и незаконченно высшим образованием, а сама сфера образования входит в круг тех отраслей народного хозяйства, где дополнительная занятость представлена наиболее существенно.

Ориентация на «схватывание» типического в такого рода качественных исследованиях предполагает, как я уже говорила, и определенный образ результата в форме *мини-концепции* или *исследовательского комментария* с их использованием языка теоретических понятий, правда, в разной степени. *Исследовательский комментарий* в отличие от мини-теории ориентирован кроме коллег по цеху и на *понимание изучаемой группы* и потому приближен к повседневной речи: здесь широко используются метафоры, аналогии, образы, как правило, более понятные «человеку с улицы», в терминологии А. Шюца, чем теоретические понятия.

Автоэтнографическая исследовательская практика предполагает сбор информации о самом себе двумя способами: с помощью интервьюирования самого себя (нарративное вопрошание) или через скрупулезное записывание своих мыслей, чувств, переживаний в целом по поводу тех или иных событий сегодняшней или прошлой жизни. Я выбрала первый вариант, вариант нарративного вопрошания, как оптимальный с точки зрения затрат времени в моей исследовательской и жизненной ситуации.

Практика показывает, что публикация результатов качественного исследования, представляющего собой *исследовательскую интерпретацию, рефлексия* по поводу повседневных интерпретаций изучаемых людей, как правило, не сопровождается публикацией *самого текста интервью*, содержащего эти «повседневные теории» и выступающего

основой, почвой, из которой индуктивным путем («восходящая» стратегия, в терминологии Г.Г. Татаровой [15]) «вырастают» аналитические обобщения исследователя.

Я решила отступить от этого правила, и опубликовать как «первоисточник», нарративное (или точнее лейтмотивное) интервью с самой собой, так и собственно исследовательскую версию (опять же мою) этого опыта переживания дополнительной занятости. На мой взгляд, публикация *одновременно* описания дорефлексивного наивного опыта, и опыта рефлексии, которую осуществляет *один и тот же* человек, с одной стороны *эмпирически* докажет *принципиальную возможность* каждого из нас разговаривать на *разных языках* в зависимости от *воображаемых Других*, существующих в нашем сознании¹. С другой стороны, такая публикация мне кажется *методически полезной*, так как дает возможность заглянуть в кухню исследователя, понять, как возникают обобщения, может быть, пригласить читателя к формулированию своей версии. Это, я полагаю, повышает убедительность результатов, что для качественного исследования с его отсутствием математических средств доказательности выводов очень важно.

Переживание вторичной занятости. Итак, я начинаю нарратив, мысленно задавая самой себе, как и положено, нарративный импульс².

¹ Теоретически эта возможность строить свое взаимодействие, ориентируясь на ожидания Другого, реального или виртуального участника коммуникации, доказана феноменологической социологией и этнометодологией (я об этом говорила в главе 4).

² Следует сказать, что технически я это делала точно так же, как беру интервью у информантов: использовала диктофон, а потом транскрибировала полученный рассказ. Такой во временном измерении более затратный способ я выбрала потому, что боялась, что *письменная речь* у меня, много пишущего человека, сама по себе произвольно спрямит, сгладит, отольет в грамматически верные словесные формы, выстроит по правилам, то есть забудет спонтанность *устного рассказа*, не даст проявиться эмоциональному ряду, точнее, я полагаю, схватывающему опыт переживания человеком своей жизни.

Я родилась в Туркмении, в маленьком городке северной Туркмении, куда отец мой попал, когда его выслали из Москвы. Это были ...печально знаменитые 30-годы. Так он много-много лет там жил, и (вздых) во время войны попадает, ... в этот маленький городок попадает моя мама, будущая мама, эвакуированная. Они через всю страну из Молдавии бежали от немцев, и в начале войны, точнее в середине войны она вместе с родителями тоже попадает в этот маленький городок. Так вот там я и появилась после войны. Жили мы там в общем-то недолго, потому что отца моего опять арестовывают, отправляют в особый политический лагерь под Карагандой, Спасск есть такой город, и мы с мамой переезжаем в Куйбышев, так он тогда назывался, где у нее жил брат, и... в общем родственники как-то помогали моей маме выживать.

Ну, а (вздых) в 54-ом году отца моего опять освободили, он отсидел целых 7 лет, освободили из тюрьмы и разрешили жить опять только в том городе, где..., откуда его забирали, и так он опять остался в Ташаузе, в этом маленьком городке. Ну и мама принимает решение со мной, ребенком, ехать. В Ташауз. Так вот мы все время в этом городе жили, ну не все время, конечно, а долгое время, я там кончила школу. Ну что мне можно сказать о своем детстве?

Детство у меня, конечно, было замечательным, потому, что отец соскучился по ребенку, которого он долгие годы не видел, о котором мечтал в тюрьме. И кроме того, отец мой был человек читающий, как есть, например человек играющий, прежде всего книга была главным смыслом его жизни, хотя он по профессии юрист, но, это, как он сам говорил, скорее для денег, для зарабатывания. Главная его страсть это, конечно, были книги. Он собрал прекрасную библиотеку. Вот в такой вот любви, книгах в общем-то и прошло мое детство. Я любила учить, помогать учиться моим одноклассникам, маленькая наша комнатка всегда была полна народу, я всегда что-то объясняла, меня вечно за кем-то закрепляли....

Отец мой был очень уважаемым человеком в нашем городе, его восстановили в партии во время хрущевской оттепели, и на меня как-то тоже падал этот отсвет. Всегда говорили, что вот это вот дочка Семена Борисовича. Ну, в школе я училась хорошо, особенно любила литературу, конечно, и в общем-то росла таким гуманитарным человеком. Вот...

В школе я была, можно сказать активисткой Я была многие годы, ну несколько лет в старших классах секретарем комсомольской организации школы. Мне вообще-то занятие это очень нравилось, потому что мы сами все организовывали, у нас была полная самостоятельность. Тогда и слов таких не знали «школьное самоуправление», но самостоятельность была реальная. Директор школы, наш, Степан Федорович Лопотиев, видимо, был замечательным педагогом потому что... Военный бывший, который прошел всю войну, пришел после войны с одной рукой. Он был очень уважаемым человеком, ну и одновременно давал такую большую самостоятельность. Эта самостоятельность нас всех, конечно, очень устраивала и вдохновляла.

Кроме того, параллельно я в музыкальной школе училась и баскетболом занималась, даже выступала за сборную нашего городка, ездили в столицу нашей Туркмении. То есть фактически вот такая бурная активность, я бы сейчас сказала, была у меня. Ну, видимо, это было возможно, потому что всем в семье, всю женскую работу, всю работу по сохранению теплого дома, где есть, что поесть, где чисто и прибрано, конечно, взяла на себя мама, которая работала все время, а вечерами еще успевала это делать, отец ей практически ничем не помогал, после тюрьмы он был очень слабым, работал, правда, но, в основном, сидел в кресле и читал книги.

После окончания школы я, конечно, мечтала о филологическом факультете, но... отец мне сказал после очередной поездки в Москву, он очень любил ездить в Москву, и к своим друзьям ходить, которых у него оставалось там много, вот... ему сказали, что поступить на филологиче-

ский факультет Московского университета с моим парagraфом, так называемым пятым пунктом в общем-то невозможно Ну... как-то я ему поверила, хотя, может быть, и зря поверила, думаю сейчас...

Но во всяком случае вот так вот волею судьбы что ли я оказалась в Куйбышеве, у меня здесь были родственники и оказалась поступавшей в Политехнический институт. Понятно, что я совершенно не знала, что такое техника, совсем не представляла себе, что такое электротехнический факультет, куда поступала, толком в общем ничего не знала. Но с другой стороны, технические вузы тогда привлекали массу людей, основной поток выпускников шел туда, ну и, видимо, я, захваченная этим потоком, тоже там оказалась. Я..., я помню, что мне хотелось как-то доказать, что я вот смогу. Математика для меня всегда была сложным предметом, хотя училась я в школе хорошо, и если по гуманитарным предметам все было легко, интересно и замечательно, то про математику я этого сказать не могу.

Но вот все-таки... вот такой момент был при поступлении, что... я должна доказать всем в этом моем маленьком городке, что вот я, можно сказать, первая ученица школы, смогу поступить в такой тяжелый вуз. Потому что технические вузы собирали тогда огромное количество людей, там были огромные конкурсы, и вот я хотела доказать. Сегодня я понимаю, что это, наверное, глупо... доказывать что-то... таким образом. Но тогда мне это глупым не казалось, тем более, что я понимала, что тот путь, к которому у меня лежала душа – это литература, филология, этот путь для меня был закрыт, мне как-то это отец очень точно сказал (вздых).

Ну ...училась в Политехническом я хорошо, любимые предметы у меня были история, язык, философия, то есть гуманитарные предметы. Сразу же у нас в институте, на мое счастье, был организован так называемый дискуссионный клуб, его организовал тогда приехавший из Свердловска молодой преподаватель философии Евгений Фомич

Молевич¹. Этот клуб собирал тогда массу людей, массу молодых людей со всего города. Ну, наверное сегодня можно сказать, что это было явление для Самарской жизни, для Куйбышевской жизни, явление, потому что это было, может быть, единственное место, где можно было говорить о том, что думаешь, как-то поспорить, и вообще говорить живым языком, не формальным языком идеологии и пропаганды, а вот... можно было сомневаться в том, в чем... нельзя было сомневаться. И вот там все-таки как-то сомневались. Евгений Фомич зачастую, в большей степени вел сам эти дискуссии и не подавлял сразу своим авторитетом, своими знаниями, а как-то умел стать в позу незнающего, рассуждающего и тем самым давал возможность говорить всякую, я думаю и абракадабру в том числе, но во всяком случае возможность говорить все, что думаешь – это, конечно, было замечательно. Поэтому вот эти вот заседания нашего клуба, где студенты, те, кто не могли вместиться в этот зал огромный, конференц-зал, висели на окнах, на сцене сидели и так далее, все туда рвались.

Ну..., студенческие года пролетели очень быстро, тем более, что главным моим местом был, конечно, дискуссионный клуб, а вот предметы, тяжелые предметы, которые у нас были, они как-то шли само собой. Я, конечно, их сдавала, училась я хорошо, и кончила хорошо институт, но все-таки это не было моим делом, я это поняла еще на втором курсе, но надо было получать какое-то образование. Я даже представить себе не могла, как я вернусь в свой маленький город без образования без всякого, тем более родители мои были уже немолодыми людьми, и я не могла подвести их ожидания, надо было как-то рассчитывать на себя самое, и (вздых), одно время отцу не давали работу, мы жили еле-еле, все начинали с нуля, с самых простых и банальных вещей, и поэтому я не могла себе позволить так вот бросить институт без надежды, что я по-

¹ Молевич Е. Ф., профессор, д.ф.н., зав. кафедрой социологии и политологии Самарского гос.университета.

ступлю куда-то и получу все-таки высшее образование (вздых).

Так вот, закончив политехнический институт, я по распределению поехала в Свердловск, выбрала я этот город специально для того, чтобы поступить на факультет... я все-таки хотела осуществить свою давнюю мечту и поступить на филологический факультет. Я так поступила на филологический факультет Свердловского госуниверситета, очень хорошо сдала экзамены, но поступила на заочное отделение, скрывает, что у меня уже есть одно высшее образование, как-то мне удалось с документами все сделать, вот, и... вот эти первые годы, точнее первый год, что я там училась, мне все это страшно нравилось, это вообще было просто счастье. Хотя организация, в которую я попала, Уральский проектный институт, УралТЭП назывался, был очень хорошая, народ, люди вокруг были совершенно замечательные, мне там все очень нравилось, кроме дела, которым я занималась. Ну..., жила я там в общежитии, работала, но все время думала, что мне нужно окончить филологический факультет.

Потом так сложилось, что я вышла замуж, вернулась опять в Куйбышев, вышла замуж за парня, с которым училась в одной группе, и тут опять устроилась работать в проектный институт, и не любила все это и продолжала учиться заочно и писать всякие безумные работы по латинскому языку, но даже эти безумные работы все равно были мне очень интересны. Потом вдруг, такое вот есть везение, счастье, бог знает что, я встретила на улице Евгения Фомича Молевича, который мне сказал, что он организует социологическую лабораторию, он не знает, что это такое, но что-то очень интересное, и он предлагает мне перейти.

Тут же я с удовольствием бросила свой проектный институт, и пришла в социологическую лабораторию, которую он организовал при кафедре философии Политехнического же опять института. Я вернулась в свой родной

институт, но уже в другом качестве, то есть я уже была младший научный сотрудник этой лаборатории. Ну, многие годы наша лаборатория работала на свой страх и риск, работала на предприятиях, вообще-то это целый отдельный разговор, как мы работали, у нас не было помещения, мы заключали договора, работали преимущественно на больших заводах, сами самостоятельно изучали первые книжки по социологии, то есть это было самостоятельное какое-то келейное что-ли обучение науке, которой в общем-то еще нет. Никто не знал, что это такое, но уже были востребованы социологические исследования, востребованы, конечно прежде всего парткомами заводов, руководством, вот.... Ну, многие годы я работала в составе этой лаборатории, но, если вернуться ближе к главной теме, о которой я хочу говорить, то понятно, что работа в социологической лаборатории никаких особых материальных благ не приносила.

Жили мы материально всегда довольно тяжело, у меня родился сын, потом спустя некоторое время дочь и понятно, что с двумя детьми жить было очень трудно. Муж мой работал на железной дороге, работал инженером и тоже не мог получать достаточно много. Поэтому жили мы всегда тяжело материально, всегда в долг, благо были родственники, которые всегда были готовы помочь. Вот эта вот жизнь в долг как-то вот осталась у меня главным ощущением советского периода. Практически не было ни одной крупной вещи, самой такой элементарной, которую бы я купила сразу, потому что все-таки это было довольно тяжело. Ну и я даже помню, что когда сын мой заканчивал школу, то у нас не было возможности купить ему новый костюм на выпускной вечер. И.... Это меня очень угнетало, я почти целый месяц ходила под этим впечатлением, что я не могу купить мальчику на выпускной вечер новый костюм, а потом все-таки плюнула на все, заняла денег и мы все-таки купили ему костюм. То есть фактически тяжелая такая достаточно материальная жизнь у людей, имеющих высшее образование.

Могла ли я подработать в то время, раз уж все-таки главная тема моего разговора это вторичная занятость? На самом деле, конечно, могла, но не очень серьезно и не очень существенно. В советское время для того, чтобы подработать нужно было во-первых иметь разрешение от отдела кадров и руководитель должен был быть обязательно в курсе того, что ты где-то работаешь, и как бы санкция начальника все-таки должна была быть. Где мы подрабатывали? Подрабатывали, конечно, очень мало, но там... подработка была в основном связана с..., накрепко как бы была связана с таким чувством как ..., с таким ощущением, что тебе доверили эту работу, тебя приглашают на эту работу и тебе ее доверили. Ну это прежде всего обучение так называемого партхозактива, у нас был Дом политпросвещения, там учили партийных работников всякого уровня, обучали всяким вещам, в том числе и социологии. И поэтому работа в качестве преподавателя в Университете марксизма-ленинизма и на всевозможных курсах по повышению квалификации партийных работников рассматривалось... как вообще такое большое доверие партии.

Я, конечно, никогда не была членом партии, видимо, не подходила ни по каким параметрам, да и не стремилась к этому, и никто меня туда не приглашал. Ну... и просто так вступить в партию было невозможно, хотя идеологически я была воспитана отцом-большевиком, конечно, который верил в идеалы коммунистические, который даже в тюрьме оставался им верным, этим идеалам, вышел из тюрьмы таким ленинцем непоколебленным. Он, конечно, ненавидел Сталина и все страшное с ним связанное, но именно так как отклонение от правильной ленинской линии... фактически.

И приглашение в этот Университет рассматривалось, конечно, как вот такое вот доверие и... мне там было очень интересно работать. Люди взрослые, достаточно умные, и вопросы задавали всегда такие, какие-то ... не такие банальные, в общем-то проблематичные вопросы. И

потом социология была чем-то таким диковинным, новым, им было это очень интересно, особенно за плечами у меня уже был опыт исследований и я рассказывала о нем.. Помню, что все это было вечером, возвращались поздно ночью, но все таки ощущения, что это тяжелый труд вот такой..., что это вторая работа, все-таки этого не было, потому что вот это вот ощущение, что тебе доверили такую ответственную работу, все таки жило. И деньги, по-моему, там платили какие-то ерундовые. Но ясно, что не всех приглашали, и тебе это доверили. Вот это ощущение ...вот такой вот гордости, ну... оно как-то спасало, хотя я помню, что иногда бывало очень поздно ночью как-то страшно возвращаться. Были период, когда в городе обострялась криминальная ситуация, и ночами возвращение через весь город было не самым легким и не самым таким.... неопасным занятием, что ли.

Ну уже в последние годы перед перестройкой я уже тоже немножечко подрабатывала в техникуме, в техникуме для взрослых. Наше руководство как-то к этому относилось спокойно, дало разрешение, понятно, что это не было в паре с Университетом, было или-или, но Университет был вечерами и только пару месяцев в году, вот. Но был еще техникум. В техникуме тоже были взрослые люди, которым вдруг понадобилась социология, и мне с ними тоже было очень интересно работать, и люди были очень такие ... восприимчивые, им так это нравилось, потому что ... вот сейчас анализируя, я думаю, что впервые будущим мастерам, то есть технарям все-таки, да? показали возможность раскрытия каких-то социальных резервов, что есть еще, оказывается, в организациях люди, которые что-то могут думать, что-то могут хотеть или не хотеть, и, которых можно как-то замотивировать, оказывается, что кроме техники, технологии и машин существуют еще и люди. Мне кажется, они обнаружили людей на производстве и были такими... очень такими благодарными слушателями. Я работала там всего один или два года, и мы в общем прекрасно занимались с ними. Деньги тоже

были какие-то маленькие, но вот сама обстановка, и сами отношения, та... восприимчивость, то отношение к преподавателю, которое там было среди этих взрослых людей, я в общем-то редко потом встречала, до сих пор редко встречаю.

Ну, (вздых), когда началась перестройка, появилась реальная возможность подработки и можно сказать, что вот материально подработка все-таки стала для нас каким-то подспорьем, и... эта возможность появилась сразу и одновременно можно было работать в нескольких местах. И я, конечно, с головой просто буквально ушла в это. Могу ли я сказать, что все-таки деньги были главным моментом? Да, деньги были важны, потому что..., потому что мы..., моя семья жила достаточно тяжело материально, но все-таки вот, я думаю, что... мне... льстило, что не я сама искала работу, не я вот так обзванивала кого-то там, а нет ли у вас работы, а что меня приглашали. Вот этот факт приглашения меня я очень хорошо помню. Вот так было с Гуманитарной Академией, где ко мне подошел заведующий кафедрой, сказал, что мы слышали, что вот вы интересно читаете социологию, не могли бы вы у нас прочитать, у нас новое заведение и мы подбираем лучших. Вот эта вот сама идея, что тебя выбирают из многих возможных, мне, конечно, очень нравилась. Было такое ощущение, что это не просто вот такая двухжильная или пятижильная работа, но еще и работа, которая дает удовлетворение.

Ну, фактически так было со многими моими работами, куда меня приглашали. Никогда я сама не искала ничего, не пробивалась, не предлагала сама. Как-то к счастью, я от этого была уволена, потому что я это делать не очень-то могу. Ну и еще одним вариантом, почему я соглашалась, был тот момент, что я все-таки не имея базового образования такого философского или социологического. собственно говоря вообще в стране не было тогда социологического образования, я конечно, знала социологию какими-то урывками, какими-то, как я говорю, хвостами.

Тем более, что я знала только эмпирическую социологию, совершенно была теоретически не подкована.

И поэтому, когда меня приглашали читать социологию, то мне волей-неволей надо было готовиться и как-то шире посмотреть на то, что в исследовании изучала. Я в общем-то с удовольствием согласилась, я говорю о Гуманитарной Академии, потому что думала, все равно как-то вот надо немножечко больше знать, чем ты знаешь сегодня и сейчас, чем просто методы и эмпирическое исследование. Поэтому вот, м...м., взявшись читать социологию для неспециалистов, для там юристов, для... психологов, для экономистов, я фактически окунулась в новые для меня темы. Оказалось, что это на самом деле очень интересно и... мне казалось, что я даже какими вот другими глазами смотрю на то, чем, я собственно, реально занимаюсь. Вот (вздых).

Надо сказать, что в конце 80-х у нас (мы уже тогда работали в госуниверситете) открывается социологический факультет, и меня приглашают работать в качестве..., ну как бы основывать факультет, в качестве декана, хотя эта должность так не называлась, но я была фактически деканом этого факультета. Понятно, что работы навалилось очень много, вот..., но... и... очень много организационной работы, но и ... это все-таки не удерживало меня от возможности подработок. И поэтому в начале 90-х я работала одновременно в нескольких местах. На самом деле было какое-то упоение от работы. Вот сейчас я вспоминаю этот период и... вот иначе как упоением это назвать нельзя. Это было какое-то комплексное упоение. И оттого, что ты подрабатываешь, конечно, и от того, что можешь позволить себе купить то, что раньше никак не мог позволить, и от того, что ты востребован, и от того, что к тебе везде хорошо относятся и как-то где-то кофем напоят, где-то чаем, что ты как специалист, как профессионал нужен и растешь одновременно.

Вот это вот ощущение востребованности – все-таки очень важное. И главное было, что тебя приглашают.... Уже потом, постепенно (м... м) я начинала осуществлять такой вот отбор, постепенно, вначале отбора не было. Вот такая всеядность. Приглашают – иди, приглашают – иди. Еще, еще, еще. Приглашают – иди. И что самое интересное, вот..., все-таки я вспоминаю сейчас это, все-таки... усталости вот такой не было, ну была эта усталость, ну как это говорят, приятная усталость. Приятная усталость оттого, что ты нужен, оттого, что получается, оттого, что это интересно, оттого, что ты читаешь хорошие книжки, интересно рассказываешь, оттого, что тебе смотрят в глаза и... потом говорят: «спасибо», а студенты очень часто говорят «спасибо». То есть вот это мне нравилось очень сильно, хотя и деньги, конечно, нельзя отрицать. И... я только могу сказать, что даже в 1995 году я была в Англии, у нас началось исследование с Каледонийским университетом, и фактически у меня не было даже фотоаппарата, хотя должна была бы иметь – все-таки первая поездка в капиталистическую, как мы говорили раньше, страну, должна как-то запечатлеться где-то.

Но, я... в те годы я ...мне... даже невозможно было купить фотоаппарат, но постепенно к середине 90-х, особенно в 96 году, 97-ом вот эта вот работа на нескольких фронтах приносила и материальный достаток. Я купила кинокамеру, дети начали снимать все, даже отличный фильм дочь сделала, да и сама я снимала, и второй раз в 97-ом году я уже ездила в Англию с кинокамерой, фотоаппаратом. То есть вещи, которые я раньше не разрешала себе, не могла себе позволить, у меня появились. Но все-таки, вот главное, ... главное, мне кажется все-таки было не это, а вот упоение от бесчисленных..., от своей востребованности и от того, что это очень интересно. Ну, постепенно, ... да была вот, такая интересная ситуация, что везде встречаешься с одними и теми же людьми. Придешь в Гуманитарную академию – одни и те же люди, университет-

ские коллеги, ходят как бы по кругу. Мы уже смеялись, что мы вообще встречаемся, малознакомые люди, работающие на разных факультетах, встречаемся в одних и тех же местах, вот в этих ... в этих других, чужих организациях. То есть можно сказать, что возник, образовался круг людей, я имею в виду преподавателей, конечно, круг людей, которые оказались востребованными вот в этих новых коммерческих вузах, которые открывались бесконечно. Это были одни и те же люди. Можно сказать, что это были достаточно известные, уважаемые в нашем университете люди, потому что мы прекрасно знаем, что есть регалии, есть статусы, а есть реальный, подлинный авторитет среди коллег, среди студентов.

Постепенно все-таки приходило осознание, что есть некоторые вузы, где работать просто неприлично. Потому, что так все плохо устроено, так все плохо сделано, что работать там значит как-то ронять себя. То есть постепенно складывались такие четкие я бы сказала такие претензии, что ли, запросы и понимание, где можно работать, а где нельзя. В итоге я оставила практически несколько вузов в нашем городе, потому, что понимала, что работать там невозможно. Работать там, то есть унижать себя, хотя деньги они платили такие же, как другие вузы. То есть постепенно проходила такая вот селекция, такой вот отбор, когда ты выбираешь фактически, чтобы было все-таки приятно работать. Потому, что, мне кажется, долго заставляя себя, мучиться, ну, я, по крайней мере, не могу. Мне это очень тяжело заставлять себя, как на каторгу, идти на работу.

Ну о чем сегодня можно еще рассказать, что входит в круг этой вторичной занятости? Как относились к семье к этому? Конечно, в семье к этому относились очень плохо или, я бы сказала так, противоречиво. С одной стороны понятно, что деньги, которые я приносила в семью, были нужны, и это было хорошо. Но с другой стороны, конечно, эта вечная занятость, эта вот дерганность, и, честно говоря, все это я смогла выдержать только потому, что

часть домашней работы взяла на себя моя мама. Но иногда и она уже уставала и говорила мне: «Ну что ж ты, как мужик-то работаешь! Это мужское занятие, вот столько работать». Но... со стороны мужа, конечно, тоже было полное неудовольствие. Причем это была такая странная вещь: «Перестань работать, хватит себя мучить», хотя я многократно говорила, что я себя не мучаю, мне это интересно, но в глазах мужа это была только дикая нагрузка, переезды в течение одного дня с одного конца города в другой, такое изматывание, то есть у него только эта сторона как бы делалась... главной и он считал, что я себя изматываю, трачу, не отдыхаю, вот. Но при этом, когда я говорила: «Как же мы жить — то будем, ведь тебе нельзя с твоей работой подработать, ведь на твоей работе, где от и до работаешь, это сделать просто невозможно», он говорил: «И так проживем. Жили же мы, и так проживем».

Но в том то и дело, что так как раньше жили, я жить не хотела, мне уже... понравился вот вкус... таких многих вещей, без которых как-то я уже не могла представить себе свое существование. Конечно, это не были какие-то супердорогие вещи, это в общем-то были нормальные вещи, но даже эти нормальные вещи мы не могли себе раньше позволить. Да и кроме того, дело даже и не только в деньгах, а в том, что мне это в общем-то нравилось. Конечно, не могу сказать, и что это была только эйфория, конечно, были моменты усталости, особенно, когда в течение одного дня нужно было разорваться и успеть на заседание кафедры университета и быть на заседании кафедры другого института, бывали такие совпадения, и на автобусах ты уже принципиально не успеваешь, и надо хватать машину, и ехать и успеть, конечно,.... была вот такая напряженка. Но...я как-то считала, что это нормально. Я вообще всю жизнь много работаю и считаю, что это вообще-то нормальная жизнь. Для меня вот такая жизнь была не в тягость, мне она нравилась.

Еще одним средством, с помощью которого я утверждала свое право работать в нескольких местах, был пример других. На самом деле у нас в лаборатории, у нас на факультете практически многие так работают, если не сказать все. То есть все пытались как-то вот работать в нескольких местах, выбирали эти места, крутились, ну... и вот как-то... это и считалось нормальная жизнь. То есть я просто не могла себе представить, как работать несколько раз в неделю, придти отчитать свои лекции и... потом что делать? Параллельно с преподаванием, конечно, шли еще и исследования. Это – отдельный разговор... Но кроме исследований еще была организация массовых опросов. Тогда многие московские фирмы, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, только начинали становиться. И я включилась в работу с ними, там по старым каналам меня нашли, и я выступала как организатор поля. Это сейчас может показаться странным, что все-таки доцент, кандидат наук, занималась такой организаторской работой, то есть брала бланки интервью, подбирала интервьюеров, их инструктировала, потом собирала, проверяла интервью и поездом их отправляла. Но для меня в этом вообще говоря не было ничего зазорного. Во-первых, потому, что опять это был новый опыт. Слово «маркетинговое исследование» было тогда совершенно новым для нас, мы даже толком не понимали, что это такое. Вот и поэтому исследование потребителей было интересно само по себе, хотя роль у меня была здесь достаточно примитивная. Вот... Но я помню, что у меня преподавателя методологии и методов исследования, вот ощущения такой какой-то второсортности в общем-то не было. Я с удовольствием ездила в Москву, в эту фирму, с удовольствием участвовала во всевозможных таких вот тренингах, где меня учили, как проводить фокус-группу, или еще чему-нибудь, то есть меня обучали тому, с чем я никогда раньше не сталкивалась. В этом смысле это тоже было очень здорово. То есть... (длинная пауза).

Я бы сказала, что это была такая вот жизнь, ... тот период жизни можно было бы назвать жизнью взахлеб. Мне нравилось жить, мне нравилось в десяти местах работать, мне даже нравилось везде бывать почти одновременно -там заседания, здесь заседания, вот этот темп жизни меня устраивал, он меня не напрягал. Ну, может, помоложе была. Мне казалось, что это и есть жизнь, потому, что я никогда не любила тихую, спокойную, размеренную, как-то так получалось, что всегда..., что всегда я была в гуще событий, в центре какой-то организации чего-нибудь, всегда организовывала что-то сама, поэтому вот эта жизнь, жизнь такая взахлеб меня как-то вот вполне устраивала.

Но здесь... надо сказать, может быть, возникает вопрос, как к этому относились на главной работе, не мешала ли моя такая множественная занятость главной работе. Ну, это вопрос достаточно противоречивый. С одной стороны, существовало раньше и до сих пор существует такое негласное отношение со стороны начальства, что все-таки это... ну, не очень хорошо. Конечно, никто сейчас не препятствует, и нет никаких оснований для препятствий, но тем не менее вот это все-таки чувствуется. Ах, вы и там, ах вы и здесь, то есть некоторое..., некоторое негативное отношение, видимо идущее еще от советских времен, существует. Все-таки в головах руководителей сидит такое убеждение, что человек не может в нескольких местах работать хорошо. И, если в нескольких местах, то обязательно страдает главная работа. И это означает, что были какие-то такие фигуры умолчания, все руководители знают, что вы работаете в нескольких местах, но делают вид, что этого не знают, или по крайней мере это не подчеркивают, потому что все понимают, что на одни наши... такие вот... университетские, институтские зарплаты доцента в общем-то обеспечить достойную жизнь сегодня невозможно, сегодня и никогда не было возможно.

Можно спросить себя, а все-таки... качество работы действительно ли было равным, были какие-то предпочтения? Ну..., я могу сказать, что ..., все-таки я не могу сказать, что одно было за счет другого. Я просто думаю, что если ты хочешь, чтобы тебя держали в другом месте и относились к тебе хорошо, то... волей-неволей ты стараешься ориентироваться на стандарты, которые существуют в этой организации, а поскольку я в итоге-то стала работать в хороших организациях и до сих пор работаю, вот, то понятно, что я ориентируюсь на достаточно высокие стандарты. А стандарты высокие, потому что все руководители Академии, например, это выходцы из нашего университета, посему эти стандарты внедряются и в Академии. Поэтому я не могу сказать, что одно происходит за счет другого, сказать этого не могу, но..., возможно,.... возможно в самые трудные дни, в самых трудных напряженных ситуациях, видимо, все-таки это возникает. Потому что иногда периодами усталость все-таки накапливается. И когда она накапливается, то начинаешь себя долго – долго жалеть и говорить: «Господи, да сколько же можно, надо уже успокоиться, но это скорее такие минутные..., минутные слабости, потому что вот по большому счету мне это нравится и... я... не испытываю особого напряжения. Сегодня у меня нет таких многих работ, круг этих учреждений гораздо меньше, хотя эпизодически возникают то какие-то Школы, то курсы повышения квалификации, я и сейчас в общем-то не испытываю такого очень большого напряжения.

Сегодня существует такое расхожее мнение, что... вот... занятость множественная, она уменьшает время общения с семьей. Ну, может быть, это и так. Но у меня это все-таки не происходило. Более того, я даже думаю, что дети вырастают в такой вот семье ...тоже какими-то другими. Ну...дочь моя не социолог, училась на юридическом, но принимала участие во множестве опросов, помогала мне, когда я сотрудничала с маркетинговыми фирмами, помогала мне ...проверять, контролировать каче-

ство анкет, как-то вовлекалась, ну и сама опрашивала, ей надо было подработать, и чтоб она просто видела, я делала это сознательно, чтоб она видела, как это происходит. Через социологию она расширяла круг общения, и я даже думаю, что может у меня такая уникальная ситуация, когда ей вот это общение с социологией помогло в своей нынешней профессии. Она окончила юридический факультет, но работает как консультант по подбору персонала. И вот эти навыки, которые она получила, участвуя в моих вот этих вот исследованиях, оказались ей в итоге полезными. Я помню, как она опрашивала людей в рамках исследования, которое я проводила совместно с чешскими исследователями, ... исследования, связанного с адаптацией бывшей партийной номенклатуры к меняющейся реальности. И когда она опрашивала бывших партийных функционеров, ездила в нашу область, в другой город, то приехала в общем-то с восторженными глазами: как интересно, как это все здорово, люди рассказывают о себе, какие разные люди, то есть фактически она погружалась в жизнь других людей, совершенно другую жизнь, которую она не видела, не знала, будучи благополучной студенткой благополучного университета. А тут она попадала... не только в этом исследовании, разумеется, в различные слои, и этот опыт был тоже ей полезен, это был опыт для нее. То есть я могу сказать, что применительно к себе вот такого отрицательного воздействия моя вторичная занятость не произвела, а может быть, даже наоборот. Она утвердила меня в своем каком-то профессионализме, востребованности, и я даже думаю, ... что она помогала мне очень, потому что... ну... у каждого, наверное, возникают периоды вот такого... периоды задавания вопросов себе: на том месте ты или не на том, тем ты занимаешься или нет, может, вообще этим надо перестать заниматься. И вот моя множественная занятость меня как-то поддерживала и подбадривала в этом, не говоря о том, конечно, что она еще и деньги приносила, которые тоже были совершенно немаловажны.

Сегодня все сделалось более спокойным, более привычным, более гладким, хотя тебя все равно выбирают, но теперь уже и ты выбираешь. В этом смысле сейчас уже не кидаешься на любую работу, а уже думаешь, нужна ли она тебе, имеет ли смысл ее брать. Видимо, сказывается ну, наверное, некоторая усталость и всевозможные другие, научные интересы, например, видимо, на каждом этапе жизненного пути человек сам решает, в какой мере ему в это вовлекаться. Во всяком случае я никогда не испытывала... ну, такого разочарования или ощущения загнанности. Хотя все мы привыкли говорить, что мы, как загнанные лошади, но мне кажется, что это скорее дань ритуалу в нашей среде, ритуальный такой рефрен. Фактически мы сами выбрали такую жизнь, сами в нее вкручивались, выбирали сами этот образ жизни, он нам нравился, и до сих пор нравится, честно говоря.. Вот, пожалуй, и все, наверное, что я могла бы рассказать о своей вторичной занятости.

Качественный анализ транскрипта интервью. Итак, нарратив закончен, я начинаю интерпретацию. Первая важная исследовательская задача – *анализ мотивов вторичной занятости*. Попробую воспользоваться эвристически значимой, на мой взгляд, структурой мотивов деятельности, предложенной А. Шюцем, где американский исследователь выделяет две группы: «*для-того-чтобы*» мотивы и «*потому-что*» мотивы. *Первая группа, по мнению А. Шюца, «относится к будущему и идентична объекту или цели, для реализации которого само действие является средством»* [11, с.105]. «*Для-того-чтобы*» мотив есть *будущее* состояние дел, которое должно быть реализовано планируемым действием. Группа мотивов «*потому-что*», по Шюцу, относится к прошлому и может быть названа основанием или причиной действия. А. Шюц полагает, что если первая группа «*для-того-чтобы*» мотивов интегрируется в субъективные системы планирования, то «*потому-что*» мотивы коренятся в особенностях личности, это «*переживания в опыте своих базовых установок в прошлом*

так, как они представлены в форме принципов, максим, привычек...» [11, с.106].

Итак, анализ транскрипта нарратива, на мой взгляд, показывает, что группа мотивов «для-того-чтобы» *не является однородной* и не сводится только к одному мотиву, а наоборот – представляет собой *сплав разнокачественных мотивов*. Это и стремление улучшить свое материальное положение, и намерение повысить свой профессионализм, и интенция быть признанной среди коллег, и намерение приносить пользу людям. Иерархия среди этих мотивов вряд ли может быть установлена, во всяком случае, как мне кажется, интервью, не дает возможности это сделать корректно, да и мой опыт самоанализа это подтверждает. Относительно неблагоприятная материальная ситуация (во всяком случае мое определение ее как таковой) является скорее специфическим «спусковым механизмом», стимулирующей ситуацией *поиска дополнительной работы*. Это *взаимное переплетение* стремлений, где каждый мотив важен сам по себе, но еще и подпитывает, усиливает действие другого, создавая положительную эмоциональную тональность восприятия дополнительной работы как успешной, удачной, приносящей удовлетворение: «*Это было какое-то комплексное упоение... оттого, что можешь себе купить то, что раньше никак себе не мог позволить, и от того, что ты востребован, и от того, что к тебе везде хорошо относятся ..., что ты как специалист, как профессионал нужен и растешь одновременно*».

Важно подчеркнуть, и материалы интервью, на мой взгляд, это убедительно показывают, что мотивы *нематериального плана* существуют не как незапланированные (случайные) побочные положительные следствия дополнительной работы, на которую решаются только ради денег, но как *значимые цели, ориентиры*, которые осознаются и учитываются при выборе второй работы: если дополнительная работа не реализует один или несколько этих нематериальных мотивов, то от нее отказываются даже несмотря на то, что она приносит или могла бы приносить такие

же деньги, как и работа в тех местах, где «все есть» или «может быть».

Выявленная «*для-того-чтобы*» мотивация, на мой взгляд, находится в согласии («триангулирует») с выводами других исследователей. И.П. Попова и Н.Н. Седова, например, сравнивая структуры трудовой мотивации двух социальных групп: работающего населения без дополнительной занятости и работающего населения, совмещающего основную работу с дополнительной, отмечают, что «имеющие дополнительную занятость демонстрируют сильную степень выраженности ценности профессионального прагматизма и признанного профессионализма» [16, с.38]. Под профессиональным прагматизмом, видимо, авторы имеют в виду ориентацию на такую дополнительную работу, которая позволит использовать и развивать имеющиеся профессиональные навыки и умения. Эти исследователи также делают вывод, что именно та подгруппа совмещающих, для кого дополнительная занятость выступает продолжением или развитием основной (а у нас как раз именно такой случай), *в наибольшей степени* характеризуется ощущением успешности второй работы. При этом, по их мнению, «содержание работы – значимый фактор для субъективного ощущения успешности» [16, с.39].

Некоторым соответствием можно считать и вывод, полученный другими исследователями, о том, что «полизанятые значительно чаще полагают, что их работа социально значима и вообще необходима для общества» [14, с.47]. *Относительным* это соответствие может быть названо потому, что этот вывод отнесен ко всем «подрабатывающим» без выделения той специфической подгруппы, к которой принадлежу я. В то же время в работах, где специально анализируется мотивация *этой группы людей, мотив общественной полезности* работы, ее значимости для людей не выделен.

Следует заметить также, что сам этот мотив, столь любимый советской социологией труда и действительно характеризующий сознание отдельных социальных групп со-

ветского общества, в нашем случае наполняется *другим смыслом, теряет свою глобальность*, отнесение к обществу в целом и приобретает скорее *камерный характер*. Это полезность *конкретным людям*, которым «ты нужен», и которые *«смотрят в глаза и ... потом говорят: «Спасибо»*. Любопытно, что этот же самый мотив, как показывают наши исследования, *сегодня* довольно редко встречающийся, был обнаружен в исследовании 2001 года, проведенном нами в рамках мониторинга социально-экономической адаптированности населения Самарской области, о котором я уже говорила. Он был характерен для единственной группы, не сконструированной, но обнаруженной нами в эмпирическом анализе – группы так называемых *профессионалов*. Думаю, это позволяет сделать вывод (хотя бы гипотетический) о том, что стремление к полезности своего дела является неотъемлемой чертой *профессионального самосознания, самоосознания, самоопределения* себя в качестве профессионала, неразрывно, впрочем, связанного с признанием в «своей» среде: профессионал – чаще всего признанный профессионал.

Анализ мотивов *«потому-что»* вторичной занятости предполагает, как я уже говорила вслед за Шюцем, акцент на *личностных основаниях*, выступающих *условием, причиной* использования вторичной занятости как способа освоения кардинально меняющейся реформирующейся социальной действительности, приноровления к ней. Я полагаю, что можно выделить комплекс таких *личностных факторов-условий*, который может быть представлен двумя группами: ценностного и индивидуально-психологическими плана.

Первая группа характеризуется прежде всего *определенной иерархией ценностных ориентаций*, ведущее место в которой занимает работа, любимая работа.. Вчитайтесь внимательно в текст: «упоение», «жизнь захлеб», «это и есть жизнь» – такими словами я описываю ситуацию своей множественной занятости, жизненную ситуацию. Означает ли это, что здоровье, общение, культурное развитие так же, как и традиционно женские ценностные предпочтения: ма-

теринство, благополучие дома, красота (женственность) и др. автоматически вытесняются на второй план, делаются несущественными, незначимыми? И да, и нет. Транскрипт интервью, а также самоанализ показывает, что ценность материнства всегда стояла *вровень* с работой, своеобразно «подпитывая» стремление взять на себя еще одну дополнительную работу. Да и те периоды усталости, те ощущения «напряженки», которые то и дело «прорываются» в тексте сквозь его в целом «розовую» тональность, – свидетельство определенного *конфликта ролей*, противоречия равнозначимых ценностей. Все же остальные ценностные ориентации действительно оказывались (и до сих пор оказываются) второстепенными, периферийными.

Еще одна черта ценностного плана – *относительно высокий* уровень *притязаний*, достижительная мотивация, ориентированная в том числе и на сферу потребления, выступающая одновременно источником трудовой активности, и основанием (текст это хорошо иллюстрирует) внутрисемейных разногласий, определенной напряженности отношений в семье.

Вторая группа *индивидуально-психологических* факторов-условий, как показывает анализ, включает в себя ряд основных характеристик: готовность и способность к напряженному труду, работоспособность; самостоятельность, склонность к самостоятельным решениям; ответственность, в том числе и умение брать на себя ответственность за материальное благополучие семьи.

В целом полученные результаты вполне соотносятся с выводами других исследователей и моих собственных, сделанных в рамках мониторинга социально-экономической адаптированности в 1999–2003 гг., так или иначе характеризующих личностные особенности «полизанятых» в частности и успешно адаптирующихся людей вообще [14, с. 47–48]; [16, с.39]; [4, с. 475–477]. Исключение составляет лишь отсутствие у меня активности в поиске дополнительной работы (даже определенное любование этой чертой: *«никогда я сама не искала ничего, не пробивалась, не пред-*

лагала сама»); типичным, как показывают исследования, напротив, является *активный поиск работы*, активное целенаправленное использование появившихся возможностей¹ в сочетании с владением имиджевыми технологиями предъявления себя.

Заканчивая процесс интерпретации собственного нарратива, поставлю перед собой еще один вопрос: *так как же все-таки оценить вторичную занятость* с позиции влияния на человека, выбравшего этот способ «вписывания» в меняющуюся реальность: как преимущественно отрицательное, вынужденное и вынуждающее «забыть» семью, друзей, развлечения и многое другое явление или как скорее положительное? *Я как объект исследования*, как «простой» человек считаю (и транскрипт это показывает), что моя множественная занятость принесла мне больше радостей, чем разочарований и боли. *Я как исследователь* полагаю, что однозначного ответа нет. Во всяком случае понятно, что однозначно отрицательная оценка, окрашивающая процесс адаптации исключительно в драматические тона и преобладающая в начале 90-х, сегодня уже история.

Конечно, спектр исследовательских задач может быть существенно расширен: нарратив, я полагаю, позволяет это сделать. Вместе с тем цель этой части книги была не столько содержательного, сколько *методолого-методического* плана: показать *познавательные возможности* автоэтнографического исследования в его научной (или тяготеющей к научности) разновидности.

¹ Впрочем, эта черта не является такой уж исключительной и, на мой взгляд, характеризует феномен *советскости* экономического сознания поколения, прожившего большую часть своей жизни в СССР.

2. Использование стратегии «история жизни» для описания переживания времени жителями области

Понятие времени в различных теоретических перспективах. Время, как и пространство, – фундаментальное и одновременно бесконечно сложное свойство социального мира, сущность которого по-разному схватывается различными социально-философскими концепциями. Понятно, что размеры книги не позволяют мне сколько-нибудь *подробно* остановиться на понимании времени в разнообразных теоретических перспективах, на всех тех *оттенках и нюансах*, которые и составляют предмет рефлексии исследователей этого феномена в координатах предложенных ими подходов. Тем не менее, я полагаю, это надо сделать хотя бы *бегло, в самых общих чертах*, анализируя лишь *контуры своеобычности* угла зрения конкретного теоретика или целого направления на это явление.

Одна из наиболее распространенных в социальных науках моделей времени, корнями уходящая в нововременную форму научного знания, – *объективистская*. Здесь время рассматривается как физическая, объективная, абсолютно независимая от сознания *форма существования* тел, как независимая переменная¹ (в классической социологии). Такая модель восходит к ньютоновскому, субстанциональному пониманию времени (и пространства) как универсальному и объективному «*вместилищу*» всех частных процессов и вещей. В рамках такого подхода время – «*универсальный контекст социальной жизни*» [17, с.67], *внешний фон, рамка, «вместилище»*, в котором протекают социальные действия.

Использование объективистской модели времени в социальных науках означает признание определенных методологических положений:

¹ В социологии именно такое понимание времени наиболее популярно.

Во-первых, каждое социальное явление имеет продолжительность, даже если оно воспринимается как мгновенное. Это означает, что любое социальное явление может быть представлено *последовательностью своих состояний* (фаз, этапов). *Во-вторых*, социальные явления связаны друг с другом *определенным порядком: предшествования и следования (до-после)*, порядком, в рамках которого эти явления связываются в *одну цепь*, называемую *процессом*. В то же время это означает и *необратимость времени* на всех уровнях социальной жизни, которое нельзя повернуть вспять, знаменитую Гераклитовскую невозможность дважды войти в одну и ту же реку. Как замечает П. Штомпка, «нельзя вернуть омлет к состоянию яйца», равно как и ссору нельзя «отссорить обратно» [17, с.69]. Необратимость временного потока содержит в самом себе различие *прошлого, настоящего и будущего*, хотя само это различие *культурно обусловлено* и появляется лишь с изобретением письма, то есть фиксированием прошлого как *записанного прошлого*, прошедшего [17, с.70].

И, наконец, время здесь – *универсальный измеритель* любого социального явления и прежде всего *измеритель изменений*, происходящих в нем, *способ упорядочивания* хаотического потока этих изменений. При этом сами способы, приемы измерения (шкалы, единицы измерения) – это *культурные продукты, результаты конвенций* членов общности, накрепко «завязанные» на ее культурные особенности¹, призванные обеспечить *синхронизацию и координацию* социальных действий людей, их индивидуальных усилий.

Следует сказать, что такое понимание времени как *физического, объективного*, в которое, как в рамку, «вправлена» жизнь каждого человека, характерно и для *повседневного сознания в его естественной установке*. Каждый из

¹ Этот феномен «культурности», социальной конструируемости меры времени особенно подчеркивали П. Сорокин и Р. Мертон в своей статье «Социальное время. Методологический и функциональный анализы», опубликованной еще в 1937 году.

нас, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, сталкивается с *темпоральной структурой* повседневной жизни как с *фактичностью*: «все мое существование в этом мире, постоянно упорядочиваемое временем, насквозь проникнуто им. Моя собственная жизнь – лишь эпизод во *внешнем условном потоке времени*. Оно существовало до моего рождения и будет существовать после того, как я умру» [18, с.50]. Американские социологи говорят о *принудительности* такой темпоральности в повседневной жизни, о невозможности повернуть вспять последовательность событий, налагаемых ею. В естественной установке именно *внешняя темпоральная структура* определяет жизненную ситуацию конкретного человека (его «повестку дня»), а также его биографию в целом: «Я родился в один день, пошел в школу – в другой, начал работать – в третий». Лишь в рамках временных координат повседневная жизнь сохраняет свою реальность: «Часы и календарь подтверждают, что я и в самом деле «человек своего времени» [18, с.51].

Представлены в социально-философской мысли и различные концептуальные модели так называемого *субъективного, человеческого, внутреннего времени*, каждая из которых обладает *специфичностью* видения этой субъективности. Особое место здесь занимает *теория времени* И. Канта, где он полагает, что «время не есть нечто такое, что существовало бы *само по себе*, или было бы присуще вещам как *объективное определение и*, стало быть, существовало бы, если отвлечься от всех субъективных условий их созерцания... Время есть не что иное, как *форма внутреннего чувства... и само по себе, вне субъекта есть ничто*» (курсив мой – А.Г.) [19, с.56–57]. При этом И. Кант имеет в виду *трансцендентального абстрактного субъекта, субъекта вообще*. Кантовское видение времени включает в себя, полагают специалисты, как минимум две идеи: 1 – знаменитую идею *априорности времени*, согласно которой время – *априорное, формальное условие всех явлений вообще, необходимое представление*, лежащее в основе всего познания; 2 – понимание его как «*формы внутреннего чув-*

ства», то есть как собственно *человеческого времени* «длительности наших внутренних состояний» [20, с.533]. Здесь имеется в виду не биофизическая характеристика процессов психики и не субъективное переживание физического времени (когда один и тот же период физического времени по-разному воспринимается людьми в зависимости от их эмоциональных состояний), «а время внутренних явлений нашей души», «бытийственная» характеристика человека [20, с.534].

Целый ряд *других* концепций *субъективного, внутреннего времени*, обладая своей спецификой, тем не менее могут быть объединены одной *общей чертой*: время связывается в них не с трансцендентальным субъектом, как у Канта, но с *конкретным чувствующим и мыслящим, переживающим* человеком. В самом общем виде в этих концепциях время соотносится с *его значением* для переживающего человека, исследуются человеческое к нему отношение, а также те формы, в которых «время дано человеку соответственно переживанию» [21, с.138]. Обращаясь к переживаниям, мы уже переходим, как полагал В. Дильтей «из мира физических феноменов в царство духовной действительности» [22, с.136]. Хронологически первым в этом ряду, видимо, стоит учение средневекового христианского мыслителя *Аврелия Августина о внутреннем слове и времени*, чьи размышления об этом в XX веке оказались удивительно созвучны идеям феноменологии и феноменологической социологии. Разрабатывая учение о внутреннем слове, понимаемом им в широком смысле как *вся актуальная мыслительная деятельность человека*, как самостоятельно найденное знание, приобретаемое не посредством внешних восприятий, но через перебирание образов и мыслей, рассеянных в памяти, философ вводит понятие времени как *качества душевной деятельности* греховного и конечного существа [23, с.113–117]. Именно в процессе этой душевной деятельности внимание, эта волевая составляющая мышления, которое в то же время несовершенно, ослаблено, не может перебегать от одного образа к другим, а пото-

му *длится*. Целое не схватывается сразу, но собирается вниманием, как мозаика. *Человеческое настоящее длится, тянется* по Августину: «Длительно не будущее время – его нет; длительно будущее – это *длительное ожидание будущего*. Длительно не прошлое, которого нет; длительно прошлое – это *длительная память о прошлом*» [23, с.119]. Время, по Августину, есть не что иное, как *рассредоточенность, «растяжение души» на воспоминание, внимание и ожидание*. В соответствии с этим он вводит три времени, соответствующие разным видам настоящего: *настоящее прошедшего* – это память; *настоящее настоящего* – это его непосредственное созерцание; *настоящее будущего* – это ожидание.

Парадокс, по Августину, состоит в том, что настоящее *в то же время не имеет длительности*. «Настоящим, – пишет мыслитель, – можно назвать только тот *момент во времени*, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части, но он так стремительно уносится из будущего в прошлое. *Длительности в нем нет*. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего; настоящее не продолжается» (курсив мой – А.Г.).

Еще одна концепция, близкая по видению времени Августином, – *учение А. Бергсона о длительности*. Полемизируя с Кантом и одновременно вдохновляясь его видением времени как внутреннего чувства, французский философ полагает, что время – не априорная форма внутреннего созерцания, но *непосредственный факт сознания, длительность*, постигаемая внутренним опытом, это *длительность существования самой реальности, переживаемой человеком*. Время как длительность по Бергсону предстает неделимым и целостным, предполагает не только смену прошлого и настоящего как моментов длительности, но и *проникновение прошлого в настоящее, их наполнение друг другом*. «Это, – пишет философ, – «не что иное, как *разворачивание свитка*», так как каждый человек чувствует, как мало-помалу проходит его жизненный путь, «но вместе с тем, это также постоянное наматывание на клубок, потому

что прошлое наше следует за нами, постоянно обогащаясь собираемым по пути настоящим, а сознание равнозначно памяти» [24, с.201]. На мой взгляд, права Л. Микешина, полагающая, что такое видение времени предполагает с необходимостью рассмотрение памяти не только как *психологического феномена*, но «как неотъемлемую *бытийную* характеристику человеческой субъективности, существенно отличающую ее от «непомнящей» вещи» (курсив мой – А.Г.) [20, с.536].

Значимое место в ряду концепций переживания времени принадлежит *феноменологической философии* и прежде всего Э. Гуссерлю и А. Шюцу. Тема времени, звучащая у Э. Гуссерля как тема *сознания времени* принадлежит к основным, важнейшим в его творчестве – один из главных его трудов, посвященных этому феномену, так и называется: «Феноменология внутреннего сознания времени». Предпосылкой феноменологического изучения времени является *«исключение объективного времени»* [25, с.6], то есть всех условий и соглашений «привязывающих» время к тому или иному виду движения объектов, хотя существование объективного времени и правомерность его исследования им не исключается. Здесь рассматривается только *данность временных объектов*, которую нельзя измерить хронометрами, когда описывается сама *структура психического акта*, благодаря которой воспринимаются *длительность и последовательность*¹. Задача, поставленная Гуссерлем, заключается в том, чтобы выявить *первичные формы сознания*, в которых так или иначе представлены *временные различия*, – длительность, последовательность, одновременность, настоящее, прошлое, будущее, – то есть речь идет об *осозна-*

¹ В этой связи интересен эпизод из жизни австрийского философа, рассказанный В.И. Молчановым, исследователем и переводчиком на русский язык творчества Гуссерля: в благодарность за издание «Лекций по феноменологии внутреннего сознания времени» в 1928 году Гуссерль подарил Хайдеггеру золотые часы с цепочкой, которые вскоре перестали идти, как бы символизируя исключение объективно измеримого времени [26, с.XI].

нии времени, его конституировании. В то же время философ рассматривает сознание в качестве временного, то есть темпорального образования. Конституирование включает в себя и синтез–схватывание, и временную протяженность, по смыслу очень близкие вещи. «Если само сознание истолковывается как временное, то его основная деятельность заключается в синтезе различных временных фаз, в схватывании определенных интервалов и содержаний, наполняющих эти интервалы» [26, с.XII].

Для описания *темпоральной структуры* акта сознания Гуссерль вводит понятия *ретенции* и *протенции*. *Ретенция* – это *первичная память*, которая присоединяется к первичному впечатлению, «начиная с которого начинается «производство» длящегося объекта» [25, с.32], или к «Теперь-точке», в терминах Гуссерля, а *протенция* – *первичное ожидание*, предвосхищение, которое так же присоединяется к первичному Теперь-сознанию, образуя в целом структуру *«ретенция–теперь–протенция»*, описывающую темпоральный характер восприятия и памяти. В целом по Гуссерлю, полагает А. Шюц [27, с.25], каждый человек находится в нескольких *временных измерениях*: *во-первых*, существует его *особенное внутреннее время*, имманентный поток, в котором находят место конституирующие переживания; *во-вторых* временное измерение конституированных переживаний (все еще субъективное пространство-время). В обоих этих измерениях преобладают *отношения одновременности*, а также *«до–после»*. В этих условиях первоначально конституированное единство вещи совпадает с *последовательностью восприятия*, его *продолжительностью*. В то же время Э. Гуссерль, констатирует Шюц, говорит и об *объективном интерсубъективном времени*, которое априори формирует единый со всеми субъективными временами временной порядок.

А. Шюц рассматривает категорию времени в контексте анализа *повседневного сознания*, «жизненного мира» человека и прежде всего – роли наличного комплекса знаний в предвосхищении будущих событий. Сравнивая «простого»

человека и героя греческой мифологии, слепого прорицателя Тересия, Шюц делает ряд принципиальных выводов.

Во-первых, в то время как видения будущего прорицателем не зависят от предшествующих переживаний (он мертв и не знает настоящего), для человека именно *наличный комплекс знаний* служит в качестве схемы интерпретации его прошлого и нынешнего опыта, а также определяет *предвосхищение им будущих событий*. Наша собственная биография, *наша ситуация в мире*, говоря языком Шюца, оказывает доминирующее влияние на эти интерпретации. В свою очередь отнесение к *уже пережитому* при каждом новом переживании, или к *предпереживанию*, в терминах Шюца, предполагает наличие памяти и всех ее функций, таких, как сохранение знания, воспоминание, распознавание. Наш опыт, полагает австрийский социолог, не имеет линейной структуры. Мы схватываем вниманием отдельные *пространственно-временные целостности*, связывая их друг с другом. Вторя Августину Аврелию, он говорит об *особом моменте времени Сейчас*, который – не мгновение, но, как его называли Дж. Г. Мид и У. Джеймс, *правдоподобное настоящее*, содержащее элементы прошлого и будущего: «Коль скоро рассматривается прошлое, границы правдоподобного настоящего определяются самыми отдаленными прошлыми переживаниями... Коль скоро рассматривается будущее, границы правдоподобного настоящего определяются масштабами планов, задуманных настоящим» [28, с.329].

Во-вторых, в отличие от Тересия, «незаинтересованного зрителя событий, которые он предвидит», человек в повседневной жизни *явно заинтересован* в том, что предвосхищает» (курсив мой – А.Г.). Более того, «эти предвосхищения являются решающими для его планов, проектов и мотивов. Они значимы для него, и он переживает эту значимость в терминах своих надежд и страхов» [28, с.319].

В-третьих, в отличие от слепого Тересия, чьи видения недоступны другим и являются событиями *только его внутреннего мира*, жизненный мир человека (и здесь Шюц

солидарен с Гуссерлем) с самого начала *социализирован*, это «*общий для всех мир*». В этом смысле переживание времени людьми имеет много общего, сближает жизненный мир, который они создают, соотнося себя друг с другом: «Я знаю, что каковы бы ни были твои переживания во время полета птицы, они одновременны с моими (современны моим)» [29, с.119]. Анализируя *Мы-отношение* (отношение лицом – к лицу – А.Г.) как основу переживания индивидом мира вообще, он предлагает своеобразную типологию в зависимости от *непосредственности – опосредованности* этих совместных переживаний: *спутники, современники, предшественники, последователи*.

В этой классификации мир *спутников* – это область, «характеризуемая *непосредственным переживанием* мной других»; мир *современников* – это мир тех, с кем «я не вступаю в непосредственное переживание», кто только *потенциально* может быть спутником. Современники не присутствуют лично, «но я знаю об их существовании *со мной во времени*: я знаю, что поток их переживаний одновременен с моим» [29, с.137]; мир *предшественников* – это мир Других, который недоступен непосредственному переживанию в опыте *ни реально, ни потенциально*; мир *последователей* – это мир Других, «о котором я имею только смутное и неадекватное знание, но на кого я могу оказать определенное влияние моими собственными действиями» [29, с. 117].

Особенно полезным в контексте моей темы являются размышления австрийского социолога о восприятии нами прошлых событий, прошлых переживаний Мы-отношений (со спутниками) или Они-отношений (с современниками), основанием для которых, по Шюцу, служит «*моя настоящая ситуация, проблемы и интересы Здесь и сейчас*». С одной стороны, полагает Шюц, в воспоминаниях конститутивные характеристики этих переживаний *остаются нетронутыми*: они вспоминаются «как непосредственные лицом-к-лицу переживания мной спутников или опосредованные переживания современников» [29, с.155]. Вместе с

тем они имеют отпечаток не действительности, а *историчности*, являются *не текущими*, но *прошлыми* переживаниями. В переживании *настоящего*, по Шюцу, всегда присутствуют *будущие* переживания как предвосхищение, и при этом оно остается открытым. В переживании же *прошлого* – другая ситуация: «предвосхищенное поведение моего партнера так или иначе *уже определилось*», «мое спланированное действие уже произошло успешно или неудачно», переживание *уже завершено*. «Временная структура действия, будучи незатронутой в воспоминании, теперь перемещается в *новый контекст временной замкнутости* – когда я начинал, я хотел того-то, но в результате получил только это» (курсив мой – А.Г.) [29, с.155].

При этом, хотя линия, разделяющая переживание нами мира *современников* и мира *предшественников*, изменчива, все же в *воспоминании*, по Шюцу, «остается сохраненной *подлинная* современность, в которой конституировало себя переживание Мы или Они-отношения»: здесь есть принципиальная возможность координации каждой прошлой фазы жизни спутника или современника «с прошлыми фазами моей собственной жизни» [29, с.156]. Вместе с тем, применительно к миру *предшественников* такая подлинная современность отсутствует: с предшественниками невозможны подлинные социальные отношения. Это в том числе означает, что «комплекс знаний, на который опирался в своих действиях и мыслях предшественник, фундаментально отличен от комплекса знаний «нашей современной цивилизации», поэтому контекст смысла, в который было помещено переживание *предшественника*, радикально отличается от контекста, в котором «то же» переживание явилось бы *современнику*. Следовательно, переживание не может быть *тем же самым*, хотя это, по Шюцу, *человеческое переживание*, переживание человека вообще [29, с.159].

Философия жизни, а вслед за ней и экзистенциальная философия сделали акцент на раскрытии *временной структуры* существования человека, анализируя *человеческую временность*. Для этих направлений неприемлемо

рассмотрение времени как развертывающегося одномерного континуума, что характерно для повседневного сознания. При таком понимании настоящее мгновение оказывается *лишенным протяжения* сечением, которое отделяет *еще не существующее* будущее от *более не существующего* прошлого. Напротив, для этих теоретических перспектив характерно такое понимание настоящего, которое обнаруживает внутри себя *богатую временную структуру*. Перекликаясь с учением о времени Августина Аврелия, здесь «настоящее – не лишенная протяженности переходящая точка, а та связь, что объединяет все в очевидности настоящего» [21, с.141]: *будущее* – это то, что «оказывается действенным в надеждах и опасениях, планах и проектах, что в качестве формирующего фактора образует неотъемлемую часть настоящего»; *прошлое* – не то, что имело место однажды в какой-то предыдущей временной точке, и в настоящее время его не касается. Наоборот, прошлое *тянется* из прошедшего в настоящее в качестве его несущей подосновы и одновременно стесняющего предела. Для *внутренней временности* прошлое, настоящее и будущее выступают не частью временного континуума, но «теми *тремя направлениями*, в которых простирается временное поведение человека, и на основе которых конституируется настоящее мгновение» (курсив мой – А.Г.) [21, с.142]. В этом смысле М. Хайдеггер говорит о «*трех экстазах*», или о «*трех измерениях*» времени.

Экзистенциальная философия, прежде всего в лице М. Хайдеггера пошла дальше философии жизни. Для нее *прошлое* – не только несущая подоснова настоящего, дающая уверенность и поддержку текущей жизни, но прежде всего то, что *суживает свободу действия* человека в настоящий момент. Рассматривая человека как «*заброшенного*» в мир, ввергнутого в определенные лишения и находящегося в напряжении за счет знания конечности любой человеческой жизни, экзистенциальная философия рассматривает направленность человека в будущее как установку на *преодоление этих лишений*, как установку на *предостав-*

ляющиеся возможности его поведения, исходя из которых он и формирует свое настоящее. В этом смысле будущее по Хайдеггеру, не просто то, что не став настоящим, произойдет когда-нибудь, но сама та «будущность», в которой личное бытие приходит к себе в своей *собственной бытийной возможности* [30, с.410]. Точно так же, как человеку предоставлена двойная возможность *подлинности* и *неподлинности*, следует, по Хайдеггеру, различать «*подлинное время*» яркого существования, когда человек решительно поворачивается к будущему, собрав все свои силы, и «*неподлинное время*», когда человек уклоняется от предъявляемых задач и пассивно предается подступающим к нему событиям.

Русская философия, прежде всего в лице Н. Бердяева¹, С. Аскольдова также уделяла значительное внимание проблеме времени, по тональности во многом перекликаясь с европейской феноменологической традицией. Для С. Аскольдова время и изменение, которое он определяет как «единство исчезающего, пребывающего и появляющегося» [31, с.400], как «единство прошлого, настоящего и будущего» – синонимы: «если нет времени, то нет и изменения, если нет изменения, то нет и времени». Об изменении можно говорить, полагает философ, если моменты изменения как-то объединены, представляют собой *единство*. Объединение происходит, по мысли С. Аскольдова, «в с о з н а н и и и через с о з н а н и е: область материальных изменений, если отмыслить от нее сознание наблюдающего субъекта, в сущности потеряла бы свою изменчивость» (разрядка автора – А.Г.) [31, с.401]. Изменение в мертвом, неживом, по мысли философа, дается лишь взгляду жизни на мертвое: «отмыслите этот взгляд, и в мертвом останется лишь рядоположение статических элементов, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, ибо их необходимо с о з н а в а т ь» (разрядка автора – А.Г.) [31, с.401]. Вне

¹ Н. Бердяев анализирует время преимущественно в контексте философии истории, что выходит за рамки моего интереса [32, с.402–410].
400

сознания эти слова, полагает С. Аскольдов, теряют всякий смысл.

Называя так понимаемое время *психологическим*, из которого все другие заимствуют свои смыслы, философ выделяет эти два других времени: *физическое* и *онтологическое*. При этом *физическое* время рассматривается им как «*измеренное движение*», которое воспринимается внешним образом, «через внешнюю чувственность протяжения». *Онтологическое* же, С. Аскольдов, перекликаясь с А. Шюцем, понимает как *общее объективное содержание*, содержащееся в психологическом времени разных людей, как некоторое «общее «теперь» или «сейчас», однозначность которого может быть объективно установлена» [31, с.401].

Переживание времени населением Самары: попытка эмпирического анализа. На мой взгляд, наиболее интересны и методологически корректнее концепции, где время рассматривается прежде всего как «*время человека*» (термин Н. Наумовой – А.Г.) [33, с.159], где речь идет о *переживании времени* человеком, наделении его индивидуальными смыслами. Вместе с тем нельзя не согласиться с И.М. Поповой, что специфика субъективного, человеческого времени – *особая проблема*, которая до недавнего времени в отечественной науке эмпирически изучалась преимущественно психологией¹ [35, с.135]. В то же время сегодня уже понятно, что целый ряд *собственно социологических тем*: взаимодействие поколений, специфика социальных изменений, социальное проектирование, социальная дифференциация, стиль и качество жизни и целый ряд других – трудно проанализировать глубоко в отрыве от «*времени человека*», от тех смыслов, которыми люди, главные персонажи на социальной сцене, наделяют время.

Переходный период, время кардинальных общественных преобразований в России выдвигает эту проблему, я

¹ В качестве примера можно привести исследование Е. Головахи и А. Кроника «Психологическое время личности», где анализируется переживание отдельных свойств времени, формирование целостного отношения личности ко времени ее жизни и т. д. [34].

полагаю, из закулисной зоны на авансцену социологического знания, если продолжить этот ряд театральных гофмановских метафор. В нашей сегодняшней ситуации *устойчивой постсоветской переходности*, когда, если воспользоваться выражением Н. Бердяева, сказанном, правда, по другому поводу, мы живем в «дурном, разорванном времени, где прошлое кажется отошедшим, а будущее не народившимся, и мы замкнуты в мгновении сомнительного настоящего» [32, с.408], потребность в *эмпирическом изучении переживания времени*, на мой взгляд, возрастает. В самом деле, именно *определение* прошлого, настоящего и будущего времени каждым конкретным человеком, также как и индивидуально переживаемая связь времен с ее акцентами на том или другом времени, во многом обуславливает выбор человеком определенных жизненных стратегий, его социальное самочувствие, в конечном итоге.

Справедливости ради надо отметить, что первые попытки *эмпирического* социологического анализа субъективного, человеческого времени сегодня уже существуют в «теле» социологии. Это исследования Н.Ф. Наумовой [33], И.М. Поповой [35], А.А. Давыдова [36], О.Р. Лычковской и Е.В. Баш [37] и др.¹. Вместе с тем практически все эти исследования сделаны в методологии *классического* социологического исследования, на наш взгляд, не дающей возможности корректного изучения переживания времени в феноменологическом смысле этого термина.

Следует сказать, что смыслы слова «*переживание*», которое сегодня на волне интереса к качественной социологии с ее в том числе и феноменологическими корнями, становится популярным в социологии, в *самой феноменологии* и *обыденном сознании* серьезно различаются. На обыденном языке – это комплекс оценок, восприятий человеком

¹ В то же время изучение *отдельных граней* этого феномена, в частности восприятие населением хронологически определенных исторических периодов нашей страны, маркируемых как «*настоящее*» или «*прошлое*», достаточно широко представлено в отечественной социологии.

объективных событий. Само событие оказывается «по ту сторону» от переживаний.

В феноменологическом смысле термин «переживание» означает иное: переживать что-либо – значит *интенционально* полагать ту или иную предметность в различных актах сознания. Основной структурный компонент подобных актов – это *акт интенции значения (смысла)*. Именно посредством значений предмет дается сознанию. *Интенциональность*, «*направленность на*» является, как полагал Ф. Brentano, основным, конститутивным свойством психических феноменов, отличающим их от физических: «*Всякий психический феномен характеризуется посредством того, что средневековые схоласты называли интенциональным (или же ментальным) внутренним существованием предмета и что мы... отношением к содержанию, направленностью на объект... или имманентной предметностью.* Любой психический феномен содержит в себе нечто в качестве объекта, хотя и неодинаковым образом. В представлении нечто представляется, в суждении нечто утверждается или отрицается, в любви – любит, в ненависти – ненавидится и т. д.» (курсив мой – А.Г.) [38, с.33–34]. Понятие *интенциональности* исключительно в своем роде, поскольку предполагает, что предмет с одной стороны *трансцендентен* сознанию (реальному потоку переживаний), но с другой стороны – *имманентен* ему, поскольку он (предмет) всегда *уже* так или иначе *дан, усмотрен, воспринят, оценен* и т.д. Предмет таким образом имманентен сознанию как сфере смыслов.

Описать на языке социологии *так понятое* переживание, т.е. переживание в его феноменологической транскрипции – значит описать прежде всего *мир смыслов*, которыми индивидуальное сознание наделяет то или иное событие во всей его (мира) уникальности. Но описать мир смыслов тех или иных явлений невозможно, используя готовые, разработанные социологом опросники, методологию *классического исследования* в целом. Наиболее адекватным инструментом для этой исследовательской цели,

как я уже говорила ранее, является *методология качественного исследования*.

В нашем исследовании переживания времени, которое проводилось в 2003–2004 годах в Самаре под моим руководством и при моем непосредственном участии, использовалась *стратегия «история жизни» с нарративным интервью* как основным методом сбора информации в этой исследовательской стратегии. На мой взгляд, именно «история жизни», нарративное интервью, когда информант сам выстраивает в рассказе последовательность событий своей жизни, дают возможность исследователю описать смыслы, которыми люди наделяют свое прошлое, настоящее и будущее, понять индивидуальные границы этих времен, их приоритетность, соотнести в конечном итоге переживание времени, которое всегда индивидуально, с объективным (интерсубъективным) временем поколения, страны в целом.

Объектом исследования выступали *три поколенческие группы*, которые условно могут быть названы группами *детей, родителей и прародителей*, если под поколением понимать социальную группу, объединенную не столько одинаковостью возрастных границ, сколько прежде всего *определенной общностью условий социализации, «рутинным опытом общества»*, в терминологии П. Бергера, в целом [39, с.32]. Выбор такого объекта обусловлен прежде всего тем, что эти поколения обладая *разным «опытом общества»*, различным образом и структурируют время, наделяют его теми или иными смыслами. В переходные периоды развития общества, когда, как известно, происходит коренная смена общественных ценностей, эти различия делаются особенно существенными. В нашем исследовании к поколению детей были отнесены жители Самары, относящиеся к возрастной группе 18–30 лет, к поколению родителей – информанты 40–55 лет, к поколению бабушек и дедушек – те, кому за 60 лет. Всего было опрошено 36 человек, по 12 в каждой поколенческой группе. Целевой отбор информантов происходил в соответствии с *тремя крите-*

риями: возрастом, полом (в каждой группе были в равной мере представлены мужчины и женщины), *образованием* (в каждой группе в равной мере были представлены те, кто имеет высшее и незаконченное высшее образование, а также те, кто имеет среднее и ниже среднего образование).

В нашем исследовании были поставлены следующие задачи:

- описать критерии структурирования времени, выделения прошлого, настоящего и будущего так, как они представлены в повседневном сознании информантов;
- описать взаимоотношение прошлого, настоящего и будущего, приоритетность того или иного времени в сознании выделенных поколенческих групп.

Анализ транскриптов нарративных интервью показал, что самый распространенный *критерий структурирования времени своей жизни* опрошенными жителями области — это *индивидуально значимые события*, и прежде всего те, что венчают периоды жизни, называемые этапами жизненного цикла человека: первый класс, окончание школы, замужество, поступление в институт, рождение ребенка, служба в армии, выход на пенсию и т.д., в то время как *хронологическое время* используется крайне редко (всего 2 человека из 36 опрошенных). Вот один из примеров такого *индивидуально значимого* структурирования: *«будущее, которого я опасюсь – это будущее после 60, то есть когда я выйду на пенсию, то есть через 7 лет для меня уже страшное будущее, полностью неопределенное; настоящее – это до ухода на пенсию, это три места работы, это вот эти 5 лет; прошлое – то, что я оставил в армии»* (мужч., журн., 53 г.). При этом *степень дробности* членения («ближкое прошлое», «дальнее прошлое» и т. д.), как показывает исследование, не столько связана с возрастными особенностями и уровнем образования опрошенных, сколько с их индивидуальными способностями конструирования своей жизни «здесь и сейчас» в присутствии интервьюера. Видимо, права Е. Ярская-Смирнова, утвер-

ждающая, что прежде всего *«субъектность и воображение* определяют, что включать, а что исключать из процесса наррации, в какой последовательности говорить о событиях, что они должны означать» (курсив мой – А.Г.) [40, с.45]. Невозможно исключить и *различную индивидуальную «социальную оглядку»* в терминах В.Б. Голофаства, понимаемую как «привычный уровень морального самоконтроля, ... нравственность поведения в одиночестве, в реальном или потенциальном социальном окружении» [41, с.76]. Такое членение времени свидетельствует, видимо, о том, что границы выделенных «кусков жизни» означают для опрошенных *определенное жизненное изменение*, наделяются смыслом определенных *переломных вех* их жизни. Вместе с тем, это, конечно, и общеупотребительные, легитимные способы членения времени жизни человека, признанные в культуре, и потому часто используемые в процессе конструирования своей жизни в нарративном интервью.

Наряду с такими общеупотребительными способами структурирования можно выделить, по данным исследования, и *уникальные критерии*, как правило, неповторяющиеся, свойственные индивидуальному времени конкретных людей. Например, для студентки основанием для структурирования времени выступала, как показало интервью, смена молодых людей, с которыми она встречалась: *«Когда я начала в 15 лет серьезно встречаться, то там одна жизнь была совершенно другая, прошлая жизнь, потом, когда начала с будущим моим мужем встречаться, началась совершенно другая жизнь, мое настоящее. Они настолько разные, но мне кажется, каждый формировал меня для следующего этапа»* (женщ., 22 г., студентка). Для другого моего информанта (женщ. 42 г., продавец) таким критерием стала *смерть мужа*, разделившая ее жизнь на периоды «до смерти мужа» («моя прошлая жизнь») и «после». Можно выделить еще ряд подобных оснований членения времени: развод, смерть родителей, вступление в партию и т. д.

Следует сказать, что *социально значимые критерии* – события, определяющие жизнь страны, как показывает анализ транскриптов интервью, в целом в значительно меньшей степени выступают основанием для структурирования своего времени опрошенными жителями области. Причем представленность этих социальных меток наблюдается преимущественно в социальной группе *прародителей*: здесь время своей жизни довольно часто соотносят с крупными и просто значимыми историческими событиями: коллективизацией, войной, строительством Волжской ГЭС и связанным с этим затоплением Ставрополя и т.д. Вместе с тем сама палитра социально значимых событий даже в этой группе удивительно бедна.

Конечно, описание своей жизни в *социальном контексте*, соотнесение ее с событиями страны не каждому дано, требует владения навыками рефлексии, привычки к ней. Не случайно некоторые социологи мечтают о рефлексивном жизнеописании информантов, где были бы представлены не только события, но и их оценка опрашиваемыми людьми [42]. В социологическом сообществе известна также тяга социологов к «говорящим» информантам, где этим словечком маркируются люди, умеющие рассказать свою историю не односложно, развернуто, прибегая к оценкам.

Вместе с тем, видимо, права и Н. Козлова, которая, анализируя письма российских людей в перестроечную и постперестроечную прессу, смогла увидеть *витальность*, чаплиновскую сильнейшую привязанность к жизни («его бьют, но он увертывается, его запихивают в машину, но он остается жив, он улыбается и продолжает жить») как главную характеристику пишущих, «маленьких людей», «частичек массы» [43, с.88]. Такой «маленький человек», подобно Зощенковскому герою (сравнение автора – А.Г.), «говорит, что прежде всего хочет жить. А все остальное существует для него постольку-поскольку и отчасти как нечто, мешающее его жизни.... Ему наплевать на мировые проблемы, течения и учения. Что касается взглядов, то он, знаете ли, не вождь и не член правительства и, стало быть, он не

намерен забивать свою голову лишними взглядами» [43, С.89]. Вот этой витальностью дышат и наши нарративы, в которых индивидуальное человеческое время в большинстве своем *слабо* соотносится с историческим временем страны, с социально значимыми событиями в целом. Конечно, методология качественного исследования не дает возможности дать количественную оценку этому феномену, *оценить точно меру его распространенности*. В то же время налицо сам факт его существования¹.

Впрочем, есть в этом выявленном мной явлении и исключение: перестройка, разделившая, как показывают интервью, жизнь большинства моих информантов на «жизнь до перестройки» и «после нее», на их прошлое и настоящее. (Исключение составляет группа «детей», возрастная группа *молодых людей*, «не заметившая» перестройку именно потому, что их социализация пришлась на этот период, и другой жизни они просто не знали). Правда, сам этот период обозначается порой в наших интервью *разными хронологическими датами*, преимущественно 1985–1987, 1991, 1992, 1995, 1997 годами, еще раз подчеркивая различия в *научной интерпретации и повседневных практических определениях* («повседневных теориях») одних и тех же событий.

Анализ *приоритетности* тех или иных элементов субъективного времени (прошлого, настоящего или будущего) предполагает определение их относительной значимости для опрошенных, которая, в свою очередь, во многом определяет и выбор человеком жизненных стратегий, вариантов «стратегического поведения» [45, с.92] и тональность восприятия жизни в целом. Анализ транскриптов

¹ Косвенным подтверждением этого явления может служить значительное преобладание индивидуальных идентичностей над групповыми, особенно «дальними» групповыми идентичностями в современной России, выявленное в исследовательском проекте под руководством В.А. Ядова [44, с.177]. Кроме того, в этом же исследовании сделан вывод об отчуждении «среднего» человека от мира «большого социума», поглощенность его прежде всего кругом повседневных, обыденных дел, что также подтверждает наш вывод.

интервью обнаруживает *презентизм* как распространенное (но не единственное) мироощущение опрошенных людей во всех трех выделенных группах, их определение своей и общественной жизненной ситуации. Кажется, этот вывод исследования подтверждает мнение польского социолога Е. Тарковской, связывающей явление презентизма с трансформационными процессами, происходящими в постсоциалистических обществах, несущими рост нестабильности, неопределенности и бедствий [46]. Презентизм, как известно, – явление *доминирования настоящего*, обращенности человека прежде всего к настоящему в ущерб *будущему*, когда в настоящем отсутствуют элементы будущего: планы, проекты, ожидания [35, с.138]. Вместе с тем, по данным исследования, применительно к выделенным группам это – *разный презентизм*, потому что имеет *различную природу, различные условия* своего возникновения.

Презентизм группы *прародителей* имеет сложный характер и представлен, на мой взгляд, *тремя его видами*: «старческим» (назову его так), «аномическим» (термин И.М. Поповой [35, с.139]) и «экзистенциальным» (дам такое название). При этом все эти виды, как показывает исследование, тесно сплетены, подпитывают друг друга. Так называемый «старческий» презентизм вызван не столько реальными физиологическими процессами, характерными для пожилых людей, сколько осознанием ими ограниченности своих физиологических ресурсов, *определением себя* в качестве «стариков» и на этой почве – прекращением *собственного жизнестроительства*: «Я считаю, свое кредо я выполнил максимально, и я готов в любой момент уйти из жизни в плане того, ну, завтра встанет сердце, ну и ...дай бог. Если предположим раньше, ну лет 10–12 назад, там еще можно было решиться на что-то, планировать что-то, думать наперед, то сейчас, когда тебе уже за 60, то нет... тут встаешь... и часто об этом думаешь» (мужч., пенс., 67 лет).

Аномический презентизм – *вынужден*, вызван прежде всего резким содержательным изменением социальных ин-

ституты постсоветской России, в которых были социализированы люди, и как следствие – «массовой утратой идентификации, значимой в масштабах всего российского общества», как это определяет Л. Ионин [47, с.209]. *Экзистенциальный презентизм*, на мой взгляд, вызван осознанием конечности человеческой жизни, ее *временности*, осознанием угроз и лишений, угрожающих человеку, и могущих оборвать его жизнь в любую минуту. Вот пример типичного и одновременно причудливого сочетания различных видов презентизма у одного из наших опрошенных, входящих в группу прародителей: *«Прошлое – это у нас закончилась хорошая жизнь, это до 1991 года. ...А сейчас ничего хорошего не вижу, веры нет, что будем мы жить хорошо. Сейчас живешь одним днем. Сейчас живешь, а завтра на нас, раз и разрушат нас или наводнение кругом, землетрясение, люди сейчас живут одним днем. О будущем мы ничего не знаем. Здоровье слабое стало, столько было друзей и все поумирали, человек 10, так подсчитал. С 27, 28 года никого не осталось. Я родился в Маломальшевке, у меня там они остались, они там раньше умирают в сельской местности»* (мужч., пенс., 76 лет).

В *группе родителей*, по данным исследования, презентизм присутствует, но не является преобладающим: практически половина опрошенных этой группы строит планы на будущее (правда ближайшее), ставит себе перспективные цели и старается их добиваться. В эту подгруппу преимущественно, как показывает исследование, входят те опрошенные, кто смог добиться *определенного экономического успеха, во всяком случае считает себя успешным* (их можно было бы отнести к успешным адаптантам в нашей классификации): здесь экономический успех, выступая результатом целенаправленных усилий, одновременно является и основанием для постановки новых целей, разработки новых жизненных проектов. При этом, на мой взгляд, такая ориентация на будущее, предполагающая включение будущего в настоящее, обусловлена не столько «характером и

этапом переходной ситуации»¹, как полагает Н.Ф. Наумова [45, с.99]), сколько человеческой активностью, определенными личностными качествами. Именно эта «субъектность» дает возможность человеку даже в самые тяжелые и, казалось бы, беспросветные фазы процесса общественных преобразований строить планы, ставить цели и их добиваться.

Презентизм группы родителей, как показал анализ транскриптов, представляет собой не столь многоплановое явление, как в группе пожилых людей, и носит прежде всего *аномический характер*. Он свойственен, по данным анализа, прежде всего *экономически неуспешным* людям, независимо, предпринимали ли они какие-нибудь попытки изменить свою жизненную ситуацию к лучшему или нет (в нашей терминологии это неуспешные адаптанты и неуспешные дезадаптанты). Вот типичный пример такого презентизма: «Мы вот раньше строили планы, не на пятилетку – это у государства пятилетние планы были, а мы строили – я вышла замуж, я знаю, что рожу, у меня ребенок закончит школу, пойдет в институт, закончит институт, у него будет работа, все будет. Знаю, что я выйду из декрета, у меня будет работа, я была уверена в завтрашнем дне, я могла строить планы. Сейчас я не строю планы: день прошел, есть, что пить, есть, что есть, есть, что одеть, хорошо... за внуков я волнуюсь, у них-то что дальше будет. Уверенности нет, что они куда-то пойдут, смогут учиться, и смогут ли их родители потом содержать» (женщ., диспетчер, 52 г.).

Вместе с тем, на мой взгляд, И.М. Попова не вполне права, называя аномический презентизм *пессимистическим* (в отличие от гедонистического, по ее мнению *оптимистического*) [35, с.139]. Мне кажется, что дихотомия *оптими-*

¹ Н.Ф. Наумова считает, что массовая ориентация на будущее является не в первый этап перестройки, но тогда, когда будущее «уже прорисовывается», когда в повседневной социальной реальности можно наблюдать признаки уже сформировавшейся, пробившейся основной тенденции развития.

стический – пессимистический здесь вообще не работает. В самом деле, никакого отчаяния в значительной части наших нарративов этой поколенческой группы не обнаруживается: да, «средний человек», «частица массы» в большинстве своем в условиях возросшей общественной неопределенности в переходной России не строит далеко идущих планов, не проектирует свою жизнь, *живет настоящим*, пытаясь использовать прежде всего те традиционные привычные жизненные формы (термин Л. Ионина [47, с.172]), которые присутствуют в культуре.

Вместе с тем он приглядывается к тому, что происходит вокруг, пытается понять, приобщиться, хотя это зачастую и не выливается в освоение или создание новых жизненных практик. Он понимает, что *«надо шевелить мозгами, надо как-то пристраиваться»*, как выразилась одна из наших информантов, работница оборонного предприятия 52 лет, сама не предпринимавшая никаких попыток изменить свою жизненную ситуацию к лучшему, во всяком случае в публичной сфере. На мой взгляд, такой презентизм носит *скорее прагматический* характер, он прежде всего *витально ориентирован*. Впрочем, презентизм, как показало наше исследование, может быть, и психологической установкой, реализующей рекомендации психотерапевта в качестве выхода из тяжелой жизненной ситуации: *«когда я разошлась, нам было очень тяжело, а тут еще эта перестройка. Даже было такое, что ели одну вермишель. Было ужасно, конечно. Была депрессия даже, и я обращалась за помощью к психологу, потому что, идя домой, я плакала и думала, чем бы накормить детей. Ну, мне с психологом повезло. Он научил меня жить одним днем, относиться к жизни более-менее поспокойнее, не загадывая вперед, как мы раньше все делали»* (женщ., медсестра, 42 г.).

Для опрошенных из *поколения детей*, по данным нашего исследования, характерны две ориентации: *аномический презентизм* и *направленность на настоящее*, в котором *укоренено будущее*. При этом, как показывает исследо-

вание – это преимущественно близкое будущее: «О будущем думать или строить какие-то грандиозные планы очень сложно. Даже вот сейчас, решая квартирный вопрос, рассматривали получение кредита и кредит выдают, в принципе, на приличный срок, там на 10–15 лет. Ну, я говорю, 15 лет назад было советское время и..., понятно, что мы не вернемся к нему, но и предсказать, что будет через 15 лет, неизвестно, потому долгосрочные планы мы не строим, мы живем сегодняшним днем и строим планы максимум на год вперед. Вот летом хотим съездить в Крым» (мужч., менеджер по продажам, 27 лет).

Хочется подчеркнуть, что речь здесь идет не об устремленности в будущее, при которой настоящее лишь средство достижения этого будущего, что-то проходное и неважное: такая теоретически возможная ориентация не была обнаружена в нашем исследовании. Напротив, опрошенные молодые люди ориентированы на настоящее, осознают его ценность, но в этом настоящем присутствует и будущее, которое, с одной стороны, определяется настоящим, «вытекает» из него, но одновременно и само определяет его. Вот типичный пример такого, практически Августиновского присутствия будущего в настоящем: «будущее, мне кажется, будет через месяца два-три, а сейчас какое-то все равно, я понимаю, что эти месяцы будут одинаковые, ничего в них такого существенного не произойдет, а как бы мои планы в будущем – это следующее, через два месяца. ...В течение этих двух месяцев у меня ничего не изменится, поэтому это можно воспринимать как одно настоящее. Сейчас для меня настоящая жизнь – семейная жизнь, спокойная, размеренная. Идут всплески эмоций, ссоры, а потом все нормально, опять все спокойно, все хорошо, ... Жду нового этапа, детей, допустим, он как будущее. ... мое настоящее немножко растягивается до моей цели... У меня есть суперцель, через два месяца начну ее реализовывать. Думаю, до этой цели ничего нового в моей жизни не произойдет, ничего такого захватывающего, интересного. Поэтому мое настоящее расширилось на два

месяца вперед, потому что я жду этой цели» (женщ., студентка, 23 г.).

Аномический презентизм, представленный в значительно меньшей степени в этой группе (2 человека из 12) характерен, как показывают интервью, прежде всего для *материально неуспешных людей*, хотя этот вывод нуждается, на мой взгляд, в более глубоком изучении.

Презентизм – конструкт, в котором соотносятся *настоящее и будущее*. Вместе с тем достаточно важно и соотношение *настоящего с прошлым*. Я уже говорила, что наиболее распространенные «метки» структурирования времени – это *индивидуальные жизненные события*, «переломные» вехи, открывающие новые периоды для индивида. В этой связи события детства, юности, наделяемые большинством опрошенных статусом прошлого, как показывает исследование, воспринимаются в исключительно «розовых» тонах. Здесь, видимо, можно говорить об *индивидуальном психологическом явлении ностальгии*, окрашивающем конструирование человеком в рассказе этих безвозвратно ушедших «кусков» жизни в грустные и одновременно теплые тона.

Вместе с тем интерес для социологии представляет, на мой взгляд, прежде всего соотношение *интерсубъективного настоящего и интерсубъективного прошлого*, которое в большинстве наших интервью представлено жизнью «до перестройки» и «после»: известно, что в кризисные периоды общественного развития это взаимодействие приобретает свою специфичность. П. Бергер и Т. Лукман убедительно доказали, что в эти периоды «разлома» основанием для ресоциализации, для успешного «вписывания» в резко меняющуюся социальную реальность выступает *настоящее*, в котором происходит *перетолковывание* прошлого, его переосмысление [18, с.258]. При этом идеализация прошлого, наделение его *исключительно положительными чертами* – свидетельство *неприятия* настоящего, равно как и наоборот: наделение прошлого исключительно отрица-

тельными свойствами говорит скорее о положительных смыслах настоящего.

Наиболее значимым для судеб страны и каждого отдельного человека в этом контексте является феномен *социальной ностальгии*, понимаемый как «социальное чувство, характерное для определенных социальных общностей и связанное с их рациональной и эмоциональной ориентацией на идеализируемый и ушедший в прошлое общественный порядок» [49, с.32]. Следует согласиться со Г. Зборовским и Е. Широковой, полагающими, что социальная ностальгия «предстает своего рода индикатором нарушения взаимосвязи времен, когда переживание реальной действительности обращено к прошлому и настоящее оценивается лишь в связи с ним» [48, с.31].

Анализ транскриптов интервью показал, что *социальная ностальгия как целостное явление*, когда, как выразилась одна из моих информантов, *люди не живут в настоящем, но только мирятся с ним*, присутствует (прежде всего в группе неработающих пенсионеров), но не является преобладающей. В социальных группах опрошенных (исключение составляет молодежь) распространены скорее *отдельные ностальгические ноты* восприятия прошлого, порой *парадоксально сочетающиеся с положительными смыслами настоящего*. Наиболее типичными являются следующие: «сейчас родители не принимают участия в воспитании детей», «учитель сейчас не ценится», «сейчас нет уважения к старшим» (женщ., 50 лет, учитель); «в экологическом отношении продукты были гораздо чище, и рыба, и мясо», «когда страна была, Советский Союз, не было такого националистического разделения людей», «раньше не было такого, чтобы люди ходили по контейнерам и собирали эти куски, которые недоедают некоторые» (мужч., пенс., 69 лет); «сейчас молодежь даже за собой не убирает, накурит, набросает, за собой не уберут, возле станка не уберут» (женщ., работница, 52 г.); «жизнь была легче, каждый год в санаторий можно было съездить» (мужч., 70 лет, пенс.); «была какая-то защищен-

ность у трудящихся» (мужч., пенс., 67 лет); «я считала, что живу в самой лучшей стране, я очень этим гордилась, сочувствовала этим угнетенным», «тогда было какое-то чувство гордости» (женщ., педагог, 51 г.). Вместе с тем эмпирическое схватывание социальной ностальгии как определенного переживания времени - достаточно сложная и одновременно очень значимая в современной России исследовательская задача, нуждающаяся, на мой взгляд, в пристальном внимании социологов.

Литература

1. Козлова Н.Н. Как работать с советским архивом // Методологический потенциал качественной социологии. Самара: Самарский университет, 2000.

2. Магун В.С., Гимпельсон В.Е. Стратегии адаптации рабочих на рынке труда // СоцИс. 1993. №9.

3. Шабанова М.А. Массовые адаптационные стратегии и перспективы институциональных трансформаций // Мир России. 2001. №2.

4. Готлиб А.С. Адаптация россиян к новым экономическим условиям: масштабы, условия, факторы успешности // Проблемы экономической психологии: В 2 т. М.: Институт психологии РАН, 2004. Т.1.

5. Общественное время – 2000 // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. Декабрь, 2000.

6. Варшавская Е., Донова И. Вторичная занятость населения // Занятость и поведение домохозяйств: адаптация к условиям перехода к рыночной экономике в России. М.: РОССПЭН, 1999.

7. Темницкий А. Л., Бессокирная Г. П. Вторичная занятость и ее социальные последствия // СоцИс. 1999. №5.

8. Перова И. Дополнительная занятость: масштабы, структура, характер // Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1999. №4 (42).

9. Клопов Э.В. Вторичная занятость как форма социально-трудовой мобильности // СоцИс. 1997. №4.

10. Арсентьева Н.М. Вторичная занятость городского населения // Общество и экономика: социальные проблемы трансформации. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998.

11. Шюц А. Социальный мир и теория социального действия // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.

12. Готлиб А. Введение в социологическое исследование: качественный и количественный подходы. Методология, исследовательские практики. Самара: Самарский университет, 2002.

13. Шюц А. Проблема рациональности в современном мире // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.

14. Голенкова З.Т., Игитхянян Е.Д. Поли- и монозанятые в российском обществе: социально-структурный анализ // СоцИс. 2004. №2.

15. Татарова Г.Г. Методология анализа данных в социологии (Введение). М.: Стратегия, 1998.

16. Попова И.П., Седова Н.Н. Дополнительная занятость в успешных адаптационных стратегиях населения // СоцИс. 2004. №2.

17. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996.

18. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.

19. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994.

20. Микешина Л. А. Философия познания. М.: Прогресс-Традиция, 2002.

21. Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. СПб.: Лань, 1999.

22. Дильтей В. наброски к критике исторического разума // Вопросы философии. 1988. №4.

23. Нестик Т.А. Тема внутреннего слова у Августина: мышление и время // Вопросы философии. 1998. №10.

24. Бергсон А. Материя и память. Собрание соч. М.: Прогресс, 1992. Т.1.
25. Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени // Гуссерль Э. Собр. соч. М.: Гнозис, 1994. Т. 1.
26. Молчанов В. Предисловие // Гуссерль Э. Феноменология внутреннего сознания времени. См. [25].
27. Шюц А. Основной аргумент идей «Идей II» Гуссерля // Шюц А. Смысловое строение повседневного мира. М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2003.
28. Шюц А. Тиресий или наше знание о том, что произойдет завтра // Там же.
29. Шюц А. Аспекты социального мира // Там же.
30. Хайдеггер М. Бытие и время М.: Ad Marginem, 1997.
31. Аскольдов С. А. Время онтологическое, психологическое и физическое // Философия и мировоззрение. Философские дискуссии 20-х годов. М.: Политическая литература, 1990.
32. Бердяев Н.А. Время и вечность // Там же.
33. Наумова Н.Ф. Время человека // Социологический журнал. 1997. №3.
34. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. Киев: Наукова думка, 1994.
35. Попова И.М. Представления о настоящем, прошедшем и будущем как переживание социального времени // СоцИс. 1999. №10.
36. Давыдов А.А. Модель социального времени // СоцИс. 1998. №4.
37. Лычковская О.Р., Баш Е.В. Трансформирующаяся реальность в субъективных представлениях о времени (теоретические и эмпирические аспекты исследования) // Харьковские социологические чтения. Харьков: Харьковский госуниверситет, 1998.
38. Brentano Фр. Избранные работы. М.: Прогресс-Традиция, 1996.
39. Бергер П.Л., Коллинз Р. Личностно ориентированная социология. М.: Академический проект, 2004.

40. Ярская-Смирнова Е. Нарративный анализ в социологии // Социологический журнал. 1997. №3.
41. Голофаст В.Б. Многообразие биографических повествований // Социологический журнал. 1995. №1.
42. Качанов Ю.Л. Рефлексивное жизнеописание // Социо-Логос постмодернизма. М.: Инст. экспериментальной психологии, 1997.
43. Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М.: Институт философии РАН, 1996.
44. Ядов В.А. Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // Мир России. 1995. № 3—4.
45. Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина, ресурс человечества? М.: УРСС, 1999.
46. Tatkovska E. Uncertainty of the Future and Domination of Presentists Orientation: a New Lasting Phenomen? // Sisyphus. Sociological Studies. Vol.6, Varshava: PWN, 1989.
47. Ионин Л.Г. Социология культуры. М.: Логос, 1998.
48. Зборовский Г.Е., Широкова Е.А. Социальная ностальгия: к исследованию феномена // СоцИс. 2001. №8.

ИНТЕРВЬЮ С СОЦИОЛОГОМ (Зарина, 24г.)

И. Расскажите немножко о себе.

З. О себе? Т.е. начать с самого начала?

И. Да.

З. Родилась я 20 марта 80-го года. Родители у меня оба инженеры, закончили Аэрокосмический университет. Что про них можно интересного рассказать... Они занимались спортом, они занимались скалолазанием, альпинизмом. Я могу сказать, что я выросла в достаточно спортивной семье. И я считаю, что это во многом определило мою жизнь. Потому что, скажем так, семья непосредственно была связана с их работой, с их увлечением, с их друзьями, любой спорт для меня был достаточно родным. В школе я училась достаточно обычной. Правда у нас было углубленное изучение русского языка и литературы и это тоже, мне кажется, было очень важно для меня, потому что у нас был такой творческий преподаватель, благодаря которому я училась писать, выражать свои мысли.

И. А какая это школа была?

З. Это была 157 школа. Совершенно обычная школа, сейчас учительница одна ушла преподавать в Наяновский университет. Когда она у нас вела, я училась там с 5-го класса, мы переехали в этот район. Я стала учиться, класс был достаточно обычный, все остальные предметы были на достаточно среднем уровне, русский язык и литература были достаточно сильным. Именно это, наверное, предопределило мои будущие мечты, желания, я очень хотела быть журналистом. И когда, конечно, я заканчивала, у меня были такие мысли: «все, я пойду, я буду писать, у меня все будет замечательно». Но натолкнулось на то, что такого профессионального, базового образова-

ния журналистского в Самаре не было. У нас был платный институт журналистики и естественно...

И. Симатовский?

3. Да, и была филология, которая меня совершенно угнетала, этот филологический факультет, про него там всякие шутки и байки, что такой женский коллектив. Все там очень страшно, нет, я решила: «туда я не пойду!». И мне папа сказал: «Если это твоя судьба, если это у тебя действительно получается, то это где-нибудь у тебя проявится, и ты обязательно выбьешься именно в то русло, в которое ты хочешь». Ну, тогда я уже начала искать что-то близкое к этому. На тот момент я ничего не знала, не представляла о социологии. Девочка опять же у нас в подъезде училась на социологии и как-то мы гуляли с ней вместе с собаками. Я начала ее спрашивать, она мне очень приятно представила свой факультет. По тем предметам, которые нужно было сдавать, я поняла, что у меня есть возможность поступить. Так как еще у меня была серебряная медаль в школе, мне нужно было сдавать собеседование, по-моему.

И. Только собеседование?

3. Да, только собеседование. И поэтому я очень усиленно готовилась, готовилась. В итоге я поступила и стала учиться в Университете. Так, что в Университете было интересного? Наверное, все.

И. Можно сказать, что вы случайно пришли в социологию?

3. Да. Я могу даже утверждать, что я особо не хотела, но где-то, наверное, с курса со второго у меня появился какой-то интерес к тому, чем я занимаюсь. По крайней мере, те предметы, которые у меня были, не все конечно, мне очень нравились. Т.е. что-то меня цепляло, это были книжки, которые я начала читать, советовали преподаватели или нужно по какой-то теме. Начала увлекаться, а то, что мне интересно, я стараюсь делать хорошо. И я знаю, у меня лучше получается, когда я занимаюсь тем, что мне интересно, это мне доставляет удовольствие.

Где-то курс второй, третий... это достаточно сильное увлечение социологией. Я могу сказать, что мне было безумно интересно. Все исследования, которые я проводила... как-то вплетались просто в жизнь. Тот же самый выбор армян, например, он не был вызван чем-то, каким-то заказом. У меня... мне была интересна эта нация. Для меня социология стала той наукой, которая позволяет глубже понять себя и реализовать те свои интересы, которые помимо науки... просто из жизни. Есть армяне, почему бы мне их не изучить. Хотя у меня не было никаких знакомых армян...

И. Да, у вас вот не было никаких знакомых армян?

3. Совершенно не было, совершенно ничего. Меня с ними не связывало совершенно ничего. Интерес был взят просто с потолка. Я тогда очень увлекалась КВН, ну, как увлекалась, я просто смотрела его по телевизору.

И. А там были армяне? (смеются).

3. Да, там была команда «Новые армяне». Они мне нравились, и это было так зажигательно и красиво. И я поняла, как-то я подумала: «С чем связано... т.е. очень многие шутки были про Армению, что-то было такое, что их объединяло, именно как людей одной национальности помимо того, что это одна команда». Я почему-то решила: «Ну, раз я не имею возможности познакомиться с ними лично. Так вот, найду такой окольный интерес познакомиться с людьми этой национальности». И совершенно такая безумная идея, ну... надо искать, я подняла всех на уши, я нашла одну семью, с которой я начала общаться и проводить исследование. Я их узнала и в общем ...

И. Это вы рассказываете о втором курсе?

3. Да, это была курсовая. Да, это был, конечно, большой стресс, что я была маленькая, что я пришла в семью. Насколько я сейчас вспоминаю, я спрашивала такие вещи, которые были достаточно серьезные вообще и для меня, и для людей, которых я спрашивала. Я там же в основном общалась с мамой и с детьми. И я помню, мама всегда осторожно так спрашивала: «А это вы сами эти во-

просы придумали?». Ну, я, конечно, говорю: «Вместе с моим научным руководителем!». Хотя, естественно, я все это брала из головы, но факт тот, что она тоже думала ... наверное, может быть не этично, т.е. эти вопросы были глубинные. Я спрашивала их что-то про национальность, как они относятся к родине, как они переживают вот это чувство проживания вне своей родины...

И. В диаспоре?

3. Да. Были какие-то такие вопросы, да. Мне было очень интересно. Прекрасно помню, что у меня с ними сложились хорошие отношения. Какое-то время я с ними даже общалась, просто вне исследования. Просто какие-то дружественные отношения завязались, вот. Долго это не могло продолжаться, потому, что у всех интересы разные. Что потом, ну, доучилась я и где-то к курсу пятому такой интерес захватывающий, всеобъемлющий прошел. Я поняла, что... то ли у меня появились какие-то другие интересы, я начала спортом заниматься, я ездила в горы на тренировки...

И. Каким спортом?

3. Альпинизмом...

И. По стопам родителей?

3. Да. Я как-то нашла там друзей, хороших. Не столько спортивные достижения, сколько общение с людьми, наши постоянные выезды, тренировки, мы стали большой семьей. И это мне было очень дорого. И я понимала, что в жизни нужно что-то выбирать. На этот момент у меня выбор попал не в сторону учебы. Ну, я как-то на таком остаточном интересе, за счет того, что уже были какие-то наработки, в общем-то доучилась. Но в то время, да, я занималась спортом, какими-то другими интересами, но не учебой. После пятого курса встал такой вопрос: «Что делать дальше, куда идти?». На пятом курсе я уже работала. Это была работа в общем совершенно такая... как всегда у меня... у родителей не было никаких знакомых, так, чтобы меня куда-то пристроить. Поэтому я решила: надо пойти какими-то своими путями. Совер-

шенно обычно, была какая-то ярмарка вакансий. Я приехала, посмотрела, там нужен был социолог. Приехала, это был «Областной Центр Диагностики». Это было прямо у моего дома, так скажем, можно прямо в тапочках ходить. И я решила, что мне нужен какой-то опыт, как-то посмотреть, где можно себя реализовать. Я устроилась там на работу. Это было госучреждение, естественно, там никакой зарплаты. Вот, но я решила, что надо себя как-то проявить, как-то показать. Я там работала какое-то время.

И. Это помогло вам диплом сделать?

З. Да. Т.е. когда я туда пришла... Я поняла, что это конечно не то, что я хотела. Нужно было оправдать, что я там работала, ну, вот мой диплом, я его напишу, моя эмпирическая база. Работая там, не знаю, меня, наверное, тяготила эта работа. Я поняла, что я не могу от 8 до 8 здесь сидеть. Вот, меня все там напрягало, ну и вообще как-то госпредприятие, вот. Никакой, как бы... свободы, т.е. там я не научилась ничему за этот год, который я работала. И поэтому даже на пятом курсе... одна из преподавательниц, Тартаковская Ирина Наумовна, нам сказала, что есть такая возможность поступить в Европейский Университет, в Санкт-Петербурге. По-моему место было одно, поэтому у нас готовилась Марина туда поступать. И я как-то мимо уха: «зачем куда-то уезжать, мне бы не хотелось». И потом мы же как-то общаемся с Мариной постоянно, она сказала, что там еще одно место, ну, почему бы не попробовать. И я тоже стала готовиться, писать проект и естественно это меня как-то затянуло. Я начала опять как-то с моей любимой темы – этничности. Меня это интересовало давно. И поэтому я на нее всегда попадала и старалась свои интересы связать с этой темой. И опять так получилось, что опять нужно было готовиться к собеседованию, вопросы могли быть по этничности. Я начала читать литературу, огромную массу, все лето у меня прошло в подготовке. И мы приехали, поступили. Достаточно успешно все прошло и мы стали учиться.

Было конечно сложно, т.е. первое время было очень тяжело. Для меня было тяжело не столько учеба, сколько разобщенность с друзьями. Я поняла, что там возможностей реализовать себя в спорте очень много. Там естественно, этих клубов..., чего там только нет. Я так вот, потыркалась, я походила, всего набрала, и ходить вроде можно, и не все так дорого. А я пришла как-то позанималась, посмотрела, люди чужие и ничего меня там не прельщает. И я поняла, что я ходила не столько ради спорта, сколько ради этого общения. И мне стало этого не хватать... и учеба такая. И вообще там методика такая жесткая подготовки специалистов, там вот важно, чтобы человека «мордой об стол» и чтоб он умел защищаться. Т.е. там учат выживать и быть индивидуальностью, очень «резко» учат, что ли. Нам постоянно... говорили, что это не правильно, вы пишете не правильно, все у вас плохо очень. И там были какие-то безумные тексты по-английскому, которые мы не успевали читать. Там было очень жесткое воспитание какого-то лидерства, я не знаю, чего они хотели этим добиться. И нам было очень тяжело..., хорошо, что мы были вдвоем, мы друг друга как-то поддерживали. Я была просто в шоке, я не выдержала, я сказала, что на праздники 7 ноября я еду домой. Вот, а естественно уезжать нельзя, т.е. учеба. Я там что-то всем наврала, сказала, что я болею, что мне надо ехать. Купила билеты домой, быстрее приехала. Все, Самара, я отсюда уже никогда не уеду. Потом думаю, нет, надо этот путь как-то завершить, если я выбрала, то надо по крайней мере доучиться. И первое полугодие, до зимних каникул... В общем, новый город, все бытовые проблемы эти, с которыми мы в Самаре не сталкивались. После Нового года, когда мы приехали после каникул, появилась какая-то твердая уверенность,.... я для себя поняла, что скорее всего я вернусь, и...было уже какое-то спокойствие. Друзья меня ждут, и я стала как-то спокойно относиться, думаю, доучусь и вернусь. Это спокойствие как-то отразилось, и мы спокойно учились и уже как-

то больше стали узнавать город, везде ездить, смотреть. И в тот день, когда мы сдавали магистерскую, я уже купила билеты домой: ни праздников мне не надо было, там был какие-то фейерверки, какие-то разговоры про банкет. Я сказала: «Нет, ничего не надо, я еду домой». Вот как раз перед этим самым отъездом... ко мне подходит моя научная руководительница и говорит: «Ну, что вы думаете делать дальше?». Я говорю: «Все, я возвращаюсь домой». «Как вы возвращаетесь домой, вы написали такую работу, я думала, вы останетесь, будете писать кандидатскую». Я говорю: «Нет, я ничего не хочу, ничего мне не надо. Я, в общем, ни ногой в науку, я ничего не хочу, я так устала». Мне казалось, что я получила высшее образование, могу выражать свое мнение, как-то быть кем-то, по крайней мере, а там оказалось, что мы опять за школьной партией, за которой мы уже провели часть своей жизни. Мы что-то делали, тыркались, пытались. Нам говорили: «Нет, надо вот так, по-другому никак нельзя». Вот поэтому, в общем, я конечно, возвращалась в Самару очень окрыленная, я думала: «Я вернусь, и все будет хорошо». Естественно так не получилось, я оказалась в семье и среди друзей, но денег мне это не приносило, мне пришлось как-то выкручиваться. Что делать? Я начала искать работу. Естественно, что со всеми моими безумными образованиями и с отсутствием какого-то практического я никому не была нужна. Мне говорили: «Боже, какое у вас хорошее образование!». Я говорю: «Да, хорошее». «Нам нужен опыт работы, что вы умеете делать?». Я, конечно, пыталась все, все, все, но вот нужно было не то. В общем, в итоге, я пришла туда, откуда вышла, я вернулась в университет. И сейчас можно сказать, что я не жалею, во-первых, что я училась, во-вторых, что я вернулась, потому что я такой человек, консервативный что ли. Я не смогла устроиться на новом месте, не смогла порвать те ниточки, которые меня связывали. У меня были все «за», чтобы я оставалась, чтобы я училась и не приезжала в эту ужасную Самару, как же,

это столица, это Петербург. Да и к родителям я уже была не так привязана, у нас, конечно, хорошие отношения, но все равно ребенок рано или поздно уходит из семьи, поэтому я уже давно живу отдельно. Но, конечно, какая-то ностальгия иногда есть... по этому городу, не столько по городу, сколько по учебе, но я думаю, никогда не поздно все изменить. Что-то все порушить и опять куда-то отправиться на какие-то поиски. Все равно мне кажется, я такой человек, который... мне всегда чего-то не хватает. Как никто не думал, что я поеду поступать в Петербург, так и никто не думал, что я вернусь обратно... Сам факт, сам статус города, те возможности, которые он дает, как-то, наверное, на меня влияют. Сейчас у меня есть, конечно, какие-то планы, хотелось бы написать диссертацию кандидатскую, хотелось бы продолжить связи с теми преподавателями, которые у меня в Петербурге. Ну и естественно, то исследование по армянам, как-то хочется красиво завершить. Те армяне, с которыми я встречалась в Петербурге...

И. Я как раз об этом хотела поговорить. Как вы вышли на этих армян, во-первых? И во-вторых, само погружение в этот мир, что оно лично вам дало? Как они к вам относились? Как вы себя чувствовали, делая это исследование?

З. Ну, во первых, почему я выбрала армян для изучения. Дело в том, что тема моей дипломной работы «культура организации», она была, так скажем, не проходной, поэтому надо было искать какие-то другие области. И я вспомнила, что на втором курсе изучала армян, мне это было всегда интересно, и я решила продолжить. В Санкт-Петербурге... это чужой для меня город, я там совершенно никого не знала. И я пошла от самого простого, от тех экспертов, которые у меня были, тех, которые изучали армян в Санкт-Петербурге, пойти по их связям, по их старым знакомым. Вот, в общем, этот «снежный ком» привел к тому, что какая-то часть знакомых была найдена таким образом. Был у меня еще один выход на инфор-

мантов... там, в Санкт-Петербурге, есть армянская школа. Я пришла туда и стала просто разговаривать с родителями. Естественно, что я сначала подошла к директору. Нет, однажды так получилось, что я пришла, а директор был занят. И пока я сидела, я разговаривала с мамочками, они ждали своих детей, я с ними поговорила, помню даже записала некоторые телефоны. Вот, а директор была очень строгая женщина, она сказала: «Только при условии, что вы будете показывать мне интервью, потому что никакая информация не должна отсюда уходить, не должна, я же не знаю, куда вы ее потом понесете». В общем, она безумные требования предъявляла. Я сказала, что ничего этого делать не буду. Если вы не хотите со мной сотрудничать, и вы мне не верите, тогда я никакого исследования у вас проводить не буду. А с теми мамами, с кем я договорилась, я и работала. Что это были за информанты? Ну, это были женщины разных возрастов. Были достаточно взрослые информантки. Была женщина 54 года. Были очень молодые, от 28 лет. И в принципе, мне было достаточно сложно с ними общаться. Это были люди, которых я совершенно не знала, и они имели полное право относиться ко мне с недоверием, но почему-то этого не было. Да, то ли это они сами по себе люди такие гостеприимные, или я у них вызывала определенную степень доверия, но они как-то шли со мной на контакт. И мне с ними было достаточно просто, по крайней мере какие-то отношения завязать. Три информантки у меня были как раз из школы. Одну информантку я нашла по связям своего эксперта. Последующие... они были как раз друзья этих информантов. Что во мне меняло? Да. Общение с ними...

И. Вы к ним ходили домой?

З. Да, я к ним ко всем приходила домой.

И. Расскажите, пожалуйста, какой метод вы использовали? Это было включенное наблюдение?

З. Метод был биографическое интервью. Да, мы с ними беседовали, это были информантки с разным уровнем об-

разования, с разным уровнем жизни. Все это был, конечно, более-менее средний класс, они все приехали, они все жили на съемных квартирах. И условия жизни у них были достаточно тяжелые. Естественно, что все эти женщины сидели дома, никто из них не работал, работали только мужья, дети дома были. Но общение наше строилось таким образом, т.е. первое время я приходила и мы налаживали контакт, т.е. я задавала какие-то общие вопросы, как они приехали, как они здесь устроились. Но потом всегда после какого-то общения складывались более-менее дружеские отношения, либо этому способствовали дети, т.е. я как-то с детьми находила общий язык, мы с ними всегда играли...

И. Дети маленькие?

З. Разные, кто-то в школе, но в основном все школьники, школьного возраста, и поэтому было как-то легко с ними общаться. Сами мамы мне всегда как-то доверяли, хорошо относились, т.е. они выражали какую-то степень доверия. Одна семья, они жили в пригороде, я добиралась туда на электричке. Как-то я помню было уже поздно, мы как-то заговорились, и я смотрю, ехать ли мне на электричке... и уже страшно, и они мне даже предлагали оставаться ночевать, ... но мне просто в университет рано. Я отказалась, но в принципе у нас складывались такие отношения... Да, я даже удивилась, чужие люди для меня, и город чужой, и люди вдвойне как бы чужие, но отношения конечно были хорошие. Так, что же еще?... Менялась ли я?

И. Да.

З. Ну, во-первых, это были люди другой национальности. С моей такой плавающей идентичностью было достаточно тяжело вообще себе как-то объяснять, почему я выбрала армян. Тут вот мой какой-то непонятный интерес, это было конечно немного непонятно. Я конечно, объясняла какими-то другими интересами, но для самой себя объяснить этот интерес тоже надо было как-то. И... у меня всегда были проблемы: у меня же мама русская, папа –

татарин. Мне всегда было трудно отнести себя куда-то. И в разные моменты моей жизни я склонялась то к одному, то к другому, т.е. она у меня такая текущая, переходящая. Я им говорила, что я русская, но почему я так им говорила..., когда я говорила с экспертом, она мне сказала: «Вы лучше не говорите про свою национальность, потому, что у них давняя война с Азербайджаном, с турками, а турки – это тюрки, а тюрки – это татары»...

И. Мусульмане...

3. Да, и она провела некую линию, хотя я и в Самаре общалась с армянами и говорила, что я наполовину татарка. Они совершенно спокойно относились к этому, да, у нас есть друзья татары. И я никогда сама конечно до такого не додумалась бы, целенаправленно говорить, что я – русская. Ну вот, она меня так напугала, что они могут не пойти на контакт. Ну, ладно, я буду говорить так. Я с ними разговаривала, и я всегда как-то вот... я не знаю, я напрягалась. Они рассказывали, например, о войне, о турках, о том, как был геноцид, я каким-то своим дальним прошлым, я чувствовала себя ответственной за это, хотя в общем-то никаким боком, никаким образом... Но вот это какое-то клеймо национальности все равно налагает на тебя бремя ответственности, за твоих каких-то дальних предков, и поэтому мне было, конечно, и неудобно. Для меня вот этот вопрос был мучителен. Причем, они так говорили..., про татар они даже никогда этот вопрос не затрагивали. Они говорили только про турков и азербайджанцев, но они естественно говорили и про мусульман, вот...

И. Обобщая, как бы мусульман всех?

3. Да. Я думаю, может быть и хорошо, что я не сказала... хотя вот эта моя половинчатость тоже конечно очень странная. Т.е. в общем-то я и не языка не знаю, и сама не мусульманка, но вот есть это и оно на тебя уже действует, у тебя отец другой национальности. И, конечно, иногда у меня была такая зависть, в хорошем смысле этого слова, что у них никогда не происходят сомнения по по-

воду их национальности. Даже дети, рожденные в Санкт-Петербурге, которые не знают языка, ни разу не видели своей родины... Они уже по факту рождения, по этому родству, по братству крови что ли даже... не сомневаются. Они вот, насколько... гордость, национальная гордость, что они – армяне... так сидит глубоко, что... это им настолько придает силы, с такой страстью в глазах они рассказывают об Армении. И в общем – про себя, про свою национальность...

И. Дети?

З. И дети, и мои информантки. Дети, они даже не зная языка, они все равно спрашивают, они интересуются. Может, потому, что им всегда напоминают, что они армяне, потому что, конечно, внешность их выдает себя. И мне в какой-то момент ... стало обидно. У меня было такое чувство: «Боже, ну почему я не такая, почему я не горжусь, почему я постоянно и не там, и не здесь, в общем посередине». И почему вот эти люди, настолько они любят, они вот с такой страстью в глазах рассказывают. Я, например, так не могу рассказать. Они знают историю Армении от начала до конца, даже, я не знаю, до принятия христианства, всю историю они могут рассказать, причем независимо от уровня образования, кто-то был с высшим, кто-то из деревни. У них это было очень четко, они свою национальную идентичность очень четко проявляли. Затем, когда они рассказывали про боль, про то, что с ними происходило, про весь этот переезд... У меня была такая жалость, такое чувство, что люди пострадали незаслуженно. И когда мне рассказывали про традиции, про обычаи, в общем про культуру Армении... Все это было просто и в тоже время это были такие нормы, которые не всегда в своей жизни реализуешь – то ли люди мне попались такие хорошие, то ли нация у них такая правильная... У меня даже мысль такая возникла, что, если бы я вышла замуж за армянина, я бы с удовольствием приняла эту идентичность на себя, то есть я настолько стала себя отождествлять с теми, кого опрашивала. Тем

более у меня там были такие вопросы: «Как правильно должна себя вести армянская девушка? Что она должна делать?». И вот весь этот кодекс правил, набор правил я изучила и приняла, и поняла, что это так хорошо, что это так замечательно. Это вписано в традицию, это не просто тебе говорят потом уже, когда ты взрослый, что надо вести себя по отношению к старшим уважительно. А это вот маленький ребенок, когда его воспитывают в традициях культуры, в традициях нации, хотя это, конечно, общечеловеческие ценности. Вот, например, традиция, что младший сын должен обязательно взять жить родителей к себе. Родители никогда не остаются одни, при любом раскладе либо старший сын, либо единственный сын забирает родителей к себе. «Почему» – я всегда возмущалась – «почему такая простая норма – родителей никогда не оставлять одних, почему, например, среди русского народа ее нет». У нас поголовно старики живут одни. Их либо сдают в дома престарелых, либо они умирают одни. И как раз мне сами армяне приводили пример, что у них вообще нет домов престарелых. Всегда за каждым человеком стоит его семья, его родственники, его никогда не бросят, пусть это будет пятое колено, но это пятое колено его никогда не бросит. Я настолько прониклась, да, тем, что это же действительно правильно, действительно это хорошо, «ну почему мы так не живем», и какой-то промежуток времени была под влиянием этого обаяния. Я действительно подумала: «Да, если у меня будут дети, я их буду воспитывать именно так...». И было какое-то взаимопроникновение. Даже одна информантка мне сказала: «Зарина, вам бы было хорошо стать армянской невестой, вы столько изучаете Армению, вы бы, наверное, очень хорошо вписались в наши нормы и традиции». Культура армян, она в общем, ассимилирующая, да. Если девушка попадает в семью, там настолько традиции эти живы, что она начинает волей – неволей их...

И. Усваивать.

3. Да, и воспроизводить в своей жизни. Вот это, наверное, такие две крайние формы. Сначала это было полнейшее отторжение, я думала: «Почему армяне такие, а я не такая?» Затем я поняла, что если бы у меня так сложилась жизненная ситуация, я бы с удовольствием приняла эти нормы, традиции, сама стала такой же. Но затем это все постепенно успокоилось, как-то улеглось. Вот сейчас осталось просто уважение к этому народу, по отношению ко мне я ни разу не встречала каких-то негативных проявлений. Это постоянно были люди достаточно гостеприимные, всегда очень добрые по отношению ко мне. Я испытываю огромное уважение, ведь действительно народ очень много страдал, а их жизнелюбие, их хватка... Потому, что даже уехав из Армении, они настолько несут в себе эту частичку..., это не может не располагать к себе. Люди, которые ценят так свою историю, свою родину, свой народ, они, в общем-то, ценят также всех окружающих.

И. Это так и есть? Не выливается ли эта любовь к себе в отрицательное отношение к другим?

3. Естественно, они все время говорят, что они другие, что те нормы, которые приняты в России как бы ... это не нормально. Но в то же время говорят, что это другой народ, что у них может быть так принято, что это такие традиции. Никогда это не вызывало ответную агрессию. Они во многом со мной не согласны, но ... в нашем разговоре они ничего такого не проявляли. Мне действительно кажется, что они просто, не знаю, они настолько себя чувствуют здесь не в своей тарелке, что они не могут ответить на те проявления национализма, которые встречаются, то есть их везде обижают, оскорбляют...

И. Все-таки обижают, оскорбляют?

3. Конечно! Они очень много примеров рассказывали. Даже по отношению к пожилым людям. Информант мне рассказывал, что его мама пошла за хлебом, встала в очередь и какой-то молодой ..., молодой юноша пролез вперед. Она ему сказала: « Ну, молодой человек, мы здесь

давно стоим, может, вы встанете в очередь». «Вот вы тут понаехали со своими правилами, в общем, выметайтесь в свою Армению». Очень часто так и в общественном транспорте. А к детям... там вообще какие-то безумные поборы. Дети учатся и без прописки как-то...

И. Винаваты чиновники?

З. Да. Естественно, что у них нет никакой возможности нормально работать. Потому, что прописки у них нет. Как-то по знакомым они, конечно, пытаются. Но женщины, в основном, сидят дома. У кого по трое детей, понятно. Даже с хорошим образованием им приходится сидеть дома... Конечно, у каждого своя судьба, и все равно чувствуется, как они боятся, за своих членов семьи боятся, если они задерживаются, начинаются какие-то волнения. Тем более там было вот это 300-летие, очень многие уезжали в Армению в этот период прямо с детьми, это было как раз в мае, или детей отправляли в Армению или сами уезжали с детьми. Только мужчины оставались, потому что было такое напряжение ... и эти облавы...

И. Облавы?

З. Да.

И. Со стороны городских властей?

З. В принципе, да. То есть там проверяют документы, да ...если, ну.. там чаще всего мужчины имеют прописку, регистрацию, в общем, так как они чаще сталкиваются с публичным миром, то они как раз законопослушные. А вот женщины, которые в большинстве своем сидят дома, у них и армянские паспорта и гражданство... они все...

И Полуподпольно живут?

З. Да, и вот эта жизнь в постоянном страхе... Но несмотря на это, это их не ломает. Я всегда спрашиваю себя: «Неужели это национальность, гордость за свою нацию дает силы этим людям?» Какие-то встречаются неприятности, но ты начинаешь черпать силы, по крайней мере я, в чем-то другом, явно не в своих корнях, а они, вот, наверно, в этом. То есть они говорят: «Нам надо заработать денег и вернуться в Армению. Нам надо ее как-то поднимать».

И. Питер они рассматривают как временное пристанище?

З. В принципе большинство из них – да. Они все говорят, что здесь лучшие условия, детям надо поступать в ВУЗы. И все равно красной строкой идет... они говорят, что они не могут здесь остаться, пока их родственники там. До тех пор, пока живы родственники, до тех пор, пока они имеют возможность туда ездить, все равно эта связь сохраняется. Они говорят: « Да, здесь, наверное, больше возможностей. Нашему ребенку лучше здесь получить образование». Потому, что там возможности нет ни работать, ни получить образование. А кто-то говорит: « Нет, мы здесь пока переберемся! ». Они все уезжали, когда было военное положение, война, блокада...

И. Карабах, вы имеете в виду?

З. Да, когда... было землетрясение, когда весь этот пучок случился, поэтому они уезжали практически из такой военной обстановки. Сейчас там обстановка сложная, но все равно это их родина. Естественно они здесь живут, но возможности у них здесь закрепиться в общем-то, нет. Они все живут на съемных квартирах и говорят: « У нас там хоть что-то, но это свое, свой дом, своя квартира, а здесь даже сыну оставить нечего ». Все, конечно по-разному к этому относятся, но ... вернуться все хотят.

И. Зарина, если бы у вас представилась возможность еще с ними общаться по какому-то другому поводу, другой проблеме, вы бы сделали это с удовольствием или нет?

З. Конечно, с удовольствием. Я... у меня сохранилась какая-то душевная теплота к этим людям. В общем, я... даже, когда в Питере, я всегда думала, что я ... даже не рассматривала ситуацию, что я здесь не найду армян, с которыми я могла общаться и найти общий язык. Впервые, у меня сначала ничего не получалось, я не могла никого найти, у меня были с этим проблемы. Я уже не знала, куда податься, мне уже говорили: «Иди на рынок и там ищи». Я им объясняла, что нет на рынке армян, там одни азербайджанцы. И все равно я как-то верила, что

если я найду одного человека, то он мне поможет выйти из этой ситуации. И действительно получилось так, что все мои информантки ко мне хорошо относились, находили мне последующих информантов. У меня есть мечта до сих пор поехать в Армению, своими глазами посмотреть на то, что они мне с такой болью, с таким воодушевлением описывали. Естественно, что эти рассказы во мне что-то оставили, что, может быть, потом выльется в поездку. По крайней мере, я очень хочу поехать и своими глазами посмотреть на ту красоту, которую мне так долго описывали.

И. Понятно, скажите, пожалуйста, вот вы общались с представителями армянского этноса в Самаре и в Питере, на втором курсе и уже став дипломированным специалистом. Ощущаете ли вы какие-то различия в вашем восприятии или их нет?

З. Различия в принципе есть, задачи у меня на втором курсе были совсем другие, и спрашивала я про другое. Но с другой стороны, теперь задним числом понимаю, что это были те же... те же армяне с тем же гендерным укладом, что и в Питере.

И. Вы изучали в Питере гендерный уклад?

З. Да, схема, модель одна и та же. Та же многодетность, так же мамы у них сидят дома. И такие же модели взаимоотношений, разные по отношению к девочкам и по отношению к сыновьям, я это прекрасно видела. Сыновьям, например, предоставляется большая свобода по сравнению с той, которая предоставляется девочкам. У меня была девочка, с которой я постоянно общалась, больше всего времени проводила, и мама очень четко отслеживала наше общение и в общем ее связи с внешним миром, там и подруги были подотчетны: кто, чего, откуда...

И. Это было здесь, в Самаре?

З. Да, в Самаре. Меня, конечно, это тогда поражало.

И. Поражало, почему?

З. Это не совпадало с моим собственным опытом.

И. У вас был другой опыт? В чем это проявлялось?

3. Да, я в полнейшей такой свободе росла, и мне совершенно никто не вдалбливал в голову, что ...может быть, конечно, и порождает во мне поиск моей идентичности, потому что мне никто никогда не говорил ...*(надолго прерывается)*. Да, до какого-то времени я жила, не рефлекслируя, по поводу того, кто я и какая у меня национальность. Естественно, в детстве были такие ... у меня в общем внешность такая неславянская и мое имя среди этих Маш, Галь... это в общем было, как пятно на белоснежной простыне. И я все время выделялась, меня это иногда задевало, но это было, наверное, в детском садике, ну может быть, в первых классах школы. А потом это стало обычным, нормальным. И вот этот вопрос возник только тогда, когда надо было получать паспорт, я совершенно не ожидала, что это надо куда-то записывать. Я для себя... я как-то жила на стыке двух культур, я знала и то, и другое, я как-то с двумя бабушками общалась очень хорошо. Конечно, больше я общалась с бабушкой по маминой стороне, русской... я с ней в церковь ходила, потому что она меня больше таскала, я и русский хорошо знала, татарский я в общем-то не знала. Вот я приезжала к своей другой бабушке, я делала большие глаза, я ничего не понимала. Я ходила, на всех смотрела. Какие-то «да», «нет» я отвечала, но не больше. Мне папа сказал: «Зарин, если ты захочешь изучать язык, ты подойди и скажи, что хочешь, прояви активность, желание, потому что просто так тебя заставлять, насиловать я не буду». Получилось так, что он не понадобился мне никогда. В итоге я вернулась к этим паспортисткам и сказала: «Я не знаю», ну, и они начали формально спрашивать: «Кто у тебя папа? Кто у тебя мама? Какой ты язык знаешь?». Какие-то формальные требования... задним умом я, конечно, понимала, ну, какая я русская с такой внешностью, фамилией, именем и отчеством тем более. И я сказала: «Ну, пишите татарка». Ну как ты объяснишь, влезешь в эти правила со своим мироощущением. Никому не будешь доказывать, что вроде я ни то и ни другое. Но

я в тот момент не вписывалась никуда, и я сказала: «Напишите так». И как меня записали, так это потом и осталось. Паспорт потом поменяли, но эта двойственность осталась. И какой-то момент пробуждается что-то одно. Вроде, когда начинают про мусульман говорить, я начинаю напрягаться, что это все неправильно, что это все не так. Причем, у меня дедушка по папиной линии, он был таким религиозным человеком, он и Коран знал, и по-арабски читал наизусть. И мне всегда казалось, что я кого-то предаю своим неправильным поведением, то одних, то других. Я болела и за тех и за других, ...если будет такая ситуация, что мне надо будет что-то выбрать в своей жизни, это будет очень сложно для меня. Я не могу сделать какой-то определенный выбор, я нахожусь в каком-то поиске и пытаюсь докопаться. И почему я начала заниматься этой этничностью, я хотела посмотреть, как это у других, как они себя проявляют, реализуют.

И. И общение с армянами вам в этом помогло или нет?

З. Когда я начала изучать, у меня первая реакция была... мне стало жалко себя, жалко тех же самых татар, ну, они... ну, никакие просто. Ну, почему нельзя те же самые школы, сохранять традиции как-то. Я уверена, что и там есть богатые традиции, нормы, правила. Ну, почему они забываются, как-то уходят? У меня, были, конечно, жуткие разочарования. Хорошо, когда человек может гордиться... как они все гордятся, что они армяне. Несмотря на то, что они находятся в таком униженном положении, они всегда идут с высоко поднятой головой. Как мне одна информантка говорила, что она и дочь воспитывает так, что она должна быть горда, что она армянка. Может быть это, потому, что я родилась в такой семье, что растить в ребенке уважение к одной национальности, было бы ущемлением другой, не знаю... Может быть, это особенности национальности, что она не проявляет себя так рьяно.

И. По крайней мере, в Самаре этого не видно?

3. Да, может быть где-то в Татарстане, где государственность, может там что-то и есть...

И. А вот в диаспоре это не особо или это не так?

3. Да, этого нет. Иногда возникает, конечно, какая-то потребность как-то почувствовать себя среди людей своей национальности. С другой стороны, когда ты приходишь и все говорят на татарском, тебе не известном, тут же замыкаешься. Не выходит твое чувство единения, оно умирает в тебе. Потом у меня возникло такое чувство, что мне проще стать армянкой, потому, что у них такое всепоглощающее чувство, оно тебя присоединяет к такой истории, к такой культуре, что поднимаешься надо всеми. Ты действительно смотришь и понимаешь, мои-то предки то-то и то-то. Ты, конечно, понимаешь, что это кощунственно, потому, что ты человек другой национальности. Как бы ты ни определял, все равно в тебе этого нет. И выросла ты не в Армении, кроме того, что ты изучала, ты ничего не знаешь. Был такой эмоциональный подъем тогда. ...Но сейчас этого, конечно, уже нет. Я понимаю, что это не выход из моей ситуации, что это тоже ветвь тупиковая. Для меня этот вопрос остается нерешенным. Мне бы хотелось еще что-то изучить здесь, что-то в этом найти для себя.

И. Спасибо, Зарина, за разговор, было очень интересно.

Приложение к главе 8

Таблица 1

Распределение смыслов свободы в группах, различных по возрасту (в % к числу опрошенных в каждой группе N=1200)

Смыслы свободы	Молодежь (18-29лет)	Верхний средний (30-44лет)	Средний и пред. пенс. (45-59 лет)	Пожилые и постар. (60 и стар.)	Всего
Свобода как беспрепятственная реализация своей воли	18,5	13,3	14,2	16,0	15,3
Свобода политическая	14,9	17,1	17,4	12,4	15,5
Свобода как независимость	42,6	40,5	35,6	36,0	38,6
Свобода как самостоятельность	8,4	6,6	7,1	8,7	7,7
Свобода как самореализация	8,8	5,7	3,9	2,2	5,1
Свобода «сознательная»	0,8	1,9	1,4	0,7	1,2
Свобода «внутренняя»	6,0	6,0	7,8	7,3	6,8
Свобода как «сила»	4,8	7,0	6,4	4,4	5,7
Свобода как произвол	0,4	0,3	1,1	0,4	0,5
Свобода, ограниченная интересами другого	3,6	1,3	0,7	1,8	1,8
Свобода, ограниченная этическими рамками	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Свобода, ограниченная нормами закона	0,4	0,3	0,7	0,7	0,5
Свобода как порядок	0,0	0,3	0,7	0,0	0,3
Свобода как независимость от государства	0,8	0,6	0,0	0,7	0,5
Свобода как правообеспеченность	0,4	0,6	0,4	1,5	0,7
Свобода как отсутствие физического принуждения	0,8	0,0	0,0	0,7	0,4
Свобода как равенство	0,0	0,3	0,0	0,0	0,1
Свобода как материальная обеспеченность	28,9	30,1	31,3	26,9	29,3
Свобода как традиционные ценности	9,2	13,0	13,2	24,0	14,9
Свобода как обладание властью	0,0	0,0	1,1	0,0	0,3
Свобода как «внесемейственность»	1,2	0,9	0,4	0,4	0,7
Свобода как «незанятость»	0,8	0,6	1,4	2,5	1,3
Свобода «внесоциальная»	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Таблица 2

Распределение смыслов свободы в группах, различных по
социальному положению
(в % к числу опрошенных в каждой группе N=1200)

Смыслы свободы	Рабочие	Специалисты с в.о. (технические)	Специалисты с в.о. (гуманитарии)	Специалисты без в.о.	Управленцы выс- шего звена	Управленцы сред- него звена	Управленцы низ- шего звена	Предпринимате- ли	Военные, работ- ники МВД	Наемные работ- ники торговых ор- ганизаций	МОП	Всего
Свобода как бес- препятственная реализация сво- ей воли	18,8	21,2	11,4	9,3	20,7	8,6	0,0	3,6	0,0	20,3	7,8	15,3
Свобода поли- тическая	18,2	21,2	19,0	15,3	6,9	17,1	14,3	17,9	0,0	10,9	15,6	15,5
Свобода как не- зависимость	37,0	32,7	43,0	36,0	34,5	45,7	14,3	25,0	60,0	45,3	40,6	38,6
Свобода как са- мостоятельность	5,0	7,7	11,4	5,3	13,8	2,9	7,1	17,9	0,0	3,1	9,4	7,7
Свобода как сам- ореализация	3,3	9,6	8,9	8,7	3,4	11,4	7,1	7,1	0,0	4,7	4,7	5,1
Свобода «созна- тельная»	1,7	0,0	1,3	2,7	3,4	5,7	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Свобода «внут- ренняя»	6,6	3,8	6,3	8,7	10,3	2,9	7,1	14,3	0,0	9,4	7,8	6,8
Свобода как «сила»	2,8	7,7	6,3	9,3	3,4	8,6	0,0	0,0	20,0	7,8	3,1	5,7
Свобода как произвол	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,5
Свобода, огра- ниченная инте- ресами другого	0,0	1,9	5,1	2,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,8
Свобода, огра- ниченная этиче- скими рамками	0,6	0,0	0,0	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,4
Свобода, огра- ниченная нор- мами закона	0,6	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Свобода как порядок	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Свобода как независимость от государства	0,6	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	3,1	0,0	0,5
Свобода как правообеспеченность	0,0	3,8	2,5	0,7	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Свобода как отсутствие физического принуждения	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Свобода как равенство	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Свобода как материальная обеспеченность	34,8	42,3	22,8	34,0	27,6	37,1	71,4	14,3	20,0	26,6	37,5	29,3
Свобода как традиционные ценности	12,2	3,8	8,9	10,0	17,2	20,0	14,3	21,4	0,0	20,3	9,4	14,9
Свобода как обладание властью	0,0	0,0	0,0	0,7	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Свобода как «внесемейственность»	1,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Свобода как «незанятость»	1,7	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	1,6	1,3
Свобода «вне-социальная»	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Классическое (количественное) социологическое исследование как нововременная форма научного знания	9
1. К вопросу о методологии социологического исследования	9
2. Из истории становления классического социологического исследования	13
3. Критерии научного знания	17
Эмпирическая составляющая науки	18
Достоверность научного знания	20
Объективность научного знания	22
Практическая полезность научного знания	24
Направленность на обнаружение законов	25
Акцент на методах	27
Особый язык науки	28
4. Основные черты методологии классического социологического исследования (онтологическая и эпистемологическая составляющие)	29
Социальная онтология.....	29
Эпистемологическая составляющая методологии классического социологического исследования	37
Измерение в социологическом исследовании	39
Качество социологического исследования	41
Позиция исследователя в исследовательском процессе	44
Глава 2. Качественное социологическое исследование: история становления, предпосылки, теоретические истоки	49
1. Из истории становления	49
2. Предпосылки становления	54
3. Теоретические истоки	64
Концепция понимания в работах В. Дильтея и Г. Зиммеля	65
Проблема понимания и категория «социальное действие» в трудах М. Вебера	68

Прагматизм У. Джеймса и Дж. Дьюи	70
Символический интеракционизм Дж. Г. Мида и Г. Блумера	73
Драматургическая социология И. Гофмана	76
Феноменологическая социология	80
Этнометодология Г. Гарфинкеля	85
Глава 3. Методологические основания качественного социологического исследования	93
1. Образы социальной реальности и предметной об- ластикачественного исследования	93
Представление о социальной реальности	93
Предметное поле исследования.....	96
2. Понимание как специфический способ познания.....	98
Почему исследователь может понять информанта? ..	99
Понятие интерпретации	102
Уровни репрезентации опыта	104
Задачи интерпретации	106
3. Логическая стратегия получения знания	110
Общая характеристика	110
Логика на практике	112
4. Проблема истины в качественном исследовании ...	115
Объективная истина и истина опыта	115
Качество качественного исследования	117
Позиция исследователя в исследовательском процессе	124
Глава 4. Направления и целевые задачи качественного социологического исследования	128
1. Направления качественного социологического исследования.....	128
Многообразие качественных исследований	128
Типология направлений качественного исследова- ния.....	133
2. Целевые задачи качественного исследования	143
Цели классического социологического исследования.....	143
Описание и объяснение в качественном исследова- нии.....	146

Качественное исследование и управление.....	149
Качественное социологическое исследование – в помощь конкретному человеку	151
Глава 5. Типы качественного социологического исследования	157
1. Grounded Theory («обоснованная теория») как тип качественного исследования	157
Еще раз о типологиях качественного исследования	157
Общая характеристика	160
Логическая последовательность исследования (логика исследовательского поиска)	168
Важнейшие операции «обоснованной теории»	172
2. «История жизни» (life story) как тип качественного исследования	177
Общие положения.....	177
Методологические подходы к историям жизни.....	180
3. Автоэтнография как тип качественного социологи- ческого исследования	187
Общая характеристика	187
Такие разные автоэтнографии	192
Глава 6. Методы качественного социологического ис- следования	203
1. Интервью в качественном исследовании	203
Общая характеристика метода интервью.....	203
Виды интервью	206
Оппозиции «мягкое» – «жесткое», «качественное» – «количественное» интервью.....	209
Нарративное интервью	212
Отношения интервьюер – информант в нарратив- ном интервью	218
Проблема истины в нарративном интервью	224
2. Наблюдение в качественном исследовании	226
Основные положения	226
Включенное бесструктурное наблюдение	231
3. Анализ документов в качественном исследовании	235
Общая характеристика метода	235

Традиция изучения «человеческих документов» ...	239
Способы обработки документальной информации в качественном исследовании	241
Глава 7. Экзистенциальное измерение качественного социологического исследования	253
1. Экзистенция, экзистенциалы и качественное со- циологическое исследование	253
Еще раз об отношениях между познающим и ис- следуемым субъектами.....	253
Понятия экзистенции и экзистенциала.....	257
Качественное социологическое исследование как поле экзистирования	266
2. Экзистенциальный опыт социолога в поле качест- венного исследования.....	270
Социолог в фокусе исследовательского интереса..	270
Эмпирическое изучение экзистенциального опыта социолога	278
Глава 8. Опыт сочетания качественной и классической методологий в одном отдельно взятом исследовании: анализ процесса социально-экономической адаптации населения Самарской области	303
1. Качественная и классическая методологии социо- логического исследования: возможность сочетания	303
Характеристика позиций	303
Параллельное использование качественной и коли- чественной методологий в одном исследователь- ском цикле.....	308
Последовательное сочетание качественной и коли- чественной методологии в одном отдельно взятом исследовании	309
2. Опыт последовательного сочетания классической и качественной методологии в исследовании соци- ально-экономической адаптации населения Самар- ской области.....	312
Особенности нашего методологического подхода к анализу социальной адаптации населения.....	312
Классический этап исследования	319

Качественный этап исследования	331
3. Опыт последовательного сочетания качественной и количественной методологий для анализа представленности смыслов свободы в индивидуальном сознании жителей области	341
Индивидуальная свобода в контексте социальной адаптации	341
Качественный этап исследования	344
Количественный этап исследования.....	351
Глава 9. Опыт качественного социологического исследования в автономном формате: описание отдельных граней социальной адаптации населения Самарской области	360
1. Автоэтнография вторичной занятости как важнейшей адаптационной практики населения	360
Вторичная занятость в горизонте качественного исследования	360
Переживание вторичной занятости	365
Качественный анализ транскрипта интервью	383
2. Использование стратегии «история жизни» для описания переживания времени жителями области	389
Понятие времени в различных теоретических перспективах	389
Переживание времени населением Самары: попытка эмпирического анализа.....	401
Приложение к главе 7	420
Приложение к главе 8	440

АННА ГОТЛИБ

**Качественное
социологическое
исследование: познавательные
и экзистенциальные
горизонты**

Научное издание

В оформлении обложки использовано произведение
современного скульптора L. Wojadziejew «Conversation»

Корректор Н.В. Голубева
Компьютерная верстка, макет В.И. Никонов

Подписано в печать 19.08.04

Гарнитура Times New Roman. Формат 60x84/16.

Бумага офсетная. Печать оперативная.

Усл.-печ. л. 28,125. Уч.-изд. л. 20,31. Тираж 300 экз. Заказ № 200

Издательство «Универс-групп», 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1

Отпечатано ООО «Универс-групп»